

КОНТИНЕНТ 38

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Я присутствовал на летучках и даже обсуждал напечатанные материалы. Я понимал логику газетчиков. Это



была логика особого типа, с непременным пафосом борьбы и подвига. Только Звягинцев ухитрился быть искренним и честным, но как это ему удавалось — был его секрет.

*Вадим
Нечаев*

Я считаю, что для цивилизованных существ ни бомба, ни револьвер не могут быть средством самовыражения. Человек... обладает членораздельной речью, ею и надо пользоваться. Те, кто используют те же средства борьбы, которые применяются противником, не обретают моральной высоты...

Арман Малумян



...к Рытхей, в городе, пришли чукчи — студенты отделения народов Севера. Разговор получился крутой. Они упрекали знаменитого соотечественника, что он стал вельможей в то время, как народ его гибнет, что он лишет на чужом языке, вместо того чтобы развивать и обогащать свой, что он способствует ассимиля-



ции, что дети его не говорят по-чукотски. Юра надменно возразил, что он прославил чукотский народ повсеместно, рассказав о нем людям разных стран. Но они назвали его отступником и обвинили, что он лишет сладкую ложь, а народ его по-прежнему вымирает от сифилиса и алкоголя.

Лев Друскин

Джалапита универсален... Когда две тысячи лет назад пытались писать биографию Джалапиты — бросили, потому что Джалапита не уместился в слове. Он выливался из слова, как тесто, и его каждый раз бегали искать в небе и на земле. Джалапиту описать невозможно.



*Зима
Андиевская*

Я думаю, что именно в этот самый момент — а не раньше, — когда христианство, помимо религиозной веры, стало для меня и образом жизни, оно и вылилось в сопротивление. Сопротивление попыткам, сопротивление изоляции, сопротивление голоду, сопротивление постоянному соблазну капитулировать.

А. Вальядарес



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · **Раймон Арон** · Ценко Барев
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Энцо Беттица
Иосиф Бродский · Владимир Буковский
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Юзеф Чапский · Карл-Густав Штрём
Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

Англия	Владимир Тельников Wladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions, Fulham Rd., London S.W. 6
Израиль	Михаил Агурский Michael Agoursky, P.O.B 7433, Jerusalem, Israel
Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Эдуард Лозанский Edward Lozansky, Department of Physics American University, Washington, D.C. 20016, USA
Япония	Госюке Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

38

**Издательство «Континент»
1983**

СОДЕРЖАНИЕ

Инна Лиснянская — На опушке сна. Стихи	7
Лев Корнев — Последнее дежурство лейтенанта	
Махлакова. Рассказ	15
Симон Перельман — Лагерные стихи	34
В. Нечаев — Персональное дело. Рассказ	38
Томаш Яструн — Белый луг. Поэтический дневник.	
Пер. с польского Н. Горбаневской	53
Эмма Андиевская — Джалапита. Пер. с украинского	
М. Фишбейна	62
Лев Лосев — Из воспоминаний. Стихи	76
В. Денисов — Выбор истории. История, случившаяся	
в день выборов	83
Леонид Бородин — Стихи	127
Шломо Билга — Триптих: воспоминание о Мещере. —	
Еврейское гетто: семь молитв	138
 РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Игорь Глиер — Парадоксальная трагедия народо-	
властия	145
 ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Арман Малумян — «Армянский вопрос»	167
 ЗАПАД — ВОСТОК	
Валерий Валюс — Несколько переплетенных тем	181
 ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Борис Каменецкий, Александра Александрова	
— Исповедь женщины. (Из серии «Избранные»)	209
 ИСТОРИЯ	
Мира Блинкова — Волхонка, 14 — Дмитрия Улья-	
нова, 19	221
 ФИЛОСОФИЯ	
Вацлав Белоградский — Бегство из птидэпэ	257
 ИСТОКИ	
Иосиф Ицков — Одна из первых жертв Сталина	275

ИСКУССТВО

- Александр Гершкович** — В театре на Таганке, с утра до вечера 285
- Гавриил Гликман** — Шостакович, каким я его знал. Окончание. 319

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Лев Друскин** — Юрий Сергеевич Рытхей 355

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 375

НАША ПОЧТА 379

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Анатолий Копейкин** — Заметки о шестой книге Иосифа Бродского 387
- Алексей Татарinov** — «Если правду сказать — я по крови домашний сверчок...» 394
- Андрей Лишке** — Умные записки музыканта 399
- Ю. Кублановский** — «За целебным ядом слова»... 404
- Майя Муравник** — Сидеть, поскрипывая перышком... 409
- Кира Сапгир** — Правда о беде 412
- Герман Андреев** — Терапия нигилистической ментальности 416
- Вадим Нечаев** — 16 республика СССР 425
- КОРОТКО О КНИГАХ** 431
- ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ** 437
- НАША АНКЕТА**
- «Простите им, ибо не ведают, что творят...». Беседа с **Армандо Вальядаресом** 439

НА ОПУШКЕ СНА

* * *

Я радуюсь, когда теряю вещи,
Я всякий раз самозабвенно верю,
Что это случай ждал меня зловещий,
Но откупилась от него потерей.

Счастливица, я потеряла за год
Три пенсии, две сумки и колечко!
В награду — лето красное от ягод
И прямо в лес зеленое крылечко.

Так что же я в малинник уронила?
И почему я задаю вопросы?
Чего ищу полмесяца уныло
В кустарнике, где торжествуют осы?

Счастливица, каких на свете мало,
Чей сон бывал, словно малина, сладок,
Я благовестный голос потеряла,
И гнезда слов, и птичий их порядок.

* * *

Две тучки на небе маются,
Тоскуют или больны...
Как плохо, что сны сбываются, —
Мне снятся дурные сны.

Все ели седыми патлами
Трясут, хоть прошла зима,
Весь лес перестукан дятлами,
Как будто бы лес — тюрьма.

Мне снится: ты мой возлюбленный,
Ты будишь меня чуть свет,
А я головой отрубленной
Киваю тебе в ответ.

ПАЛАЧ

Люби меня, палач!
Я для тебя подарок —
Нежнее воска плащ
И шея, как огарок, —

Не толще свечки той,
Что мать твоя держала,
Склоняясь над тобой
Поправить одеяло.

Ты ей на радость рос.
Как дети всей округи,
Ты спал, держа вразброс
Младенческие руки.

И кто бы думать мог,
Что сей сосуд скудельный
Забыл заполнить Бог
Хотя бы колыбельной.

Ты пел бы мне ее
Перед моей кончиной,
Прикрыв лицо свое
Рукою, как личиной.

Ты пел бы мне: — Не плачь!
Уснуть навеки — сладко,
Я для тебя — палач,
Ты для меня — загадка.

* * *

В. Б.

Простят мне Ваши птицы и котята,
Я им нужна, а людям не нужна.
За это ль я сама собой распята
На крестовине зимнего окна?

К своим ладоням притянула гвозди
Зрачком магнитным, и они вошли
По шляпку в мякоть, и пробили кости
Насквозь, и солью алой расцвели.

Но почему не ощущаю боли,
А только — гладкость крашенных досок,
А только — радость ненасытной воли,
И на губах — не укус, не песок?

Мне напоследок снег дает напиться,
На затихающих устах скрипит,
И лишь душа — котенок или птица —
Все медлит и никак не отлетит.

* * *

Ангел мой! — иначе как назвать?
Ангел мой! — иначе как восславить
Жизнь твою и эту благодать
Жить тобой, не лгать и не лукавить.

Снег смахну с твоих усталых ног
И снежинку с поседелой брови,
Только б ты однажды не продрог
От моей пылающей любви.

* *
*

На Ленинградском я живу проспекте,
Где выхлопной отравы поволока,
Где мысли то о жизни, то о смерти
Пронесятся, как транспорт в два потока.

И вижу: неизбежно столкновение,
Авария, ведущая к развязке...
Будь проклято Кассандрово прозренье,
Которое я предаю огласке.

* *
*

Петляет Руза в полусне,
Петляй, петляй, меня пугая,
Что скоро горло сдавит мне
Твоя веревка водяная.

Живу под именем чужим
В пансионате. Смотрит с грустью
Вослед мне липа — я крутым
Холмом сворачиваю к устью.

Со мною движется тропа
Между стрельчатыми овсами
И отдыхающих толпа
Под собственными именами.

Как в забытье на склоне дня
В Москву-реку впадает Руза,
И тут по имени меня
Внезапно окликает Муза.

Лишь мне слышна, лишь мне видна,
Незримая для посторонних,
Ко мне приблизилась она
С двумя птенцами на ладонях:

— Не бойся! Берег есть иной,
Есть мост висячий над петлею
Меж небесами и землею.
Не бойся и ступай за мной.

* * *

День пылает над рощей редеющей,
Все живое к реке накренья,
А в груди моей уголь холодеющий,
Обжигающий только меня.

Мне ль перечить пространству огромному,
Не познавшему душу свою,
Быть чужою скоту подъяремному,
В чьем сословье и я состою?

Много ль надо мне? — хлеба обдирного
И воды, и забыть, что вода
Мне остатком потопа всемирного
Почему-то казалась всегда.

Много ль надо? Но знаю заранее,
Что сама я пойду на убой,
Что сама я пойду на закланье
Водопойной наклонной тропой.

* * *

Зарядили дожди, да и мы зарядили с тобою
Всё о том же, о чем говорить нам и думать не след.
Нам до смерти любить эту землю и небо рябое,
Хоть живем на отшибе погибельных наших побед.

Слышишь, небо шумит, как шумит безутешное море,
Подгоняет к окошку березовой рощи волну
Да и слух непроверенный, будто в столичной конторе
Шьется, кажется, дело во всю ширину и длину.

Ну так что ж, мы не первые и не последние в мире
Среди тех, чья тяжелая лира на муки звала.
Зарядили дожди... Рябь морская в лиловом эфире —
Так давай поплывем, поплывем без руля и весла.

* * *

Вольфгангу Казаку

Из мелких облаков
На небе набран пояс —
Серебряно-прочна
Длина и прямизна.
Иль это на лету
Застыл гусиный поезд
Над устьем забытья
И над опушкой сна.

Тень на опушке сна
Продолжила ресницы,
Как чашечку цветка
Сосет мне ухо шмель,
Щекочет ноздри мне
Дыхание душицы, —

Какая у меня
Прекрасная постель!

Все мысли улеглись,
И только мысль о небе
Всё тянется сквозь сон
К гусиному перу.
Кто пишет им теперь?
Что может быть нелепей?
Всю жизнь я проспала,
Проснусь, когда умру.

* * *

Видишь, сама я себе западня.
Людам кричу среди белого дня:
Вот она я — унижайте меня!
Вот она я — распинайте меня!

Черного крику мне хватит на три
Не петушиных — вороньих зари,
Будут не в колокола звонари
Бить, а в сияющие фонари.

Я, заклеянная жгучей виной,
Я, в ожиданьи расправ надо мной,
Буду толочь под кирпичной стеной
Стекла фонарные голой ступней.

Боже, о чем я Тебе говорю?
Это в бреду я три ночи горю.
Колокола раскачали зарю.
Боже, о чем я Тебе говорю?

* * *

Разлетелся дым,
Разметалась тьма.
Тот, кто мной любим,
Тот — моя тюрьма.

От свободы он
Жизнь мою упас, —
Каждый взгляд — закон,
Каждый жест — указ.

Вздых его — упрек,
Поощрение — смех,
Слово поперек
Мне и молвить грех.

Но чужой не смей
И не смей родня
Из тюрьмы моей
Вызволять меня!

1983

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЖУРСТВО ЛЕЙТЕНАНТА МАХЛАКОВА

Рассказ

For Thomas, Jill, Sam, Nicolas
and others with love

Author

Старший лейтенант КГБ Василий Петрович Махлаков заступил на пост ровно в десять вечера. Пост предстояло сдать только в восемь утра, значит, всю ночь напролет он должен был стоять, не сводя глаз с окон на пятом этаже, не выпуская из виду дверей подъезда и всех входящих и выходящих. Лейтенанту Махлакову оставалось до пенсии всего год. Всю трудовую жизнь он посвятил оперативной работе, то есть, переводя на обычный лексикон, — охране государства. Но, несмотря на это, все же посылался на такие, с точки зрения Махлакова, оскорбительные для его возраста и стажа задания. Второй день лил непрекращающийся дождь!

«Октябрь в июне» — так окрестили погоду синоптики.

— Что они могут? — раздраженно думал Махлаков, — предсказатели! Послать бы их на Колыму — там бы подучили! Никакого порядка! Вот раньше! Посмели бы ошибиться! А сейчас врут как дышат! Ни стыда, ни совести! Вместо солнца — дождь и холод собачий! А ведь всю ночь на ногах! Вон татарин, — младший лейтенант Хабибулин был напарником Махлакова в эту смену, — у него кожа, как у носорога! Все нипочем! За что таких держат в органах? Настоящий придурок! А ведь побывал и в следователях, но

там разобрались быстро — возвратили нам это сокровище! Небось, стоит сейчас в подъезде и дремлет, а то из фляги посасывает. Это он может! Проспит всю ночь, а случись проворонить — спросят с меня! С Хабибулина спрос не велик! Собачья работа! А кто виноват? Маяковский! «Делайте жизнь с товарища Дзержинского!» Да и я в те годы был хорош! Погнался за романтикой — погони, шпионы, пистолет в кармане, красная книжечка! Эх, дурень! Сидел бы в райкоме, подписывал бумаги, получал бы паек и пакеты с пятнадцатой зарплатой, а сейчас бы уже и в обкоме, небось, достиг немалых должностей! Покой, персональный шофер, дача, двухэтажная квартира, загранпоездки, а здесь как сторожевой пес: в любую погоду стой, наблюдай! Расплодили диссидентов! Чего с ними нячатся! На Колыму! Нет твердой власти! Разве посмели б при Нем даже думать иначе? Пусть был грузин, зато как твердо правил! Порядок был — все тряслись! Взять нашего Темрюка — сейчас полковник, начальник опергруппы, а при нем коптил в лагере! Никита выпустил, а надо было еще подержать, а потом — на пенсию. Герой! Говорят, предупредил друга о готовящемся аресте, тот бежал, но все равно настигли, а на допросе, небось, хорошо отдули — продал дружка! И поделом! Тоже мне дружба! Какая может быть дружба, когда работаешь в органах! Начальство повелело — выполняй! Мать родную надо арестовать — прекрасно! Начальству виднее! А этот вздумал друга выручать! Жаль, что к стенке не поставили!..

Махлаков почувствовал, что начинает замерзать. Он принялся выхаживать вдоль стены, но мысли раздраженно осаждали, не давая покоя. Окна на пятом этаже светились. Казалось, что там тепло и уют, и это вдвойне раздражало Махлакова. Мысли закружились с удвоенной силой:

«Сволочи, небось, гостей ждут! Я вам покажу гостей! У них там тепло, чай распивают, слушают

«Голос Америки» — в оперсводке так и значится! А я бы их за одно прослушивание — в Сибирь! Почему я должен трястись здесь? Ждут иностранных гостей! Я вам, сукины дети, покажу иностранцев! Пора издать закон, как в Корее, запрещающий советским гражданам встречаться с иностранцами. А Хабибулин стоит в подъезде, его оттуда не выманишь! А доверить пост нельзя — поставь: задремлет, проворонит гостей! Эх, житуха!»

А в это время в квартире Сысоевых действительно распивали чай и слушали «Голос Америки». Супруги только что уложили детей, погодков, пятилетнего Петю и четырехгодовалого Алешу, и теперь, после тяжелого трудового дня, разместились на кухне. Над чашками клубились облачки пара, на диване бормотал транзистор, окна запотевали, а за ними стучал немолчаемый дождь.

— Вера, — обратился к жене Сысоев, — а как же, за город в выходные поедем?

— Что ты! Алешка кашляет, придется завтра вызывать врача. Если дадут больничный, останусь дома. Холод на улице собачий. Никуда выходить не хочется.

— Придется отложить поездку. А жаль! Я мечтал выбраться в лес с ребятами.

— Давай лучше отоспимся. А пойдем на позднюю литургию. Хорошо?

— Попробуем. Надеюсь, что дождь уймется. Вторые сутки без перерыва хлещет. Что-то подобное было в семьдесят шестом, ты помнишь?

— Как же! Ты тогда ухаживал за мной. Отопление не включали, в квартирах стоял холод, а мы бродили по Москве. Помнишь, как тогда вымокли?

— Конечно! Негде было посушиться. И все же были счастливы! Москва напоминала Венецию, казалось, что машины плывут по улицам, а вместо улиц — каналы.

— Ты слышишь? Опять в Москве кого-то арестовали. Какого-то Козловского. Ты не знаешь его?

— Надеюсь, что не переводчика Расула Гамзатова. Этого не за что ухватить. А тенор уже умер. Надо же органам оправдывать свое существование. Потихоньку арестовывают.

— Так и тебя когда-нибудь заметут.

— Не исключено.

— А что я буду делать с двумя детьми?

— Мир не без добрых людей. Помогут.

— Как же, жди помощи от наших христиан!

— Не так уж они плохи. Худо ли бедно, а с голоду не умрете. Слава Богу, времена изменились — не при Пахане живем!

— А все же мне страшно! Возьму и уеду!

— Куда?

— В Рим или Лондон. Временами готова волком выть от нашей жизни. А если тебя арестуют — не выдержу.

— Не спеши. Я ведь тоже не тороплюсь. А за образ мыслей пока не сажают.

— Всех, кто высказывался, уже посадили или выслали. А за тобой охотятся давно.

— Я — не спешу им помогать. Господь, верю, убережет. Не стоит преждевременно расстраиваться.

— Витя, поверь, не смогу...

— Вера, не растравляй себя! Все будет хорошо, — Сысоев обнял жену, прижался к щеке и почувствовал, как по ней катятся слезы, — не плачь! За окнами дождь плачет, ты плачешь — хоть из дому беги!

Он гладил волосы, целовал лоб и виски, утешая жену. На стекле возникали все новые и новые капли; сбегая струйками, они сменяли друг друга — крупные, неумолимые, печальные.

А в это время Фома Гудсон, молодой славист лет тридцати, входил в самолет Аэрофлота, который через полчаса улетал в Москву. Эта поездка была для

него не только развлекательной. В отличие от подавляющего большинства соотечественников, он прекрасно изучил страну, в которую направлялся впервые. Немало прочитано книг, не однажды встречался Фома с новыми и старыми эмигрантами. Русская культура и ее трагедия были близки сердцу. Он глубоко сочувствовал несчастной стране и страстно желал помочь тем людям в России, которые не смирились с новым игом, продолжали трудиться, восстанавливая лучшие русские традиции. В нем билась жилка авантюриста, и потому, когда известное эмигрантское издательство обратилось к нему с просьбой отвезти в Россию несколько книг религиозного содержания и детские вещи, он с радостью согласился.

Входя в самолет, он почувствовал приятное волнение — его ждала Россия, известная издалека. Самолет Аэрофлота мало чем отличался от самолетов западных авиакомпаний — чуть меньше комфорта, да произношение стюардессы вызывало смех. Перед отлетом Фома набегался, устал, и потому, когда взрели турбины и самолет оторвался от взлетной полосы, он задремал. Незаметно прошли три часа полета — сквозь дрему он услышал предупреждение стюардессы, что самолет летит над Россией, приближаясь к Москве. Фома выглянул в окно, стараясь разглядеть что-либо, но тщетно — внизу лежали плотные слои черных туч. Прослушав сводку погоды, понял, что в Москве прохладно — «английская погода», как пошутила стюардесса, и льет дождь.

«Что ж, дождь так дождь, — решил Фома, — не страшно». В Москве он намеревался пробыть неделю, а затем через Ленинград возвратиться домой. Посадка прошла благополучно. Вскоре пассажиры, раскрыв зонты, направились к аэровокзалу. Мимо паспортного стола, где проверялись визы, прошли быстро, зато на таможне образовалась огромная очередь, поскольку на последних сиденьях самолета расположились негры,

по-видимому, возвращавшиеся с летних каникул. Они первыми покинули авиалайнер, обвешанные огромными баулами. Таможенники беспощадно вспарывали сумки, извлекая тюки джинсов, блоки жвачек, партии маек с чьими-то изображениями, еще что-то, — в общем, Фома понял, что застрял надолго. Пассажиры возмущались, недоумевая и расспрашивая друг друга. Фома решил использовать это время на знакомство с таможеней.

Здание, в котором трудились таможенники, было просторным и светлым. Зал рассекали стойки, и за ними стояли, в основном, стройные девушки в униформе. Фома прошелся вдоль стоек, решая, в какую очередь встать, чтобы по возможности избежать проверки. Движения таможенников были отточены и свидетельствовали о высоком профессионализме. Внимание Фомы привлекла высокая блондинка с усталыми голубыми глазами. Он восхитился, как быстро и бесстрастно она трудится: длинные пальцы мгновенно ощупывали слои белья, лежавшие в чемоданах. Ничего не вынимая, она тут же переходила от чемодана к чемодану. Но вот, словно удачливый рыбак, что-то нащупала, извлекла и выложила на стойку. Встрепенувшись, она огляделась и ушла, подозвала высокого гражданина в штатском, пошептала, и злополучный пассажир был отведен вместе с чемоданами в дальнюю кабинку. Его сопровождали двое рослых джентльменов в штатском.

Эта картина едва не привела Фому в уныние. Он читал, изучал нравы русских, но первое столкновение ошеломило. Он был уверен, что пассажир не вез ни наркотиков, ни оружия — скорее всего, книги. Блондинка продолжала работу, рылась в сумочках, записных книжках, как автомат, безо всяких эмоций. Но вот дошла очередь до толстого, по-европейски одетого человечка. Еще в самолете Фома понял, что это советский гражданин, возвращающийся из команди-

ровки или едуший в отпуск. Он оживленно болтал со стюардессой, а сейчас так же запросто балагурил с таможенницей. Он сразу выложил на прилавок несколько упаковок, как понял Фома — парфюмерию и духи. Блондинка привычно отодвинула их к себе и пропустила толстяка без досмотра.

Фома, успокоившись, пристроился в очередь и, когда подошел его черед, так же непринужденно поставил перед нею коробку духов. Та устало придвинула их и спокойно, кивком головы, дала понять, что он свободен. Фома прошел в зал ожидания, мысленно перекрестившись и облегченно вздохнув. Дождавшись, когда собралась группа, он из рассказов соотечественников понял, что злополучный пассажир, выловленный блондинкой, оказался русским по происхождению и вез какие-то книги, которые решил спрятать в чемодане между вещами. Группа дожидалась, когда закончат индивидуальный досмотр бедолаги. Ждать пришлось еще полчаса. Наконец, показался пострадавший. Горестно вздыхая, он бормотал: «Все отняли — Библии, молитвословы, Евангелия! Что я скажу сестрам? Проклятье!..» Наконец, уселись в роскошный автобус и покатали сквозь хлещущие потоки дождя.

А в это время Махлаков почувствовал, что замерзает. Он зашел в подъезд, сознавая, что тяжело нарушает инструкции. Хабибулин дремал, прислонившись к стене. «Хорош гусь! Лейтенант! Сволочь! Выговор бы вклеить и отправить на пенсию! И зачем таких держат!» Он растолкал напарника и послал под дождь, наказав не сводить глаз с окон на пятом этаже. Связавшись по рации с дежурным, Махлаков коротко изложил ситуацию и ввиду тяжелых погодных условий попросил смену. Дежурный ответил, что смены не будет и что приказ Темрюка тот же — «наблюдение продолжать до утра». Махлаков выключил рацию, прислонился к стене и вскоре задремал.

Проснулся от того, что приснилось нечто несообразное — будто поясницу обвинил гигантский удав и сжимает Василия Петровича лоснящимися кольцами сильнее и сильнее. Махлаков пытается вырваться, но чувствует, что поясница леденеет. Тогда он выхватывает заветный кольт и всаживает в голову удава всю обойму. Но кольца не думают разжиматься. Отшатнувшись от холодной стены, он попытался выпрямиться, но вздрогнул от сильной боли:

«Так и есть! Опять радикулит! Проклятая работа!»

Глянул на часы — только полночь. Сгорбившись, вышел на улицу — дождь хлестал с прежней силой, ни на минуту не утихая. Хабибулина на посту не было. Махлаков вздрогнул и схватился за кобуру. Корчась от боли, одеревяневшими ногами он вышагивал вдоль стены в поисках Хабибулина. Напарник исчез! Махлаков было схватился за рацию, но вовремя сообразил, что кара обрушится на него, поскольку он старший. Проклиная все на свете: свою комсомольскую юность, глупость, дождь и диссидентов, он обошел дом — лейтенант Хабибулин исчез!

Окна на пятом этаже продолжали светиться. Весь дом спал, и только пятый этаж да еще одно окно на девятом светились, суля тепло, домашний уют и горячую ванну. Махлаков обессиленно остановился на углу, где находился наблюдательный пункт. Усилием воли заставил себя успокоиться. Прозрение пришло мгновенно: «Наверное, в подъезде! Ах, сукин сын! Бросил пост и укрылся в подъезде! Бериевский выкормыш! Ну, задам завтра на планерке! Я тебя распеку, не посмотрю на присутствие Темрюка! Ты у меня попрыгаешь!» Махлаков направился к первому подъезду, отворил двери — прислонившись к стене, дремал Хабибулин. Махлаков осторожно подошел к напарнику и схватил его за руку. Тот вздрогнул, рванулся и левой едва не врезал начальнику поддых. Старший лейтенант успел увернуться, но тут же вскрикнул,

схватившись за поясницу. Хабибулин пробудился и непонимающе рассматривал начальника.

— Покинул пост! Я тебя упеку, куда следует! — шептал, рыча от боли, Махлаков. Хабибулин обиженно отвернулся и зашагал под дождь. Потом вернулся и шепотом спросил:

— Радикулит?

— Так точно! — обреченно прошептал Махлаков.

— Выпейте немножко, товарищ старший лейтенант, — Хабибулин протянул Махлакову фляжку. Тот хлебнул раз, другой и почувствовал, как вкатывается тепло, согревая грудь, как медленно отступает леденящая боль в спине. Дверь скрипнула, чекисты вздрогнули и отступили под лестницу. В подъезд вошла прилично одетая молодая женщина, скользнула взглядом по двум фигурам под лестницей, разглядела флягу и, поднявшись на второй этаж, крикнула оттуда:

— Алкоголики проклятые, дня вам мало, никак не можете напиться! Чтоб вы пропали!

Хабибулин рванулся, но Махлаков железной рукой удержал его. Лейтенант зашептал начальнику:

— Оскорбление власти! Мы ее притянем к ответу!

— Дурак! — не выдержал Махлаков, — пошли отсюда!

На улице они едва не столкнулись с высоким юношей, который направлялся к подъезду.

— Хабибулин, ты сколько лет работаешь в органах?

— Двадцать пять.

— А в опергруппе?

— Пять лет.

— Запомни — нам нельзя обнаруживать себя ни при каких обстоятельствах. Вот если нападут, тогда мы имеем право дать отпор. И то не раскрываясь. Ты понял?

— Понял, товарищ старший лейтенант.

Махлаков вынул рацию и связался с центром. Де-

журный ответил, что никаких подозрительных телефонных звонков к Сысоевым не было, так что гостей на сегодня не предвидится. Это успокоило Махлакова. Он чувствовал головокружение и легкую тошноту.

— Хабибулин, а что у тебя во фляжке? Коньяк?

— Первачок, товарищ старший лейтенант. Но я добавляю клубничного сиропа, чтобы запах отбить. Очень хорош.

— На коньяк денег жалко?

— Зачем коньяк? Попробуйте еще разок, первач покрепче коньяка, а поллитра обходится в два рубля пятьдесят копеек.

— Придется на тебя докладную подать, что гонишь самогон, — устало пошутил Махлаков.

— Я ж не для продажи, для себя, — уловив ироническую нотку, бодро отвечивал Хабибулин.

— Нарушаешь закон, Хабибулин!

— Закон — что дышло, товарищ старший лейтенант.

— Запомни еще одно — на посту я не старший лейтенант, а просто Вася. Вот женщина нас приняла за алкоголиков — это высшая похвала! Значит, мы так замаскировались, что нас нельзя отличить от алкашей. А ты, как попугай: старший лейтенант...

— Все, больше не буду, товарищ... Вася.

— Но, но, только без фамильярностей.

А в это время Сысоев и Фома сидели за столом, распивая прекрасный индийский чай с добавлением бергамотового масла, предусмотрительно захваченный заморским гостем, и беседовали о том, о сем. Гость делился впечатлениями, пока поверхностными, об СССР.

— Как вы умудряетесь здесь жить — везде пропуска, надзор, слежка, подслушивание?

— Привыкли. Человек и не к тому может привыкнуть. Сейчас жить можно, а вот как наши отцы и деды выжили — до сих пор не пойму.

— Да, я читал об этом — «Архипелаг ГУЛаг», воспоминания Надежды Мандельштам, воспоминания Гинзбург и, кажется, Шаламова.

— Фома! Так ты, оказывается, прочел лучшее из того, что написано об этом периоде! Удивительно!

— Что в этом удивительного?

— Мне и раньше приходилось встречаться с иностранцами. Но они ничего не знают о нас. Когда едут в Африку или Азию, считают нужным прочесть хоть что-то, но когда едут в СССР — не читают ничего. Естественно, что после недельного путешествия по Золотому кольцу приходят в экстаз и потом расхваливают Россию как образцовую страну — «где так вольно дышит человек»!

— Не думал, что ты так высоко оценишь мои знания.

— Должен сказать тебе, что таких, как ты, единицы. Большинство вообще ничего не понимает и не хочет понимать. Сюда приезжают развлекаться, поесть черной икры, выпить водки. Те, кто хочет помочь, часто делают это так аляповато, что проку от них никакого.

— Ты прав. Из нашей группы на таможне обыскивали одного, русского по происхождению. Все отобрали, а вез он Священное Писание.

— Эх, хоть и русский, а не удосужился узнать перед поездкой свои права — он мог оставить личный экземпляр Библии, сославшись на то, что никогда с ним не расстанется. Далее — если Библии изданы разными издательствами, имеет право ввезти две или три. То же самое с Евангелиями.

— Виктор, а я этого не знал!

— Зато ты сумел провезти все, что захватил. Это гениально!

— Знаешь, на таможне я молился. Все окончилось благополучно. Давно мечтал побывать в России — мне казалось, что в наши дни она один из духовных

центров мира. Один Солженицын чего стоит — это пророк наших дней!

— Насчет всего мира — не знаю. Но действительно через Россию проходят мощные течения Духа. Пастернак, Солженицын, Шаламов, Надежда Мандельштам, Максимов — откуда они взялись? Как сумели они уцелеть, выстоять и рассказать о страданиях России всему миру? Непонятно! Это чудо!

— Виктор, я побывал в Латинской Америке — там происходит что-то подобное. Странно, на окраинах мира, где царят произвол и насилие, — именно в этих местах так ощутимо дыхание Духа!

— Это так! Но одним нам не выстоять. То, что происходило в семидесятые годы, — увы, стихийно! Это движение отчасти угасло само, отчасти задавлено. Стихийные движения без организации, без руководящего центра не могут противостоять централизованному государству. То, что эпоха диссидентства длилась свыше десяти лет, — чудо! Но сейчас иная пора. Многие пришли в Церковь. Это одна из самых больных проблем. Нет священников, нет книг, епископы молчат — иным заткнут рот, иные изнемогают в борьбе с государством, иные пасут самих себя. Если не поможете вы — мы задохнемся. Для того, чтобы нормально расти, необходимо общаться, но, выстояв, мы сможем помочь вам.

— Что в моих силах — сделаю. Но ты не представляешь, как инертны европейцы. Не можешь себе представить, с каким трудом издаются журналы и книги. Перед тобой свежий номер «Вестника» — издает его несколько человек!

— Неужели никто из недавно уехавших не хочет приложить свои силы и знания?

— Увы, многих затянул круговорот жизни, многие не могут преодолеть самости, а это, согласись, необходимо для общего дела. Журнал издают старики. Так же дело обстоит и в издательстве «Жизнь с Богом».

— Печально! Я этого не знал! Впору бросать все и ехать туда, помогать. Страшно представить, что мы будем делать, если прекратится издание «Вестника» или перестанет работать на Россию «Жизнь с Богом».

— Я боюсь подумать об этом. Это горящие свечи в кромешной тьме. Вокруг бушует пир, люди наслаждаются многообразными способами — современная цивилизация предоставляет неслыханные возможности, а эти люди самоотверженно трудятся, часто слыша лишь одни нарекания!

— Пир во время чумы! Видимо, Запад обречен! Именно поэтому на наши плечи ложится неслыханная ответственность — мы должны выработать противодействие, выстоять, чтобы тем, кто идет за нами, было легче бороться. Отрадно, что есть такие люди, как ты. Мне кажется, что мы с тобой выросли здесь, вместе переносили нужду.

— Мне тоже пришлось бороться, я ведь из небогатой семьи. Уже в колледже приходилось зарабатывать на жизнь. И в университете, так что жизнь знаю и с изнанки.

— Фома, уже час ночи. Метро закрыто, а мне завтра в восемь на работу. Пошли, я провожу тебя, а ты обязательно заглядывай, как только выдастся свободная минута.

А в это время полковник Темрюк, седовласый, чуть грузноватый человек лет пятидесяти, сидел в просторном кабинете на Лубянской площади и ждал результатов ЭВМ. В нее были заложены оперданные, касающиеся Виктора Сысоева. Темрюк не понимал своего подопечного — Сысоева нельзя было безоговорочно причислить к диссидентам; он не подписывал открытых писем и протестов, не участвовал в демонстрациях на Пушкинской площади в день Конституции, не был замечен в распространении антисоветской литературы, добросовестно трудился в научно-исследовательском институте в должности младшего со-

трудника, был женат, имел двоих детей, не блудил, не пил. Но образ мыслей был явно не тот. Одно то, что он посещал православные богослужения, окрестил детей и водил их в церковь, слушал «Голос Америки» и встречался с иностранцами, говорило не в его пользу. Сам Темрюк не разделял мнения начальства, что все верующие — скрытая контра. Он прекрасно изучил психологию православных и понимал, что в основной массе это пассивные, изломанные жизнью люди, большей частью конформисты, не опасные для государства. Встречались, конечно, фанатики, но это были единицы! Смешно было бы думать, что кто-либо из советских граждан может угрожать государству и колоссальной полицейской машине. Но машина есть машина! Она существует — значит, должна работать! Это Темрюк понимал. Понимал и то, что, несмотря на полную реабилитацию, он уже не пользуется безоговорочным доверием начальства, потому, быть может, ему поручили возглавлять «церковный сектор». В контрразведку, которой он посвятил молодые годы, путь отныне был закрыт.

Многое в поведении Сысоева было непонятно, и полковник хотел заглянуть внутрь, как выражаются церковники, «во святая святых» и понять, что могло привести в Православную Церковь человека, воспитанного в атеистическом духе, выросшего в благополучной советской семье. Отец Сысоева был известным физиком, доктор наук, профессор, лауреат. То, что Павел Сысоев был материалистом, — в этом сомнений не было: он был членом партии, фанатически преданным своему делу. Воспитывала Виктора, конечно, мать. Но и она не была церковницей. Дед и бабка по материнской линии внушали подозрения. Вот их биографии: дед был церковным старостой, репрессирован в 1929 году, сгинул в лагерях. Сысоев родился в 1945 году. Значит, влияние деда исключено. Наверное, бабка. Но нет, она умерла в 1952 году, когда

подопечному было семь лет. Непонятно, откуда он мог набраться этой дряни! Школа, институт — этот период не внушает подозрений. Сначала пионер, затем комсомолец. Значит, что-то произошло после института. Да, задачка! Полковник откинулся на спинку стула, посмотрел на часы. Уже за двенадцать. Пора бы и домой.

Но полковник не спешил — дома его никто не ждал. Жена и дочь поспешили отказаться от него еще в те времена, когда сидел. С тех пор не виделся с ними. Знал, что дочь неудачно вышла замуж, а жена живет с рядовым инженером. Вторично жениться Темрюк не решился. Иногда приходит, чтобы навести порядок в доме и скрасить одиночество, пожилая вдова. Этого вполне достаточно. Все силы, всю энергию Темрюк отдавал работе.

«Сысоев... Что же с ним делать? Вызвать и поговорить? А может, не стоит? Вспугнем! Прекрасно, вот и результаты ЭВМ:

Отношение к строю — лоялен. (Хорошо! Это я предвидел!)

Отношение к органам — отрицательное. (Так, так!)

Убеждения — религиозен. (Это и без машины ясно).

Социально активен. (Это что-то новое для православного. Не сектант ли?)

Пропаганда взглядов — грешен! (Это уже нехорошо. Веровать нужно в одиночку.)»

Полковник мысленно пожурил Виктора. Занимаясь подопечными, Темрюк порой ловил себя на том, что испытывает к ним отеческие чувства. Часто ему хотелось вызвать того или иного шалопаю и просто отчитать, безо всяких протоколов и официальных повесток. Пожурить, посоветовать и отослать. Может, это происходило оттого, что отцовский инстинкт оставался неудовлетворенным. Темрюк допускал и

это. Жаль, что, беседуя с тем или иным из своих подопечных, он часто не находил общего языка и бывал удручен явной враждебностью и недоверием. Подобное отношение больно ранило, но он не позволял расслабляться и снисходить — в этом случае он наказывал. Одно из высказываний, кажется, апостола Павла, особенно утешало его в эти минуты: «Кого Бог любит, того наказует». И он понимал, что наказание, которое он выносит, является спасительным для подопечного. Иных, правда, приходилось отправлять в ссылку или в лагерь, но этого требовала неумолимая машина и ход вещей, который определялся высшей политикой. «На всякого мудреца довольно простоты», — говаривал он в подобных случаях и отправлялся в ресторан «Арагви» вкусно закусить и посмотреть на веселящихся фарцовщиков, коими занимался его друг, полковник Гремаго.

Сысоев внушал опасения — не к чему было придраться! Другие православные нового призыва баловались иконами, утварью, девочками, книгами — это было понятно. Человек всегда остается человеком! Но этот! Что ж, придется усилить наблюдение! Не может быть, чтобы не оказалось слабину в младшем научном сотруднике. Не бывает людей без слабостей! — это полковник знал точно.

— Моя слабость — это книги, — говорил Фоме Виктор, когда они выходили из лифта. На улице бушевал ливень, оба поежились. Раскрыли зонты и шагнули во тьму.

А в это время председатель кооператива, кандидат физико-математических наук Бабашкин, кляня моду, синоптиков и собственную супругу, прогуливал таксу Симу. Полуботинки промокли, и в них хлюпала вода, жилет на Симе также вымок, и, может быть, поэтому такса еще не сделала всех необходимых дел. Бормоча ругательства, Бабашкин вынужден был торчать на улице. Дверь соседнего подъезда открылась

и вышла жена Свистуна, подчиненного Бабашкина. Ее влекли вперед два огромных бульдога, которые, завидев Симу, зарычали и ринулись вперед. Рывок был настолько неожиданным, что мадам Свистун рухнула во весь гренадерский рост, но поводков не выпустила. Сима испуганно завизжала и бросилась к хозяину. Бабашкин, перепугавшийся не меньше таксы, схватил ее, прижал к груди и начал пятиться на газон. Бульдоги рванули еще раз, и мадам Свистун попластунски проехала по направлению к Бабашкину. Председатель не выдержал и завизжал:

— Уберите немедленно ваших чудовищ! Я приказываю! Вы слышите?

— Иван Михайлович, дорогой, — из лужи умоляюще ответила жена Свистуна, — простите! Я сейчас поднимусь!

Но как только она попыталась встать, бульдоги рванули еще раз, и мадам проехала добрых два метра. Бабашкин завизжал и почувствовал, что уже не может остановиться:

— Милиция! Спасите! Скорее! Остановите! Караул! Милиция!

При этих криках от стены соседнего дома отделилась фигура и направилась по направлению к Бабашкину. Тот, завидев пошатывающегося человека, завизжал еще громче, не зная, куда отступать. Фома и Виктор, проходившие мимо, бросились на выручку. Виктор взял из рук лежавшей в луже дородной дамы поводки и начал оттягивать бульдогов, которые люто стремились к визжащему Бабашкину. Фома взял другой поводок, и постепенно им удалось увести бульдогов с места происшествия. Дама поднялась, встряхнулась и неожиданно, полным страдания голосом, произнесла в адрес Бабашкина:

— Я этого так не оставляю! Этот случай разберет товарищеский суд! Вы оскорбили женщину!

— Я вас выселю! — визжал Бабашкин, — развели собак! Выселю в Сибирь! Уволю!

Он отступил к подъезду, а фигура пошатывающегося человека медленно надвигалась на него.

— Милиция! Где милиция? Почему нет милиции? — оглашали двор истошные крики кандидата наук.

Начали загораться окна, и видно было, как принимали к стеклам заспаные лица. Из подъезда соседнего дома вышел скрюченный человек и направился к голосящему Бабашкину. Тот, едва завидев второго, бросился бежать и скрылся в недрах подъезда. Оба вышедших подступили к мадам Свистун:

— Что случилось?

— А вы кто такие? Чего вам нужно? Тоже, называется, мужчины! Женщину на их глазах оскорбляют, а они не могут заступиться! Посмотрите на этих мужчин! Ха-ха-ха! Бесстыдники! На вас юбки одеть нужно!..

Монолог оборвал Виктор:

— Дарья Михайловна! Возьмите ваших собак!

Призыв подействовал, и дородная дама поспешила к любимым псам.

— Спасибо, Виктор! Вы оказались подлинным другом! Вы будете свидетелем на товарищеском суде!

— Конечно! Но только не сегодня. До свидания!

За углом стояла машина и приветливо светился зеленый огонек. Виктор разбудил таксиста, посадил Фому и зашагал к дому. У подъезда к нему подступили две фигуры:

— Ваши документы!

В темноте невозможно было разглядеть лица, но по тону Виктор понял, что это не грабители и не хулиганы.

— Давайте войдем в подъезд. Здесь темно. И прошу вас приготовить ваши документы.

Махлаков не стал упрямиться и вынул из кармана красную книжечку инспектора угрозыска, выписан-

ную на фамилию лейтенанта Пекарева. Сысоев внимательно посмотрел и со вздохом вернул ее скрюченному Махлакову:

— Вот мой паспорт. Объясните, в чем дело?

— В соседнем доме ограбили квартиру, — беря паспорт, миролюбиво объяснил чекист. Развернув паспорт, чуть не ахнул: Сысоев! Внезапно он вспомнил наказ Темрюка: «Только не вспугните!» Все! Карьера кончена! Теперь на пенсию! Пенсия! Он с трудом выпрямился, захлопнул паспорт и подал Сысоеву:

— Все в порядке. Простите. Можете идти.

Тот пожал плечами, положил паспорт в карман и молча разглядывал Хабибулина. Махлаков повторил:

— Можете идти.

— Спасибо. Я слышал.

Он еще раз внимательно посмотрел на Махлакова и нажал кнопку лифта.

Махлаков облегченно вздохнул и вдруг понял, что с плеч свалился огромный камень, который в последние годы совершенно задавил его. Он забыл про радикулит: «Пенсия! Ведь это блаженство! Свои двести рублей получу! На сберегательной книжке есть запасец, проживем! Зато не надо будет торчать под дождем, бегать в метро, гонять автомобили, рискуя свернуть шею! Пенсия! Покой! Пусть стучит кулаком по столу Темрюк — все, отслужился! Прощай, органы! Старший лейтенант Махлаков теперь займется рыбалкой, будет ездить в лес, солить грибы!»

— Хабибулин! Дай-ка фляжку!

И он глотнул первачка за здоровье диссидента Сысоева.

Июль 1982

ЛАГЕРНЫЕ СТИХИ

ЗАБОРЫ

Под дождем к заборам
На краю земли
Гнали под надзором,
К ночи — привели.

Полн барак доверху.
Спят — невпроворот.
Будет им поверка,
Будет и развод.

За забором — горка
И другой забор.
Там дымит махоркой,
Сушится надзор.

Над тайгой бессонный
Ветер не унять.
Любит он над зоной
Лампочки качать...

Дики и белёсы
Тянутся леса,
Всходят на откосы,
Смотрят в небеса.

И до звездной степи
Достает тоской
Капанье и лепет
Осени пустой.

* * *

Давайте морды для вытья
Поднимем величаво.
Давно закрыты для житья
Крест-накрест все заставы.
Давно открыто для питья
Налево и направо.

Поднимем морды для вытья —
Еще нам остается
Он, длинных вывесок неон,
Он светится, он вьется
Перечислением имен
Всего, что продается.

1953

* * *

Рассказывают сказку
За сломанным сараем.
Мы вслушались,
Мы лицами под звездами сгораем.
Сдвигая наши плечи,
Нам открывает тьма
Разрушенные печи,
Сгоревшие дома.

Настанет утро, путаясь
В торчащем разрушении.
И все мы обособимся,
И каждый станет с тенью.
И всем нам будет время,
И всем нам будет имя.

Столпимся мы у переправы
С судьбами своими.
Как стали мы угрюмы,
Покинув детства свет!
Но нищенские судьбы
Не нищенские сумы, —
Куда их сбросить — нет.

ТАК ИЛИ НЕ ТАК ЛИ

Было то далёко,
Света на краю.
Дождик плыл до окон
На свечу мою.
На мои оконца
Густо, быстро очень
Мчался морозящий
Дождик полуночи.

Вышел — оказалось:
В глубине полуночи
Дождь остановился,
Полнит лепестки,
От луны стеклянной
Пляшут в лужах луночки,
Две звезды мерцают,
Крупны и близки,
Два мои оконца
Медленно дрожат,
Здесь и там у рук моих
Вспыхивают капли...

Вышел — оказалось:
Не идет назад,
А стоит и смотрит,
Так или не так ли

Озвучает полночь
И горит в глуши
Трепетанье капель,
Окон, луж, души.

1948, август

* * *

Глухая ночь. Церковные ограды.
И к небу не дошедшие громады.

И свет, не постижимый никогда —
На небе в тучах яркая звезда,
Из бездны отвечающая взгляду,
Молившему — в отчаяньи — года...

Из бездны протянувшаяся нить.
Ограды. Ночь. Оцепененье ада.
И храма нет — колени преклонить.

1940, июль

ПЕРЕЛЬМАН Симон — родился в 1923 году. По специальности геофизик, автор многих научных работ. В 1946-53 гг. находился в ухтинских лагерях. Из СССР эмигрировал в 1978 году, живет в Бриджпорте (Коннектикут, США). Стихи пишет всю жизнь.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО

Он с предосторожностями вошел в комнату, деревянно переставляя ноги и, по-видимому, ощупывая рукой стенку. Дышал он тяжело, прерывисто, с присвистом, он всегда так дышал, возвращаясь поздно. Опрокидывалось дневное напряжение — он постоянно о чем-то думал, однако он не был ни рассеянным, ни безразличным человеком. Опираясь на палку, он прошел по комнате, смежной с моей, сел на кровать. Мысленно я представил его круглое, нестарое лицо, с обманчиво-доверчивым взглядом сквозь очки, лицо постаревшего мальчика. И я понял, что соскучился без него в одиночестве. Он закурил. Дым через открытую дверь потек в мою комнату. Затем он лег и натянул на себя одеяло и спрятался под ним.

— Коля, ты спишь? — тихо спросил он.

— Нет.

— А почему ты не спишь?

— Решаю в уме газетную задачку.

— Понятно...

— Ты сегодня трезвый?

— Пьяный, — сказал Саша негромко и счастливо.

Я понял по его тону, что ему хорошо не только потому, что он трезвый, а потому, что весь вечер пробыл с ней. Я закрыл глаза и сосчитал до сотни, но заснуть все равно был не в состоянии. Я думал, что ждет его в скором будущем. Хотя прежде я редко задумывался о других, всецело и безраздельно поглощенный собой...

Такой он был благополучный, мой сосед и наставник, в нашу первую встречу, такой веселый, чуть

Отрывок из повести «Свет войны». Печатается с сокращениями. — (Ред.)

ироничный, такой независимый, что прямо загляденье. А когда мы пошли в столовую, он мне еще больше понравился. Все его там знали, и он всех знал, и был ласков — с каждым, остроумен, а я тушевался, удивляясь его популярности. Потом мы остались одни, и он вдруг стал вспоминать войну, ту последнюю войну, на которой он был майором, на которой он был молод и уже был майором, и когда будущее было равнозначно мечте, а теперь он просто невзрачный мужчина под сорок.

«Ты думаешь, я неудачник? — сказал он тогда. — Я оптимист, понятно, неисправимый оптимист. Я оптимист», — он повторял это, как заклинание. Мы вернулись в редакцию, и Саша повел меня в отдел знакомиться с Олферьевой.

Она работала завом. Тоща, костлява, длиннонога, носила всегда черное платье, волосы не завивала, смотрела чуть искоса, говорила резко и отрывисто, обо всем имела категорическое мнение. Она была из того типа женщин, что воспитываются на изречениях: «Ни поцелуя без любви», «Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений». Они презируют свой пол, а в отношениях с мужчинами признают только дружбу на равных.

Мою дружбу с Сашей она не одобряла и пыталась предостеречь. Будто бы у Звягинцева связь — это говорилось вполголоса, — да, да, связь с какой-то женщиной, притом замужней, и его не раз видели вместе с ней, и он даже ничего не скрывает, то есть скрывает, но неловко, неумело, прозрачно, так что в итоге и не скрывает, и вообще он такой человек, трудный человек, и я не должен поддаваться его влиянию.

...Однажды я видел его рядом с ней. Они шли молча. Она стройная, прямая, он ниже ее ростом, с палкой. Они шли в кино. У самых дверей их остановил какой-то человек в ватнике. Он отозвал Сашу в сторону, они потолковали о чем-то, и человек в ват-

нике убежал в переулок. Это был его друг, которого не так давно уволили из газеты, «ввиду профессиональной непригодности».

Да, им скучно было скрываться, а может, и нечего скрывать, не такая уж это тайна. И вдруг я подумал, а если это правда, что им нечего скрывать, то как же их свидания втихомолку, их любовь, а может, ей это и не нужно, а нужен Саша и просто человеческое отношение, а может, и Саше это не нужно, а только бы смотреть на нее и слушать, как она говорит. И любовь тогда у них не такая, какую мы подразумеваем.

И вот так они гуляют вечером в парке среди деревьев, вдали от светофоров и враждебных глаз, касаясь друг друга руками нежно, как если б лилипуты, ведь у лилипутов любовь как у детей, наверно, не подозревая, что их уже выследили вражда и зависть и чья-то рука анонимно твердо пишет:

«Довожу до Вашего сведения, уважаемый редактор, что несмотря на стремительный наш путь к светлomu завтра, попадаютcя еще среди нас ловкачи и двурушники. Чем, например, занимается в свободное от работы время ваш сотрудник Александр Звягинцев, который, я своими глазами видела, неоднократно назначал свидания замужней женщине Наталии Кирилловне Апраксиной, попросту Наташке, и целовал ее в темноте. Надеюсь, Вы примете соответствующие меры.

Пенсионерка М. И.».

Это целомудренное послание было отпечатано на машинке. Пять ошибок я в нем насчитал: вместо целовал было «цаловал», неоднократно было написано «не однократно», и так далее, какие-то нарочные ошибки, для маскировки. Как назло, оно попало в руки Олферьевой, и та по секрету показала мне.

Когда я прочитал, она приставила палец к губам: «Смотри, мол, не проговорись». И что удивительно,

не сразу она поведала другим о письме, а несколько дней прятала у себя. Я так и вижу, как она сидела дома и перечитывала письмо, и размышляла над ним, над Сашей, над своей безмужней жизнью, и тоскливо гляделась в зеркало на свое острое лицо, прямые тусклые волосы, на плоские чашечки под ключицами и узкие бедра нерожавшей женщины, и, может быть, понимающе сочувствовала той, что настрочила в газету.

Но что для Саши эта плюгавенькая анонимка, дешевка, кукиш из-за угла, так я думал. И какое дело мне, мелькало, когда я читал пенсионерку М. И., если я только практикант-сезонник, вроде бы свой и не свой, вроде бы жилец и вроде бы гость, пробыл месяц и поминай как звали, стоит ли вмешиваться и близко к сердцу...

С того дня минула неделя, странная и двусмысленная. Конечно, анонимка — не документ и никакого значения вроде бы не имеет, так должно быть по логике вещей, но что-то нарушилось в атмосфере, что-то исказилось в налаженных отношениях. Все почувствовали это... и внезапно помешались на анекдотах. Наперебой предлагали послушать чрезвычайно уморительные истории. А на Сашу глядели с состраданием и чуть свысока.

Поползли слухи, один невероятнее другого, такие маленькие серенькие слухи с длинными хвостами, окружая бедного слона. Мне было неловко и, по правде говоря, жалко Сашу. Где-то я читал, что будто бы нехорошо жалеть людей, что жалость унижительна, а почему нехорошо, если ты их любишь? Ведь жалеешь не для того, чтобы самому было спокойно, и не потому, что помочь не можешь... Я не стыдился своей жалости, хоть и скрывал ее. А скрывал оттого, что Саша пока в ней не нуждался.

— Водки нет? — спросил Саша.

— Ни черта.

— А выпить бы неплохо. Коля, ты счастлив?

Я привык к его неожиданным вопросам.

— Почти.

— А что такое счастье, Коля?

— Я не знаю как сказать.

— А я, Коля, был счастлив недолго — сразу после войны. Жил я тогда в Москве на Патриарших прудах у тетки. Напротив моих окон пруд лежал и там до самой осени лебеди плавали... Когда ветер, их было не видеть. Целыми днями я глядел, как они вдруг на воду лягут и поплывут. Я тогда ничего не делал — просто привыкал, привыкал, что нет войны. Сидел у окна, смотрел на лебедей и читал, запоем я читал, и все, помню, удивлялся, сколько времени утекло, мир переменялся неузнаваемо, а имена все те же и книги те же остались, что и сто лет назад.

Сашин голос исходил из светлой части и как бы продирался сквозь мрак.

— А еще я любил во дворе сидеть. Мужики в домино режутся, старухи под репродуктором сплетничают, а я сидел и думал. Ох, как много я тогда думал. Даже, когда на пруд смотрел, думал, как же все заново устроится. Трудно сказать, малыш, что чувствовали мы, кого пощадила война. И наши безумные надежды в то время... Ты знаешь, у меня на фронте была девушка. Медсестра Маша. Это было неслыханное везенье — иметь там девушку. Маша долго воевала с нами. Потом она попала в плен. После войны я отправился в тот город, где она жила когда-то, нашел ее дом, только саму не нашел. Отец ее показал мне письмо, каким-то образом она переслала его из лагеря: «Если приедет Саша, скажи, что я погибла». Конечно, я ее искал, но все без толку. В одном учреждении мне сказали: «Вам не стоит ее ждать». Ты понимаешь, что такое фронтовая подруга? Медсестра Мария. Ты понимаешь это, Коля, растуды твою кафель?

— Стараюсь, Саша.

— Нет, не дано этого тебе понять. Мой брат-фронтовик тот может понять, потому что сам хлебнул... Маша вытащила меня раненого с ничейной земли. Мне перебило ноги. А когда делали операцию, она держала мою руку, успокаивала, чтоб я не орал от боли. Я сжимал ее ладонь из всех сил, так что она почти омертвела... Ты понимаешь, ведь это было счастье. Хоть каждый день смерть, чья-то смерть и смерть в глаза.

— Ты так и не нашел ее, Саша?

— Нет. Я оставил ее там. В братской могиле, так сказать... Хотя, если по правде, она всегда со мной. Я все еще живу в том ослепительном свете, — сказал он негромко.



У Звягинцева собирались почти каждую неделю. Собирались с поводом и без повода, и если кто-то из посвященных выбывал на время, его место занимал новенький, по верной рекомендации. Каждый новобранец, появляющийся в нашей квартире, должен был расписаться по традиции на развернутой газете, приколотой к стене.

Кого я помню на этих шумных вечерах? Приходил Владик Басманов, начинающий писатель, автор бессюжетных рассказов, герои которых терзались непониманием друг друга. У него был твердый взгляд сквозь прозрачную защиту очков и робкая улыбка. С новыми акварелями являлся без стука местный художник Георгадзе, молчаливый грузин, сторонящийся женщин... Здесь бухгалтер издательства Симкин проповедовал охрану природы и литературной речи. Неизвестно, как и когда усаживался в углу Ваня Незабудкин с очередным фолиантом на коленях и глядящий на всех с улыбкой, словно с горы Синая. В пол-

ночь распахивал дверь дворник Кашеваров. (Чтоб здесь мне без парада, поскольку труженики двора уже спят.) Среди постоянных были еще Кокушкин и его супруга Кокушкина, милые люди, не имеющие по застенчивости своего мнения, зато всем дающие в долг, наш Гаргантюа — пожарник Демидов и выпивоха фотокорр Голубков.

Со стаканом в руке переходил от гостей к гостям хозяин квартиры, останавливался, слушал, загорался спором, а спорили всегда, обрезаясь о «проклятые» вопросы, и когда залезали в тупик, приглашали а арбитры Ваню Незабудкина, у которого имелось всегда несколько точек зрения на любой предмет.

Саша был тише обычного, он только глядел поочередно на каждого с видом человека, который разучился бояться.

— Уж не записался ли ты в рационализаторы? — сказал Незабудкин, как бы подчеркнув ногтем свои слова.

Звягинцев не удостоил его ответом. Будто он прислушивался к чему-то там за окном и не хотел отвлекаться, а может, бродил где-то там за окном с кем-то, очень ему приятным.

— Мы потеряли уважение к природе, — ораторствовал в это время бухгалтер Симкин, — мы плюнули ей в лицо, а кто дал на это право?

— Бросьте, — оборвал его пожарник Демидов, — я природу уважаю. Я за природу готов, в общем, все понятно, товарищи?

— Какая природа, — возразил негромко бывший путешественник Никита Трофимов, — какая природа в наш одуревший век. Да здравствуют спортсмены и танцоры, и нет никакой природы.

— О, маленький сон природы, — сказал Ваня Незабудкин, — я тоскую по горсти чистой земли.

— Черти вы мои ненаглядные, — сказал Саша, —

кто сбегает в ларек и послужит тем самым на пользу всего общества.

На стол полетели бумажки, а Ваня Незабудкин, как безработный, собрал их в кулак и принял на себя почетную миссию. Он даже за водкой умел ходить величественно.

Ух, как мы поддали в этот вечер, мир потерял четкие контуры, и все мы двигались, точно по проволоке. Пожарник Демидов обнимал Незабудкина, требуя: «Ты скажи всю правду, как есть, ученый человек».

Писатель Басманов залез на стол и декламировал стихи:

«Гул затих. Я вышел на подмости,
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случилось на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси...»

Праздник идей, русская фиеста, бедные супруги Кокушкины с перепугу спрятались в шкафу. Дворник Кашеваров отплясывал лезгинку с кухонным ножом в зубах. Художник Георгадзе писал фреску на обоях. Тут же, среди нас, оказался каким-то образом участковый милиционер, уже нагрузившийся, и чокался с бутылкой: «За хороших людей грех не выпить».

Единственный трезвый, Саша Звягинцев, взяв свою палку, посох фабричного производства, вышел из комнаты на свидание с кем-то куда-то к кому-то.

С его уходом разговор мало-помалу затих, словно лишившись дирижера, и молча мы пили вино, сидя вокруг стола с задумчиво-опущенными лицами.

Наутро болела голова и не хотелось вставать. Веки были тяжелыми, будто положили свинец. Маленький сон природы, пропело где-то вдалеке.

— Коля, ты проспишь так событие века.

— Ага.

— Коля Утехин, тебя ждет перо и скучает машинка.

— Угу.

— Нет, из тебя не выйдет Михаила Кольцова, — говорил он, стоя возле умывальника, — это факт. Михаил Кольцов, скажу тебе, был мастером иронии. А почему? Потому что вставал он при первых лучах солнца.

— Я его мало читал.

— Это тебя не оправдывает.

— Он мне показался холодным.

— У него была волчья наблюдательность. И прицел снайпера.

— Он был холодный профессионал.

— И что вы за поколение, не понимаю.

— Куда пойдем завтракать?

Мы идем молча по утренней улице и в тишине гулко звучат наши шаги. Мы идем рядом и вместе. Останавливаемся возле ларька, на котором лежат первые цветы в сезоне — подснежники. Сидя на стуле, дремлет продавщица с чуть приоткрытым ртом. Саша выкладывает мелочь на прилавок и прячет букетик в карман. От звона металла продавщица просыпается и смотрит на нас с тревогой.

— Все в ажуре, — говорит он, — не волнуйтесь.

...Позади осталось уже черное футбольное поле, отдыхающее до нового сезона, комиссионный магазин, культтовары, сапожная мастерская, доска объявлений: «Меняю комнату... Требуется няня... Продаю пианино, оставшееся в наследство от бедной бабушки...»

Идем по длинной и тихой улице по направлению к вокзалу. Ресторан там открывается раньше, чем где-либо. Кроме нас, ни одного пешехода. Только впереди, у магазина одежды с манекенами меж зеркальных окон, стояла на коленях перед витриной дряхлая старушка в черной суконной юбке, жакеточке и

повязанная черным платком. Родом, как видно, из дальней деревни, она отбивала усердно поклоны и бормотала что-то, наверное, с мольбой обращаясь к прекрасным богородицам в нейлоновых чулках и шелковых гарнитурах. Помолилась и встала, немудрящая, и смотрит на нас сияющими очами. А потом — шмыг к почтовому ящику, вынула из кармана монетку, в прорезь столкнула, перекрестила ящик трижды и, поцеловав, потекла, блаженная, в свою сторону. Через несколько шагов оглянулась, одарив нас взглядом из-под черного платка.

Долго мы смотрели, как она шла, семена, все дальше и дальше, уменьшаясь в росте постепенно, и пропала в переулке. Хотя чего уж проще, посмеяться, сидя в современном ресторане, над необразованной крестьянкой, которая перепутала образ Христа с почтовым ящиком. Но мы не разрешили себе посмеяться и, потягивая свежее пиво, провожали воспоминанием доброхотную старушку, что помолилась перед манекеном за всех нас, товарищи, живущих и грамотных в науке.

Подошел официант с высоко поднятой головой.

— Приветствую дорогих гостей.

Спросил Сашу о делах.

— Дело — труба, — сказал Саша.

— А что за музыка случилась?

— Эх, — махнул рукой Звягинцев, — сам еще не знаю. Только дело — труба.

— Брось, старина. Из каждого положения есть выход.

— Где наша не пропадала, — сказал Саша.

— Слушай, ведь мы фронтовики... Если с деньгами затерло... Сам понимаешь.

— Спасибо, дружище. Но мне ничего не надо. Хочу новую жизнь начать, просто-напросто.

— Что-то ты темнишь?!

— Знаешь, как говорит один мой приятель. Ни-

когда не поздно начать новую жизнь. Даже за день до смерти.

— И что ты в ней делать будешь?

— Перееду в другой город.

— Не смешно. Сашка-журналист, которого читает вся область, бросит нас на произвол судьбы.

— А если это вынужденный маневр.

— Стой до конца, майор.

— Давай выпьем-ка лучше по рюмке, товарищ по оружию. За тебя и за меня.

— Служебный долг, Сашенька.

— Эх, едрит твою качель. Всюду этот долг. Служебный долг. Куда ни кинь.

— Саша, на черный день я всегда рядом, ты понял? Звягинцев толкнул его в бок.

— Мы еще проживем.

Официанта позвали офицеры за соседним столиком. Часы на стене пробили восемь. Не успели удары стихнуть, как издалека мы слышали тихий серебряный звон. Еще один час был в моей власти, а после я принадлежал газете. За эти недели я привык к ее процедурам, я должен был отвечать на письма читателей, ездить в недельные командировки, вычитывать гранки и дежурить в типографии. Я присутствовал на летучках и даже обсуждал напечатанные материалы. Я понимал логику газетчиков. Это была логика особого типа, с непременным пафосом борьбы и подвига. Только Звягинцев ухитрялся быть искренним и честным, но как это ему удавалось — был его секрет.

Я вернулся в редакцию и полдня писал зарисовку о первом дне путины и мучительно искал для нее название. Я смотрел на Олферьеву (наши столы были друг против друга), на ее вытянутое и сосредоточенное лицо, округлые и звонкие глаза, уставившиеся в пространство. Я думал над названием и думал над тем, что в общем-то она неплохая, любит симфоническую музыку и подает всегда единственному нищему

в городе. Она в присест писала очерк, и, думая о ней, я говорил себе.

Нет, из тебя ничего не выйдет. Как ни старайся, из тебя ничего не выйдет, потому что ты не рожден. Ты внимателен к человеку, и серьезно относишься к жизни, и учишься у хороших писателей, и все-таки тебе не дано.

Тебе не дано за один день настрочить очерк и за одну командировку разобраться в людях. Тебе не дано рассудить, кто прав и кто виноват, если спустя десять лет ты не знаешь, кто виноват в смерти твоей бабушки: блокада, или родственники, что бросили ее, или она сама, не пожелав выехать из города. Тебе не дано, потому что не дано. О простых вещах надо писать просто, но где эти простые вещи. О простых людях надо писать просто, но где эти простые люди.

Тебе не дано быть Олферьевой. Тебе не дано просыпаться каждое утро с ясным понятием о жизни. Можно завидовать или не завидовать, но если не дано, то, значит, не дано.

— Вот, послушай, — сказала она и прочла окончание очерка.

— Замечательно! — воскликнул я. — Замечательно.

— В самом деле? — она посмотрела на меня и достала из сумочки зеркальце.

— А я название не могу придумать, хоть лопни.

— Чего проще, — сказала она, — «трудовая победа», и точка.

— Но это же было тысячу раз, — возразил я, — тысячу и один раз.

— Ты хочешь выдумать велосипед. Право, не трудись. Каждый практикант свое начинание называл «Трудовая победа». Каждый, можешь мне поверить, — она подвела карандашом брови и покрасила губы ядовито-желтой помадой.

В семнадцать часов началось собрание при закрытых дверях. То, что Звягинцев нарушил трудовую

дисциплину, послужило лишь поводом. На самом деле под прицелом оказалась его личная жизнь.

Я ходил по коридору из конца в конец мимо кабинета редактора. За стеной слышались голоса, то одновременно, то вразнобой, какие-то скрипы, вздохи и удары. Паузы были ударами, а голоса — судьями. Рядом приостановилась уборщица тетя Клава: «Ничего не слышать?» Я покачал головой. «Ах, ты Господи, дело какое», — и прошаркала со шваброй к лестнице.

Стало тихо-тихо, и я приник ухом к дерматиновой двери, исследуя значение тишины, тишины со знаком плюс или минус, но это была нейтральная тишина. Значение ее было двойко: или Саша хотел уйти из газеты и его не пускали, или наоборот.

«Для нас ничто не тайна», — прорвался сквозь тишину голос Олферьевой. Вот оно что, подумал я, вот где собака зарыта. Задвигались стулья, кто-то вздохнул шумно и протяжно, дверь распахнулась и первым вышел замредактора, маленький, кособоконький человек с тусклой озабоченностью в надбровьях, глава обширной семьи, владелец огорода и не дурак выпить. «Все нормально, все нормально», — пробурчал он под нос, по-видимому, так и не поняв, зачем нужно было это собрание, для кого и для чего; но раз собрались, то нужно.

Два заведдела задержались на лестничной площадке, закурили. Оба высокого роста, лет под сорок, в просторных, облегающих костюмах, они казались близнецами, да и были ими по единогласию в поступках.

- Не пойму, чего он в бутылку лезет.
- Давно напрашивался, вот и получил свое.
- Ну, и куда теперь?
- Можно в «Южную ночь» или «Метрополь».
- Лучше в «Поплавок».
- Айда.

У спецкора лицо было печальное и умудренное. Он подмигнул мне и помахал на прощанье рукой.

Выскочил Саша, какой-то обугленный, не оглядываясь, судорожно заковылял наверх. За ним группа сотрудников: Владик Басманов, Олег Василевский, редактор с потухшим лицом, он поймал мой взгляд: «ничего страшного, не волнуйся», сказал на ходу, и последней Лиза Олферьева, и глаза у нее блестели, как у Жанны д'Арк. Она посмотрела вверх, в спину Саши, он вдруг споткнулся, чуть не упал, охнул — и скрылся. В глазах ее я заметил нечто похожее на растерянность.

Спустя полчаса я зашел в наш кабинет, там сидела Олферьева за своим письменным столом и, уронив голову на листки очерка, душила слезы.

— Вы плачете?

— С чего вы взяли, — она подняла на меня сухие глаза.

.....

— Лиза, зачем вы написали анонимку?

— Вы забываетесь, юноша.

Я опешил и сформулировал вопрос иначе:

— Он понял, кто это написал?

— Да.

— И он промолчал?.. Это в его стиле, не так ли?

— Не спрашивайте, вы ничего не знаете.

Мы так не терпим, если кто не похож на нас. Мы не выносим присутствия такого непохожего человека.

— Потому что я люблю его, — сказала она, — дайте слово, что вы не передадите ему. Дайте слово.

— Да-да, конечно. Раз вы так хотите...

Приподняв голову, она посмотрела на меня в упор.

— А теперь уходите, — сказал она твердо, с ожесточением, чуть ли не с ненавистью, — уходите. Сейчас же. Кто вас звал? Слышите, ухо-ди-те.

На следующий день я снова уехал в командировку, и, пока меня не было, у Саши разболелась нога, и он лег в больницу.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

Обычной почтой

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	70	130	250
Все остальные страны	97	184	357

Воздушной почтой

Европейские страны,			
Северная Африка	107	203	396
США и Латинск. Америка	126	242	474
Австралия, Япония, Китай	136	262	513
Иран, Израиль	113	215	419

Давнишним подписчикам (свыше 10 лет)
по-прежнему делается скидка.

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год
«Обозрение»,
аналитический журнал «Р. М.»
под редакцией А. М. Некрича.

БЕЛЫЙ ЛУГ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК: 9 ноября — 23 декабря 1982

Перевод с польского Н. Горбаневской

ДОПРОС С КАРТОЙ

— Ваш отец умирает —
Говорит гебист
А я слышу как пульсирует капельница
Вбитая в вену последних стихов
— Из-за вас отец умирает
Вы же скрывались
Занялись подпольной работой — говорит он
Я гляжу на его череп
Предмет обтянутый кожей
А напротив повешена Польша на карте
С позолоченным бюстом Дзержинского
Там где некогда бился пульс Варшавы

ДОСКА

Анджей Гвезда подарил мне доску
Кто бы мог подумать
Что такую радость
Мне доставит обычная доска

Сколочу себе полку
Над постелью
Поставлю туда книгу
Единственную что у меня есть

Так я начну строить
Заново мир

ПЛАНЕТА

Он здесь потому что
Врубил в цеху сирену
Она выла словно ошпаренная
Он здесь потому что
Ходил от станка к станку
И говорил Свобода
Должна быть
Он здесь потому что
Остановил свой автобус
На перекрестке старого и нового света
Он здесь потому что молчал
Когда его били

Теперь все в тесноте по камерам
Откуда столько существ
На этой вымершей планете

СЕГОДНЯ

В камере номер 12
Медиевист Кароль Модзелевский
Читает лекцию
О возникновении польского государства
Его слушают монтажники тракторов
И рабочие от станка
Есть тут и спортивный судья
По профессии метеоролог
Начала нашего государства
Погружены во мрак
Завтра не существует

Только шумит вырубленная пуща
И по заиндевелому полю
Проскальзывает сегодня как заяц

ОТЧИЗНА

Он сидит здесь год
Его вышвырнули с работы
Его жена все чаще плачет
Его отец умирает
Его солдаты
Застрелили его брата
Его сына били
До потери сознания
Его истинам
Впрыснули под кожу фенол и керосин

А его отчизна
Что с нею случилось
С его отчизной

ОГОНЬ

Кшиштоф человек жестокий
Он сдирает кожу с колбасы
Мартены у него на заводе
По-прежнему пышут
Но другой огонь угасает
Потому-то он хочет побыстрее выйти
И подбросить туда
Щепотку себя самого

ЦЕПОЧКА

Его дед сидел
За Польшу
Которой не было

Его отец сидел
За Польшу
Которая возникла

Теперь он тут сидит
За Польшу
Которая возродилась

ЖАЛОБА ТОКАРЯ

Тут прокатилось много войн
Но еще ни один захватчик
Не взял столько ворот столько дверей
И еще ни один захватчик
Не говорил так бегло по-польски
Ни один еще захватчик
Не был моим соседом
Со второго этажа
— Его сынишка и по сей день
Играет с моим сыном —
Он рассказывает ворочаясь с боку на бок
Он не может уснуть
Слишком много бессмыслицы под веками.

ВЫСЫЛКА КУЛАКА ИЗ ЛАГЕРЯ В ТЮРЬМУ

Генек Трубач
Сегодня уехал с этапом

Попусту станут дожидаться
Коровы луга некошенные
И орган в деревенском костеле
На котором он игрывал

На его постель
Перебрался кто-то другой
И кто-то другой выйдет
На краткую прогулку

И хотя охраняли его
Пять ангелов в штатском
И три в голубых мундирах
Никто не помог ему нести крест

*ГЛЯДИМ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ*

Оперативная группа
Последняя щепка моего спасенья
Говорит старушка
Мы смеемся до слез
Но по правде говоря
Одни только слезы
А смех неведомо где

МЫШЬ

В чьей груди заскрежешет ключ
Кого опять отпрут
И запрут на долгие годы
Слышно как по коридору
Идет столетний сквозняк
И как на другую сторону трагедии
Прогрызается серая мышь

КРЫСА

Мы не свободны
Не свободны охранники
Ни тем более вечно настороженный гебешник
Не свободны окна
Ни решетки ни двери закованные
До крови в железо
Свободна крыса
Нынешней ночью
Она расписалась именем-фамилией
В шкафу на желтом сыре

СОЧЕЛЬНИК

Уже известно
Что не все пойдут по домам
— Сегодня на прогулке
Пойдем на травку господа —
Говорит вохра по кличке Печенка

Травка это седые пучки из-под снега
И уже завиднелся Сочельник
Высоко проплывающий в тучах

ВСТРЕЧА

Почти все говорят
Что возобновят борьбу
Но иные намереваются
Выращивать клубнику

В ягодах скопится
Кровь убитых

На листьях осядут
Слезы близких

Значит когда-нибудь все мы встретимся
На полях под небом

НА ПРОГУЛОЧНОМ ДВОРИКЕ

Все остановились
Над грязною ямой
Виднелись прожилки глины
Осыпался влажный песок
Долго глядели удивляясь
Что их так притянула
Эта яма в земле

Да это же Польша
Сказал один
И разошлись быстро
В молчании

КАПЕЛЬ

Нас осталось только 27
Мы таем как сосулька
Что собиралась раскроить им череп
Да только капли капают на каски

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЧЕРЯ

Нас тринадцать
И стол уставлен едой
Но нету

Ни Христа ни Иуды
Оба трагически погибли

А мы живые
Собравшись вокруг одного
Проигранного дела
Как пробитая ладонь
Вокруг заржавелого гвоздя

ЭТАП*

Забрали пятерых
Северин не успел дочитать стихи
Янек крикнул за решку
Меня не сломают
От искры разжигайте пламя
Гжезь велел передать привет
Тем кто на свободе
Анджей и Кароль шли молчаливо

А когда их везли
Через город
Холодный влажный бесчувственный
Кто-то в освещенном окне
Резал хлеб культею кто-то
Нес подмышкою елку
Вздрагивая окоченелой тенью

* В этом стихотворении речь идет об аресте (накануне освобождения последних интернированных, еще остававшихся в лагерях в конце декабря 1982) и отправке в следственную тюрьму членов Общепольской комиссии «Солидарности». Из семерых арестованных в стихотворении упомянуты пятеро (судя по предыдущему стихотворению, те, с кем поэт находился в одной камере): Северин Яворский, Ян Рулевский, Гжегож Палка, Анджей Гвезда и Кароль Модзелевский.

А мы остались тут
Восемь беспомощных людей
В яме выкопанной
Под забором Европы

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я ощутил на шее
Большой и маленький венок
Сплетенные пальцами сына и жены
Мебель меня не узнала
Не узнали стены
Только окно прорубленное
В суровую действительность
Подошло и поглядело сквозь меня
В темноту

ЯСТРУН Томаш — родился в 1950 г. в Варшаве, сын известного польского поэта Мечислава Яструна. Поэт (дебютировал в 1978 г. книгой стихов «Без оправдания»), автор киносценариев и рассказов для детей. В 1980-81 гг. был сотрудником комиссии по делам культуры «Солидарности» Мазовии. Был схвачен во время больших облав накануне назначенной подпольным руководством «Солидарности» всеобщей забастовки и интернирован в Бялолэнке, где и написана книга «Белый луг» (Варшава, «Библиотека 'Тыгодника Военного'», 1983 — издано в подполье), откуда выбраны публикуемые стихи. (Бялолэнка — по-русски примерно Белолужье.) В апреле 1983 г. за поэтическое творчество периода военного положения награжден премией подпольной «Солидарности».

ДЖАЛАПИТА

Перевод с украинского Моисея Фишбейна

Меня уже тень ножа убивает, — сказал Джалапита, — а ты с ножом хочешь на меня наброситься.

Джалапита питается облаками, и лапы у него облака, и руки у него облака, поэтому каждый раз у него другое имя.

Джалапита универсален. Он каждый из существующих предметов и людей, но он не они, он Джалапита. Когда две тысячи лет назад пытались писать биографию Джалапиты — бросили, потому что Джалапита не умещался в слове. Он выливался из слова, как тесто, и его каждый раз бегали искать в небе и на земле. Джалапиту описать невозможно.

Имя Джалапиты меняется от настроения, погоды и от того, на каком расстоянии он находится от воды.

Джалапита поднялся в лифте на Вавилонскую башню и глянул вниз. В пыли на одной из центральных улиц сидел толстый ребенок и ковырялся в носу. «Ребенок этот может быть моим учеником, — подумал Джалапита. — Для него открыта тайна жизни, словно свежая раковина».

Он свесил запасную ногу с башни на улицу и сел рядом с тем ребенком. «Учеником?» — сказал ребенок и вынул палец из носа. «Нет, — подумал Джалапита, — этот ребенок непоследователен. Не быть ему моим учеником».

Джалапиту можно есть. По Джалапите можно ходить, он ландшафт.

Джалапита пошел на бега и сел в первый ряд. Сидевшая рядом подслеповатая старушка подняла крик, приняв Джалапиту за коня. Она обратила на Джалапиту внимание потому, что ей не видно было бегов, поскольку она забыла дома очки. Ее зрения хватало только, чтобы увидеть Джалапиту. На ее крик никто не обратил внимания, потому что все были заняты лошадьми, а Джалапита закрылся левой рукой от старушки и углубился в размышления. Джалапита думал, что кони бегут отдельно, а скорость бежит отдельно.

Джалапита блуждал всю ночь и наконец заснул в кочегарке. Ленивый пуэрториканец-кочегар, которому лень было приносить уголь и дрова, увидел Джалапиту и натопил им печи. Джалапита очень удивился, когда его тело начало блуждать по всем батареям небоскреба. Сначала это его развлекало — блуждать вместе с паром, но вскоре надоело, и он разорвал трубы и вышел. А когда приехали пожарная и аварийная команды и окружили лестницами небоскреб, Джалапита, только что собиравший из всех труб свое тело, сказал: «Джалапитой отапливать небоскребы опасно».

Джалапита верил слову. А слово взяло и поломало Джалапите все косточки, всю душу, бросило в кадку и смешало Джалапиту с цементом и грязью. Бедный Джалапита лежит, разорванный на кусочки, а худое слово ходит, припевая: «Джалапита безрассуден, разве можно верить слову».

Джалапиту заставили носить воду. Он пошел, взял на руки реку и принес всю реку на стол, потому что жаль ему было отрывать от нее кусочки воды.

Тогда ему велели отнести реку назад. Джалапита послушно отнес, положил в русло и долго стоял на одном месте, горюя, что им недовольны. Джалапита был очень добр.

Джалапита вышел в парк и сел на первую скамейку. Ему страшно хотелось плакать, как хотят воды, когда мучит жажда, но он не умел. Он сидел такой неуклюжий и грустный, опустив руки и лапы на землю, что возле него собрались дети и стали кидать в него песком. «Хорошо было бы умереть хоть на день», — думал Джалапита, а у него над губой уже получились из песка усы, и дети уже ползали по нему и били его по зеленым векам, которые обламывались ящерицами и исчезали в траве, — мокрыми, звонкими ладошками.

Джалапита так часто ходил думать в парк, что понавыдумал целые места в воздухе. Эти места висели в парке, как огромные грибы, и каждый, кто проходил возле них, набирался мыслей Джалапиты.

Джалапита придумал водяной телеграф. Достаточно было положить лицо на воду и подумать в воду, как вода передавала мысли на другую сторону земного шара. Нужно было лишь открыть кран, чтобы получить водяную телеграмму.

Джалапита пошел в баню попариться и залез на верхнюю полку. Банщик так старался угодить Джалапите, что отпарил ему одну из ног. Нога упала с верхней полки на методиста, мывшего голову в миске, и убила его. А Джалапита долго переживал, что из-за его неосмотрительности пропал человек.

Джалапита ходил по берегу и думал о текущих вещах, когда к нему подошла девочка и набросила на

него из слова уздечку. И Джалапита стал чахнуть, потому что слово выжигало из него все мысли. Девочка не знала, что она натворила, а Джалапита лежал на берегу, и через него перекатывались волны. «Как тяжело», — жаловался Джалапита, но волны были слишком легки, чтобы смыть с него слово, вдоль и поперек пронизывавшее ему тело и душу. Джалапита мучился, грызя песок, зачем Джалапита — Джалапита. Джалапиту можно убить одной небрежной мыслью.

Когда Джалапита уставал, он садился прямо на землю и перетасовывал вокруг себя все ландшафты. Потом раскладывал из пейзажей пасьянс, и это его успокаивало.

Когда Джалапита отправлялся путешествовать, он всегда брал с собой в карман запасной пейзаж.

Джалапита изобрел клей, которым можно было растягивать на целые годы приятные минуты, а неприятные: целые столетия, эры — сужать до одного мгновения или одного миллиметра.

Джалапита шел по улице и увидел, как женщина несла тяжелый чемодан. Он предложил помочь, а когда оглянулся, то увидел, что даже тени той женщины нигде нет. Джалапита удивился, а потом вспомнил, что люди не умеют шагать, как он. Потому что, пока женщина успела сделать шаг, Джалапита уже был за городом. Ему ничего не оставалось, как возвратиться назад и искать женщину, которую он потерял. Он ее нашел еще до того, как она успела заметить, куда вдруг исчез Джалапита с чемоданом.

Джалапита пошел на концерт. А ему музыкой разнесло все тело на пылинки, и он должен был целый год собирать себя по атому из космоса.

К Джалапите пришли влюбленные: «Нам нет места, всюду автомобили, дома, улицы». Джалапита глянул на них и не смог им ответить. Он лег на мостовую, и его тело разошлось деревьями и кустами, и все автомобили были вынуждены повернуть назад и окольными путями объезжать новосозданный парк.

В одну из бессонных ночей, когда Джалапита заболел тоской, слишком близко спустившись к людям, он придумал дождь, который излечивал все болезни и даже любовь. Потому что люди мучили Джалапиту, а он был настолько добр, что не мог защищаться.

Джалапита шел по улице, думая над тем, почему люди, идя, размахивают руками, и пришел к такому выводу: люди размахивают руками, чтобы измерить пространство, чтобы удержать равновесие и чтобы производить вентиляцию космоса.

Когда Джалапита впал в никчемность, он открыл контору по аренде небесных долин, облачных колодцев, раздвижных туч с громами и без громов. Безработным сдавал бесплатно. С зажиточных брал в зависимости от их прибыли от пяти центов до тысячи долларов. В этой конторе можно было купить также ландшафт из памяти.

Джалапита построил мост через океан и посадил по краям моста деревья, чтобы те, кто боится высоты, переходя, не падали вниз. Но мост получился немного водянистым, так как Джалапита строил его из океана, и по нему решились пройти только трое пьяниц, которым было море по колено.

Джалапита лежал в воде и глядел на солнце, когда к нему пришли посланцы судей и пригласили его на диспут. «Что такое справедливость?» — спросили его

судьи, в то время как Джалапита выжимал свое тело, чтобы не забрызгать их одежды. «Справедливость — это доброта, меренная на миллиметры», — ответил Джалапита и увидел, что в зале никого нет. Он не заметил, что судей смыло водой, которую он выжал из своего тела, и отнесло в реку, где их, еле живых, подобрал пароход, везший английских туристов.

К Джалапите привел человек на веревочке таракана и попросил, чтобы он их рассудил. «Не дает мне жить», — жаловался человек. «Хорошо», — сказал Джалапита, и человек и таракан ушли от него, обменявшись телами. А через несколько дней таракан привел на веревочке человека и сказал, что не выдерживает, потому что такого тирана он еще не встречал. И, когда Джалапита снова поменял их тела, таракан пошел в одну сторону, а человек в другую, и они еще долго оглядывались друг на друга.

Джалапита решил отдохнуть от земного и, спустившись на нижайшую окраину мироздания, свесил ноги в небытие и стал слушать, как его голова вытягивается по небу. Но в эту минуту кто-то пощекотал ему живот. Джалапита глянул вниз и вздохнул, вспомнив, что он пообещал пойти в кумовья к человеку, который стоял на земле и стебельком щекотал Джалапиту, напоминая о крестинах. Джалапита хотел сломать стебелек, потом ему стало жаль, ведь у этого человека больше ничего не было, а доброта Джалапиты была безгранична. Он соскреб свою голову из космоса вместе с воздухом, не имея времени ждать, пока она войдет в свою обычную форму, похлопал ее для уверенности лапами, чтоб не разлетелась по дороге, и, говорят, в тот вечер кум Джалапита вел себя очень легкомысленно: пил, плясал и даже рассказывал непристойные анекдоты, которые позже стали догмами африканских религий.

Джалапиту продали в рабство и заставили там драить паркет. Джалапита надраил полы так, что гости не могли удержаться и вылетали из окон и дверей.

В какой-то день, когда была страшная жара, Джалапита залез прохладиться в арбуз и не заметил, как арбуз сорвали с бахчи и повезли на базар. Он опомнился уже на столе, когда стали резать арбуз на ломти и уже отрезали ему одну лапу. Джалапита вынул плечи из сока и потянулся, а гости с перепугу опрокинули стулья и посуду и в суете насмерть прокололи друг друга вилками и ножами, которыми собирались есть арбуз. Джалапита, увидев такое горе, вынул из них ножи и вилки и положил на буфет, затем поплевал им на раны, чтобы гости зажили, и пошел к фонтану, где купались воробьи, пить воду. У этого фонтана Джалапита произнес слова, которые произвели революцию в области жизни и промышленности. А именно — что арбуз можно есть и без ножа и вилки.

«Не могу без тебя жить, — сказала капля Джалапите. — Я знаю, что ты велик, и знаю, что ты Джалапита, а я всего лишь капля, но это дела не меняет, я не могу без тебя жить». Джалапита так удивился, что три дня простоял на одном месте, не в силах от удивления пошевелиться, а на четвертый ответил: «Если ты не можешь жить без меня, то живи со мной», — и посадил каплю себе за ухо. И в мире начался страшный хохот, что Джалапита носится с каплей. «За ухом он ее носит, — катаясь от смеха, говорили друг другу павианы, — но еще лучше, когда они идут рядом. Их рост! Священная корова, увидев их, померла от хохота». Тогда Джалапита обратился к зверям и людям и спросил, отчего они смеются, и все показали пальцами на каплю: «Она мала и ничтожна, стыдись, Джалапита». «Ничтожного и малого не существует», — ска-

зал Джалапита и показал им на ладони каплю. И все ужаснулись и бросились врассыпную, увидев свои искаженные лица в капле. Потому что капля была велика перед ними, словно солнце, а все перед нею — словно песок, ибо такова была воля Джалапиты.

«Ты светлый?» — спросили Джалапиту два фонаря, гулявшие по улице. «Я переходной», — ответил Джалапита, и все трое пошли в погребок обмывать новое знакомство.

«Тоска вышла из воды», — сказал Джалапита.

«Что такое ветер?» — спросил Джалапиту ребенок, сидевший в песке и терший глаза пятерней. «Ветер — это абстрактная вода», — ответил Джалапита.

«Почему люди курят? — удивился Джалапита и тут же догадался: — Люди курят от отчаянья, что им никто не курит фимиами, поэтому они кадят сами себе».

Джалапиту спросили, что он считает главной целью техники. «Чтобы люди могли самих себя поднять за волосы вверх», — ответил Джалапита, но репортеры не записали этого ответа, считая, что он граничит с метафизикой.

Джалапита спал на набережной, когда два безобразника забросили в его сердце удочки и стали ловить рыбу. Джалапита проснулся от того, что из его сердца один из безобразников вытащил карася. Но Джалапите не хотелось вставать. Он посмотрел на безобразников, осторожно ударил по набережной большим пальцем ноги, чтобы безобразники не упали вниз и не разбили носы, и набережная откололась перед ногами у безобразников и поплыла с Джалапитой в океан.

К Джалапите пришли жаловаться купальщики: «Толстые мешают нам плавать, они вытесняют из реки всю воду», — сказали худые. «Худые мешают нам плавать, они делают воду геометрической, а в плоской воде невозможно плавать», — сказали толстые. Глянул на них Джалапита, глянул на песок, на котором они стояли, и создал для них двухэтажную воду. Воду, в которой могли плавать одни худые, и воду, в которой могли плавать одни толстые.

«Джалапита делает мир текучим», — сказали когда-то ученые и, решив приструнить Джалапиту грамматикой, объявили, что Джалапита — вообще не Джалапита, что происхождение его очень подозрительно и не исключено, что он возник из простого искажения двух санскритских слов *jali pitar*, что означает отец воды, и *jali saha*, живущий в воде. Когда Джалапиту начнут склонять, все в мире станет на свои места, так как санскрит язык мертвый и Джалапита тоже мертвый, сказали они и раскрыли книги. Но, пока они записывали падежи и решали происхождение слова Джалапита, имя Джалапиты, только что вписанное в грамматику, разрослось нежнейшим салатом, и ученые, забыв, что они делали, и сняв очки, заслушались, как играет вода в Джалапите и как поют в нем птицы.

Джалапита лежал в водосточной трубе и слушал, как дождь уверял железо, что он солнце. Железо поверило бы, если бы в языке дождя не было так много гласных, подумал Джалапита.

«Подвинься», — попросила птичка Джалапиту, ночевавшего между ветвями. Джалапита подвинулся и обломил половину мироздания. Птичка запела, а Джалапита сказал: «Большое разрушается малым».

Когда Джалапиту заставили как-то утром делать гимнастику, а ему было неудобно отказаться, чтобы другие не краснели за свою бестактность, произошло затмение солнца.

Джалапита почесал ногой о волну и стал играть с ветром в шахматы. «Шах мат», — сказал ветер, и Джалапита долго обдумывал следующий ход. «Матчиш», — сказал наконец Джалапита и выиграл партию.

Джалапита задумался как-то над тем, почему люди тонут, ведь он знает воду, вода длинная, и в ней невозможно утонуть, и пришел к выводу, что, вероятно, в воде есть дырки, в которые люди просто проваливаются насмерть. Если бы эти дырки заткнуть подушками, люди перестали бы тонуть.

Как-то среди лета, когда Джалапита проходил мимо государственной библиотеки, он соблазнился прохладой и тишиной и, пропустив свое тело сквозь сетку от насекомых на окне, так крепко заснул среди полок, что не почувствовал, как его руку и полплеча заставили книгами. Он проснулся от того, что библиотекарь пытался поставить ему в живот особо важную инкунабулу с железными застежками, которые цеплялись за ребра и желудок Джалапиты и никак не входили. Джалапите было очень неприятно такое обхождение с его внутренностями, тем более натошак, но он боялся, объявившись, испугать насмерть старого библиотекаря, зная, что библиотекарь суеверен и у него злая жена. Тогда он вздохнул и вобрал живот по самое горло, чтобы дать место фолианту, а потом еще несколько недель разглаживал желудок и все внутренности от книжных отпечатков.

«Кто видел мое лицо, — сказал Джалапита, — тот всегда будет смотреть на воду».

Джалапиту пригласили на съезд математиков, чтобы он принял участие в вычислении законов небесной кривизны. Джалапита выслушал все теории и, откупорив свой самый молодой мизинец, вынул оттуда цветок и показал им результат. Математики были настолько поражены открытием, что опрокинули стулья и, теряя очки, побежали на левады ловить мотыльков.

Джалапита пошел между растений и проскитался в них двести лет.

У Джалапиты только одна постоянная примета: доброта — все остальное преходяще.

Когда Джалапите пришлось быть послом, ему вручили выкованную из железа грамоту, чтобы Джалапита, неся, не измял ее своей непроконтролированной лапой, забыв, что Джалапита был почтальоном мыслей и никогда не случалось, чтобы Джалапита смял или смешал тончайший оттенок мысли. Нежность Джалапиты была непревзойденной.

Джалапита пошел на выставку изобразительного искусства, и все шедевры, смутившись, тихонько вышли из зала, придерживая рамы, чтобы не греметь.

«Почему у человека есть тень?» — спросили Джалапиту. «Потому что в нем плохо работает освещение изнутри», — ответил Джалапита.

Джалапита так добр, хоть блины на нем жарь. На масленицу так и делали.

«Одежда ограничивает тело и душу», — решили люди и одели Джалапиту, чтобы наконец нормализовать и определить его хотя бы для тех, кто им увлекался, но, пока они приступали к работе, Джалапиты уже было столько вне одежды, что самые видные эксперты не отважились решить, тот ли Джалапита, что в одежде, или тот, что вне одежды, потому что и тот и другой были Джалапитой.

Как-то супруги, которые собирались в театр и не могли найти няньки для своего трехмесячного младенца, попросили Джалапиту присмотреть за ребенком, пока они вернутся. Джалапита так добросовестно выполнял свою обязанность, что, когда через несколько часов родители вернулись из театра, ребенок уже успел повзрослеть на двадцать лет и потребовал, чтобы его немедленно женили, а иначе он тут же станет аскетом и начнет спасать мир. Ответа родителей хроника не передает.

Джалапита изобрел сито, пройдя сквозь которое человек становился добрым, но это сито по государственным соображениям запретили.

Джалапиту попросили произнести речь на приеме для государственных мужей и очень удивились, когда Джалапита раскрыл рот и вместо речи выпустил в небо стайку воробьев. Все стали сетовать, что Джалапита не сдержал слова, и теперь была очередь Джалапиты удивляться, потому что это была лучшая из всех его речей и он не знал, чего же от него хотят.

Приглашенный на день рождения, Джалапита был задержан добрыми делами и очень торопился, когда ему под ноги подвернулся, перегородив дорогу, ручей. Джалапита так торопился, что уже занес было ногу, чтобы перешагнуть препятствие, но, своевременно

вспомнив, что через лежащих не переступают, очень смутился и обежал ручеек вдоль — и еще успел не опоздать на день рождения, думая о малом и великом.

Когда Джалапиту заставили на ферме разводить кур, он так ретиво посвятил себя этой обязанности, что авиакомпания подала на Джалапиту в суд, жалуюсь, что она не выдерживает конкуренции и вынуждена закрыться, если не укротят Джалапиту, потому что с тех пор, как Джалапита работает на ферме, все предпочитают для большей безопасности и скорости делать дальние перелеты на курах, выращиваемых Джалапитой, а не на самолетах.

Из всех изобретений Джалапиты наибольшее распространение в северных странах получили собачки, умеющие гулять, не проваливаясь и не принося другого вреда, по кольцам дыма, которые выпускал хозяин, когда у него не было времени вывести собаку на двор, а когда хозяин не курил — по выдыхаемому им воздуху; и галоши для хозяек-чистёх — эти галоши сами за собой вытирали грязь, которую наносили.

«Человек осознал, что у него есть душа, когда придумал подушку», — сказал Джалапита.

Озон — это Джалапита, не успевший воплотиться. Но достаточно лишь подумать о Джалапите, как он уже высовывает руки и ноги из воздуха.

АНДИЕВСКАЯ Эмма — родилась в 1931 г., детство провела в городе Сталино (ныне Донецк) и в Киеве, где ее застала война. С 1943 года — в эмиграции. В Германии закончила гимназию и Украинский свободный университет, где получила степень магистра. Некоторое время жила в Париже, затем в Нью-Йорке. Теперь снова в Германии. Один из самых интересных современных украинских писателей. Автор полутора десятков книжек стихов и прозы (среди них — три романа: «Геростраты», «Роман о добром человеке»,

«Роман о человеческом предназначении»). Пишет также короткие новеллы, своеобразные легенды. По словам одного из критиков, «их отличают сказочность, новые и неожиданные сочетания разных сторон реальности и намеренная простота стиля. Простота и лапидарность языка создает впечатление, будто все чудесные события, описываемые автором, — вещи будничные и случаются ежедневно».

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.

Главный редактор **Андрей Седых**

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,

35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

И он, трепеща от любви
И от близкой смерти...

Жуковский

Над озером, где можно утонуть,
вдоль по шоссе, где могут раскорёжить,
под небом реактивных выкрутас
я увидел в телеге тряской лошадь
и понял, в травоядное взгляды,
что это дело можно оттянуть.
Всё было, как в краю моем родном,
где пахнет сеном и собаки лают,
где пьют за Русь и ловят карасей,
где Клавы с Николаями гуляют,
где у меня полным-полно друзей.
Особенно я вспомнил об одном.

Неслыханный мороз стоял в Москве.
Мой друг был трезв, задумчив и с получки.
Он разделял купюры на две кучки.
Потом, подумав, брал с собою две.
Мы шли с ним в самый лучший ресторан,
куда нас недоверчиво впускали,
отыскивали лучший столик в зале,
и всякий сброд мгновенно прирастал.
К исходу пира тяжелел народ,
и только друг мой становился лёгок.
Тут выяснялось, что он дивный логик
и на себя всё объяснить берет.
Он поднимался в свой немалый рост
среди стука вилок, кухонной вонищи
и говорил: «Друзья, мы снова нищи

и это будет наш прощальный тост.
Так выпьем же за стройный ход планет,
за Пушкина, за русских и евреев
и сообщением порадуем лакеев
о том, что смерти не было и нет».

* *
 *

...в «Костре» работал. В этом тусклом месте,
вдали от гонки и передовиц,
я встретил сто, а может быть, и двести
прозрачных юношей, невзрачнейших девиц.
Простуженно протискиваясь в дверь,
они, не без нахального кокетства,
мне говорили: «Вот вам пара текстов».
Я в их глазах редактор был и зверь.
Прикрытые немыслимым рваньем,
они о тексте, как учил их Лотман,
судили как о чем-то очень плотном,
как о бетоне с арматурой в нем.
Всё это были рыбки на меху
бессмыслицы, помноженной на вялость,
но мне порою эту чепуху
и вправду напечатать удавалось.

Стоял мороз. В Таврическом саду
закат был желт и снег под ним был розов.
О чем они болтали на ходу,
подслушивал недремлющий Морозов,
тот самый, Павлик, сотворивший зло.
С фанерного портрета пионера
от холода оттрескалась фанера,
но было им тепло.

И время шло.
И подходило первое число.
И секретарь выписывал червонец.
И время шло, ни с кем не церемонясь,
и всех оно по кочкам разнесло.
Те в лагерном бараке чифируют,
те в Бронксе с тараканами воюют,
те в психбольнице кычат и кукуют,
и с обшлага сгоняют чертенят.

* * *

Мой самый лучший друг и полувраг
не прибирает никогда постели.
Ого! за разговором просидели
мы целый день. В окошке полумрак,
разъезд с работы, мартовская муть,
присутствие реки за два квартала,
и я уже хочу, чтоб что-нибудь
нас от беседы нашей оторвало,
но продолжаю говорить про долг,
про крест, но он уже далече.
Он, руки накрест, взял себя за плечи
и съёжился, как будто он продрог.
И этим совершенно женским жестом
он отвергает мой простой резон.
Как пронизательно заметил Гершензон:
«ущербное одноприродно с совершенством».

* * *

Покуда Мельпомена и Евтерпа
настраивали дудочки свои,
и дирижер выныривал, как нерпа,
из светлой оркестровой полыньи,

и дрейфовал на сцене, как на льдине,
пингином принаряженный солист,
и бегала старушка-капельдинер
с листовками, как старый нигилист,
улавливая ухом труляля,
я в то же время погружался взглядом
в мерцающую грудку хрусталя,
нависшую застывшим водопадом:
там умирал последний огонёк,
и я его спасти уже не мог.

На сцене барин корчил мужика,
тряслась кулиса, лампочка мигала,
и музыка, как будто мы — зека,
командовала нами, помыкала,
на сцене дама руки изломала,
она в ушах производила звон,
она производила в душах шмон
и острые предметы изымала.

Послы, министры, генералитет
застыли в ложах. Смолкли разговоры.

Буфетчица читала «Алитет
уходит в горы». Снег. Уходит в горы.
Салфетка. Глетчер. Мраморный буфет,
Хрусталь — фужеры. Снежные заторы.
И льдинами украшенных конфет
с медведями пред ней лежали горы.
Как я любил холодные просторы
пустых фойе в начале января,
когда ревет сопрано: «Я твоя!»,
и солнце гладит бархатные шторы.

Там, за окном, в Михайловском саду
лишь снегири в суворовских мундирах,

два льва при них гуляют в командирах
с нашлапкой снега — здесь и на задуг.
А дальше — заторошена Нева,
Карелия и Баренцева лужа,
откуда к нам приходит эта стужа,
что нашего основа естества.
Всё, как задумал медный наш творец, —
у нас чем холоднее, тем интимней,
когда растаял Ледяной дворец,
мы навсегда другой воздвигли — Зимний.

И все же, откровенно говоря,
от оперного мерного прибоя
мне кажется порою с перепоя —
нужны России теплые моря!

ПСКОВЩИНА

День, вечер, одеванье, раздеванье —
всё на виду.
Где назначались тайные свиданья —
в лесу? в саду?
Под кустиком в виду мышинной норки?
à la gitane?
В коляске, натянув на окна шторы?
но как же там?
Как многолюден этот край пустынный!
Укрылся — глядь,
в саду мужик гуляет с хворостиной,
на речке бабы заняты холстиной,
голубка дряхлая с утра торчит в гостинной,
не дремлет, ах!
О где найти пределы потаенны
на день? на ночь?
Где шпильки вынуть? скинуть панталоны?
где — юбку прочь?

Где не спугнёт размеренного счастья
внезапный стук
и хамская ухмылка соучастья
на рожах слуг?
Деревня, говоришь, уединенье?
Нет, брат, шалишь.
Не оттого ли чудное мгновенье
мгновенье лишь?

* * *

Читая Милоша

Нам звуки ночные давно невдомёк,
но вы замечали: всегда
в период упадка железных дорог
слышней по ночам поезда.
И вот он доносится издалека —
в подушку ль уйдешь от него.
Я книгу читал одного старика,
поляка читал одного.
Пустынный простор за окном повторял
описанный в книге простор,
и я незаметно себя потерял
в его рассуждении простом.
И вот он зачем-то уводит меня
в пещеры платоновой мрак,
где жирных животных при свете огня
рисует какой-то дурак.
И я до конца рассужденье прочел,
и выпустил книгу из рук,
и слышу — а поезд еще не прошел,
всё так же доносится стук.
А мне-то казалось, полночи никак
не меньше провел я в пути,

но даже еще не успел товарняк
сквозь наш полустанок пройти.
Я слышу, как рельсы гудят за рекой,
и шпалы, и моста настил,
и кто-то прижал мое горло рукой
и снова его отпустил.

Николай Росс

Врангель в Крыму

Впервые в отдельной монографии представлена внутренняя жизнь Крымского белого государства 1920 года, возглавлявшегося ген. Врангелем. Эта малоизвестная страница русской истории важна не только для историков, но и для каждого, кто хочет составить себе полную и объективную картину исторического развития России в начале XX века.

В книге приведены многочисленные документы из личного архива ген. Врангеля, в большинстве своем публикуемые впервые, а также редкие фотографии.

1982 16 илл., карта, 368 с. 32 н.м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M.-80

ВЫБОР ИСТОРИИ

История, случившаяся в день выборов

Будем писать, не печатая, может быть, придет благоспешное время.

*Евг. Боратынский — Ив. Киреевскому,
14 марта 1832 г.*

Сильней всего Ревякина поразил не порядок учета голосов, сам по себе остроумный и весьма необычный, но его явственное и несомненное сходство с игрою в лото. И действительно: «выборщики», в число которых он попал, исполняя общественное поручение, сидели рядком среди бездельно-роскошной прихोжей огромной библиотеки, каждый имея на руках списки своих подопечных граждан, в ожидании, покуда из другого вестибюля, где непосредственно и происходило таинство голосования, прибежит женщина с последними свежими данными и начнет громко их вслух объявлять (лотошники называют это «кричать»), выкликая: «63-й, 315-й, 568-й», — то есть зашифрованные для краткости цифрами такие-то обитатели околотка уже опустили свои бюллетени. Ведавший ими выборщик отмечал совпавшие номера в своем списке, а затем шел к большой сводной таблице, развешенной на стене, и ставил там в соответствующем квадрате андреевский крест. Счастливцев, зачеркнувший символы всех, кто вверен его попечению, мог свободно покинуть помещение и потом распоряжался чудесным весенним выходным днем по полному своему усмотрению.

Сравнение это впервые посетило его во время третьего или четвертого выкликанья, когда притащив-

шийся сюда ни свет ни заря полусонный Ревякин, раздосадованный отсутствием сознательности «его» людей, вовсе не торопившихся навещать участок, пропускал мимо ушей последние выигрышные номера — их числа уже давно и безнадежно миновали. Тогда-то он от скуки и принялся, с усильством напрягая разум, развивать лотошные параллели для собственной забавы как можно шире.

«215-й, 221-й, 225 открепился, 278, 378. Внимание, поправка: 66-й Медведев, проголосовавший по доверенности за Бессмертнову, объявлен недействительным в связи со смертью Бессмертной...»

— Придется Кошею приглядывать себе новую жену, — глумливо рассудил Ревякин и достроил наконец, хотя бы вчерне, общую схему игры, вызвав из воспоминаний глубокого детства картину того, как он возится под казавшимся громадным столом вместе с соседской девчонкой, неживой своей прелестью более походящей на куклу из «Дома игрушек», а поверх их мира, на той стороне крышки, мама с папой и два малознакомых гостя коротают досужный зимний вечер, балуясь бочонками. Правда, «бочонком» в узком смысле, «бочонком», так сказать, по преимуществу, звался у них тот, на котором был вырезан нуль; 11 ласково переобозначали они «спицами», 33, кажется, были «дамские колеса» — кстати, что-то неясно, отчего... Но идем далее: перевертыш 69 нарекался «туда-сюда», а 90, последняя цифра в игре, — «дедушкой».

Сама таблица как будто строилась из трех рядов с одинаковым числом пустых белых и заполненных цифрами клеток. Кричавший тащил вслепую из холстинного мешочка бочонки и внятно выговаривал номер, написанный на очередном выуженном. Их затем ставили нашедшие ту же цифру у себя в таблице на место сошедшихся чисел (если совпадало сразу у двух, то второй брал цветную фишку-заместительницу) — и ждали, покуда до конца наполнится одна из трех по-

лос. Но и тут была своя особенная хитрость: верхняя строчка считалась совсем пустяшной, выигрыш по ней давал всего лишь право даром взять следующую карту; зато средняя полная строчка приносила уже половину, а нижняя — всю кучу поставленных на кон копеек.

Разбавляя вынужденное безделье прихотливой витиеватостью воображения, Ревякин пустился тогда оценивать весь скудный запас своих возможных «выигрышей», примеряясь, к которому из рядов отнести чертову дюжину врученных его заботе избирателей.

Как всегда, повинаясь вкорененной еще ребяческим упрямством привычке, начал он, конечно, с последнего — с «дедушки». Дед этот, о чем его заранее еще предупредили при распределении территорий, был неприступно крепким орешком: служа диаконом в соседней арбатской церкви, голосовать он упорно отказывался, но притом, чтобы не подводить ответственных за его явку, аккуратно выправлял на время очередной кампании справку о болезни. Ревякин из чистого любопытства постучался к нему, однако не успел и двух-трех слов произнести, как лысый долгобородый хозяин угадал его намерения, замахал обеими руками сразу, поклонился в пояс и тотчас же затворил дверь.

Ревякина это немного обидело, как ни старался он отнестись к такому приему спокойно, с должною долей любомудрия; и тогда, словно отыгрываясь за неудачу, он решил повнимательней изучить небольшой паноптикум своего списка в лицо, смутно надеясь на какой-то призрачный барыш для души от общения с незнакомыми людьми. К сожалению, итоги обследования вышли довольно жалкие, и сейчас приходилось признаться, что все почти встреченные им запросто помещались разве что в верхний ряд мысленной таблицы; лишь один или два, да и то со скрипом, дотягивали до среднего, не говоря уж о нижнем, основном. К тому же практически все дома в переулках между

Арбатской площадью и улицей Маркса-Энгельса в скором времени подлежали выселению для капитального ремонта и последующей передачи под разные учреждения, а то и вовсе сносились, как квартал подле самого метро. Поэтому настроение у жителей было дорожное, никакой любовью к этим сердечным, в основе своей, для старого города местам не прикованное: люди здесь в вещественном и в духовном отношении, что называется, сидели на чемоданах.

В первую квартиру наставить Ревякина и показать методы работы привел бригадир их команды агитаторов, бойкий младший научный сотрудник из московских грузин, сочинявший вообще-то в рабочее время в соседнем секторе монографию о связи освободительных движений Латинской Америки с передовой философией современности. Он с ходу, не глядя на открывшего щеколду «ответственного квартиро-съемщика», влетел в темные сени и, сверкнув зубами в обширной улыбке, выпалил:

— Ну что, за советскую власть тут кого-нибудь агитировать надо?

— Да не, не нужно, — усмехнулся вышедший им навстречу в пижаме и тапочках на босу ногу мужчина.

— Вот и ладненько. Значит, так: через месяц в воскресенье будут выборы — как всегда, в помещении библиотеки, найдете там, где музыка громче играет. А расписание лекций в красном уголке вот он вам, — кивок в ревякинском направлении, — принесет или на стекло в парадном приклеит. Привет!..

Когда они уже вышли на двор и обходили черные лужи в длиннющей гулкой подворотне, бригадир спохватился и наказал впредь всегда под конец спрашивать — нет ли каких пожеланий или жалоб. Жалобы следовало заносить в особую книгу, заведенную на сей предмет в агитпункте, а потом по возможности пытаться либо самому учесть, либо передавать в ответственные за исполнение организации.

Перебирая свои встречи, Ревякин почему-то сейчас в первую очередь припомнил старуху, жившую как раз напротив окон книгохранилища. Будучи еще вовсе не немощной, она в одиночестве своем так страшно опустилась, что совершенно перестала следить за собой и от нее стало сильно и скверно пахнуть. Соседи тогда заколотили ей выход в общий с ними коридор, и она, благо квартира помещалась в полуподвальном этаже, начала лазать домой через окно. День прихода «мас-совика», насилу доискавшегося этого матриарха выделенной ему общины (замуровавшие вход коммунальные чистоплюи месяц уже как выехали, а более указать на отверстие в бабкину пещеру было и некому), оказался для невольной затворницы почти что праздником, указывавшим, что для чего-то и в ней еще имеется нужда.

В доме напротив он «ведал» идеальной семейною парой бездетных алкоголиков: эти муж с женою одинаково вдохновенно пили каждый день прямо с утра и сумели в таком нехитром занятии обрести полную незлобивость сердец, согласованность желаний и сродство душ до полного успокоения сознания. Они с радостью кивали, соглашаясь на все принесенные им Ревякиным новости, и жаловались только — как, впрочем, и все жильцы этого района — на действительно невыносимо худой водопровод.

Этажом выше их он наткнулся на потомка коренных москвичей, настоящего книгочеля-мастерового, сухощивого, с шапочкой прямых расчесанных волос ниже ушей и постоянно смахиваемой со лба кивком сивой челкой, — наверное, одного из последних, остававшихся еще в центре города. Болезненную молодость, создававшуюся контрастом между горевшими пунцовым румянцем щеками и ярко-белой сединой шевелюры, еще сильнее подчеркивала целая гирлянда медалей, звеневших на застиранной, образца военных лет гимнастерке со стоячим воротом, — и если б не

эти приметы, Ревякин ни за что не дал бы своему избирателю более сорока. Неожиданно для себя самого согласившись на предложение «отведать чайку», он разболокся у вешалки, откуда был проведен в высокую, доверху заставленную толстокожими томами гостиную и, взглядевшись в надписи на корешках, сообразил, что попал в гости к домашнему мистика. Так оно и оказалось на деле, потому что вскоре же из разговора выяснилось, что здешний жилец — инвалид, контуженный в китайской кампании; выздоравливая в госпитале на Дальнем Востоке, он вместе с навыками переплетного ремесла приобрел там кое-какие познания из области древних местных религий и по рекомендации ссыльнопоселенцев московского происхождения, вернувшись на родину, устроился надомным переплетчиком для замкнутого кружка любителей полузабытой ныне доктрины Штейнера — антропософии, продолжавшего, может статься, традиции кого-то вроде Минцловой, а того гляди и Андрея Белого. Сшивая «на прокол» и тисня бесконечные циклы и курсы «доктора», он, естественно, оставлял себе по экземпляру, втянулся в чтение и учение и собрал в результате прямо-таки жуткое количество этих зеленых одинакового размера — в лист для печатной машинки — самостройных книг, что, мерцая червонною фольгой позолоты заглавий, угрожающе ровными рядами обстали владельца комнаты со всех четырех сторон.

Когда-то, на первых еще курсах, Ревякин тоже интересовался штейнерианской системой, этим наукообразным заменителем древней обрядовой веры для образованного сословия; но, покопавшись недолго, он изучать ее бросил — не столько из-за противного языка, на котором всё это излагалось (в конце концов, запись и перевод вполне могли уничтожить живое обаяние речи), сколько от необъяснимой, охватывавшей его при одном виде тех текстов, тошноты: всякий раз ему делалось явственно физически гадко.

Переплетчик в беседе с ним, конечно, уловил кое-какие родные слова из обиходного жаргона своей гильдии — как-никак, в отличие от него Ревякин был тут профессионалом, если можно всерьез назвать профессионалом аспиранта-философа с университетским образованием, — и попытался «войти в контакт». Встретив вежливо-насмешливую неподатливость, какой обычно отвечают люди на всякого рода сектантские заигрывания, задним числом заставляя упрямых приверженцев их еще крепче замыкаться среди своих, он как-то вдруг забеспокоился и через несколько словесных ходов сделал заметную паузу в лившейся до того беспрепятственно возвышенной речи. Это дало его собеседнику давно чаемую возможность вскочить и начать откланиваться, да и давно уж пора было — от пустого чаю живот его принялся все громче урчать вслух.

Деливший с переплетчиком апартаменты человек, как сообщил ему на прощание хозяин, был «полумертвой душой», так как захватил себе комнату явочным порядком, переселившись откуда-то из скудно-метражной многосемейной квартиры. На звонок он не откликался, опасаясь милиции, общения ни с кем не имел и вообще-то не так уж был нужен — проще выходило пометить его половину как необитаемую.

Вот, за исключением двух или трех совсем уже маловоплощенных граждан, и весь ревякинский народец. Да, в него затесалась еще крепкая девица на коротких, расставленных с наклоном в стороны ножках, отчаянно напоминавшая собою тумбочку; выспросив пришедшего о цели его появления, она игриво заявила, что является экстрасенсом и пригласила испытать свои чары на опыте, отгадывая любые события из наступающего на нас будущего. Ревякин про себя ухмыльнулся, подумав, что исход предстоящих выборов он и без всякой «экстры» может заранее предсказать, но впрямую такой открытой ереси выска-

зять не решился, а только лишь, нарочно переврав, переспросил, прикинувшись простаком: «Как-как это вы говорите — экстра секс?» В ответ на невинное замечание неожиданно хлынула целая лавина брани и угроз с обещаниями доложить начальству, а также и «куда следует» о хамском поведении врывающихся в квартиры активистов. Впридачу было также заявлено, что никакое голосование в той его части, какая относилась непосредственно до девицы, не состоится до тех пор, покуда не будет полностью вычищено водоснабжение «от пищеблока и до сортира».

Ошарашенный внезапною переменой отношения, Ревякин выскочил вон и, пока заряд ответного возмущения не разрядился по мелочам, не откладывая отправился на избирательный пункт звонить в соответствующую контору, ведавшую здешним участком водопровода. Видимо, только благодаря этой счастливой злобе ему и удалось мимо промежуточных начальствующих чинов соединиться непосредственно с тем товарищем, который вплотную работал с трубами. Тот спокойно выслушал взвинченное изложение претензий трудящихся, а потом возразил с безмятежным добродушием, что причин кипятиться, как электрочайник, нет совершенно никаких, что канализация где-то там в первозданных глубинах земли давным-давно вся «сгнила на хрен» и чинить на ней можно разве что старые дырки. Затем он чрезвычайно убедительно и, нужно признать, кратко объяснил, срезая долгие грамматические ходы стремительными непристойностями, что легче все то свернувшееся рулём хозяйство сломать в известном непечатном направлении — что, кстати, и делается уже, — чем исправлять эту «фигову прорву, сто стрючков ей в шапку». Ревякин еще поинтересовался для очистки совести, давно ли жалуются люди и нельзя ли было как-то раньше к общему удовлетворению разобраться, — и узнал незамедлительно, что обижаются «и кажинные выборы, и

промежду них», и что всякий раз объясняли и обещали подлатать либо на худой конец выселить; однако конец действительно худей не сыщешь — улучшить что-либо, как уже ранее было доказано, невозможно, а переезжать из-под Кремля и новоарбатского гастронома куда-то в 666-й микрорайон, бывшую деревню Подушкино, где почвы для гастрономии не имеется и существование «страшной моей жопы», никто до времени не желает.

Произведя должный эффект на слушателя, ремонтёр в свою очередь полубопытался, что это за новый необкатанный агитатор появился в лесу и что случилось с его предшественником (он перешел с повышением в более ответственную общественную сферу), а также — какова профессия у свежеприбывшего. «О, опять фило-ософ! — обрадовался он, оценив ответ, и посоветовал на прощание. — Тогда это ж ведь ваша прямая обязанность и есть — разъяснять народу, почему бытие наше прям-таки разлюли-малина прекрасное, когда жизнь наяву чем далее, тем загадочнее делается».

Ревякин вдоволь с ним насмеялся и не только перестал на сегодня злиться, но и вообще бросил расстраивать себя, пеняя на выпавшую горькую долю агитатора. Сначала-то он, правда, немало кручинился, что, стараясь освободить время для основной работы, выбрал дополнительную нагрузку, казавшуюся кратковременной и легкой, а на поверку вышедшую крайне хлопотливой да вдобавок еще нервической. Но сейчас, внимательно обдумав слова веселого дядьки из канализации, понял, что легче всего справляться с трудными обстоятельствами, искренне руководствуясь отпущенной этим водяным духом — и никогда ранее не слышанной — народной мудростью о том, что «ленивого фиг замучаешь» (он, конечно, применил в оригинале более мощное уподобление).

Но, как бы то ни было, все равно никого в нижний выигрышный ряд прибрать не удавалось, и Ревякин вынужден был заключить, что изучал население соседнего со своим академическим институтом философии старинного района пожалуй что зря, во всяком случае без ощутимой пользы для внутреннего опыта.

С треском проиграв самому себе мысленную партию, оставалось теперь разве или постараться как-то исхитриться добрать недоспанное ночью, задремав в неглубоком кресле без спинки, или вновь просматривать захваченную на скучный случай книжку про начало века. Собственно, это было ее точное название, и следовало бы даже в уме проставлять по крутым бокам его кавычки — «Начало века», второй том воспоминаний Андрея Белого, источник, так сказать, грядущей или уже почти нагрянувшей ревякинской диссертации, ласково сокращаемой аспирантами в «диссер» (самому ее автору это, однако, неизменно приводило на память тот «бисер» из древней заповеди, который оборачивает гнев свиней на мечущего).

Душа жаждала сновидений, но дух еще вяло сопротивлялся, и потому стоило лишь ему на первой же разогнутой наугад странице натолкнуться на слово «Велиал», обозначававшее одно из имен сатаны, как рассудок мигом перегруппировал его в «вельми ал», после чего принялся беспокоить вопросами о том, значит ли это «зело красив» или, скорее, «чересчур красен». Затеplился вялый нутряной спор, и чтение все-таки приостановилось.

Вскоре склонявшемуся ко сну Ревякину это осточертелo, и он стал вполуха подслушиваться к разговорам соседей, по большей части пустомельем коротавших праздные часы ожидания. Но тут интересно было более всего не содержание, ничего по сути своей не содержавшее, а ловко опутывавшая пустоту лукавая форма, что у всякого разбора людей непременно

особенная, — вот он и старался по тону и слогу их произвести сей самый разбор.

Прямо перед ним какой-то белобрысый великанище мальчишечьим голоском нудил делового покроя главноначальствующую над выборщиками даму просьбою отпустить его пораньше, а она в ответ, не задумываясь ни на мгновение, безошибочно моральным голосом отчитывала его: «Ведь вы все, в общем-то, взрослые уже люди, и не мне вам объяснять важность и ответственность мероприятия! Даже стыдно как-то уговаривать великовозрастного мужчину, что...» — и так далее.

С левого боку дюжий джинсовый парень потчевал того же сорта джинсов обильную барышню будоражащими зависть баснями про то, как в прошлом месяце ему довелось выполнять специальное задание в составе особого оперотряда по наведению порядка в новооткрытом к Олимпиаде полуночном ресторане-дансинге где-то на Севастопольском проспекте. Они должны были просиживать там от семи вечера до двух ночи под видом обычных завсегдатаев, под рукою наблюдая за соблюдением благочиния в поведении обоего пола посетителей, причем все время имели право даром распивать пепси-колу за счет заведения, и к тому же на работе за это полагались двойные отгулы.

Одесную три ширококостных мужика вели бесполезно-жаркий спор о стоимости продаваемых из-под полы втридорога изданий из серий «Литературные памятники», «Жизнь замечательных людей» и «Пламенные революционеры», при этом один даже довольно забавно отстаивал правоту своих оценок перед товарищами: «Ну чего вы мне тычете, что они сколько там раз выходили — разве ж в том дело? Вы понимаете или нет, что значит — открытый свободный рынок?!» — «А ты больно хорошо понимаешь..» — «Я-то? Я?? Да я, ежели хотите знать, с двенадцати лет

пацаном еще, с седьмого класса билеты в «Иллюзион» и КДС менял и променивал — а они меня учить взялись, очки-кружочки, тю на вас!»

Его перекрыли два резких голоса, шедших сзади, откуда-то почти изнутри ревякинской головы.

— Нету никаких русских. Нету вообще. Наврали вам всё, нема их, ни одного нема!

— Да как же так? Ну, погляди вокруг. Вот, этот например.

— Ну?

— Да, что-то не очень того. Или вон те?

— Ну??

— Тоже какие-то не такие. Так, может... Ну нет, ведь бывают же, вспомнить хоть...

— Кого?

— Чёрт — и не припомнишь сейчас...

— Вот я тебе и говорю: нету. Все другие есть, а этих — нет ни хрена уже ни одного!

Молнией в мраморную стену влетела бутылка, миг спустя раздался хрустящий хлопок, и пролившееся вино встречной волной выхлестнуло наружу, потекло по канавкам между квадратных плит, когда-то, как гласит предание, облицовывавших фасады храма Христа Спасителя. Самый большой осколок от донышка, зазвенев пронзительно, покатился по полу; на нем видна была посреди крупная продавленная не то буква, не то цифирь.

— И не было их никогда, заруби это себе на носу. Не было русских. И не будет к чертям собачьим. Не будет!!!

Тут только наконец Ревякин очнулся от кошмара полусоннок.

Последний из разговоров, естественно, попросту почудился ему в то редкое и малоисследованное еще время перехода от бодрствования к глубокому забытию, которое аскеты первых веков называли «тонким сном». Ревякину судьба подарила счастливую и вместе

с тем настораживающую способность видеть иногда в подобные минуты совершенно незнакомые ему местности, людей, города, страны и события, слышать необычные речи и даже — хотя это могло быть и неверным приватным заблуждением, взлелеянным одиночеством горделивого чудачливого ума, — предвидеть несбывшееся и провидеть прошлое.

Столкнувшись уже в зрелом возрасте с описаниями сходных особенностей психики в книгах разных веков и народов, он как-то увлекся и постарался выяснить всю подноготную этой своей склонности, но оказалось, что единственным, до чего распространилось здесь вездесущее человеческое любопытство во всеоружии несметного скопища изобретенных нарочно на тот конец хитрых приборов, было утверждение о несомненном существовании на протяжении столетий у некоторых людей такого маленького художественно-визионерского дара — вот и всё. Вернувшись по очередному кольцу познания туда, откуда вышел, начинающий философ стоически удовлетворился знанием о наличии у себя неясной, но зачастую весьма любопытной добавки к пяти штатным чувствам и на том свое изучение до поры должен был прекратить.

Еще не полностью высвободившись из морока, Ревякин поднялся, хрустнув затекшею коленкой, потянулся и сейчас же почувствовал всю кожей под шершавыми брюками, как исполосовал его тело в косую линейку безалаберно изготовленный стул, вдавливавшийся в предназначенные природой для отдыха части острым гофрированным из чистого кокетства полем своего сиденья. Тут он крикнул с досады, незаметно почесался, лишь раздражив этим подымавшийся зуд, и заковылял в буфет выпить пива.

Пройдя квадратный внутренний дворик, он вошел в помещение прямо перед алтарем голосовательного процесса — стоявшею в убранной кумачом нише парой урн. Вокруг вовсю гремела радиомузыка, колыхались

корзины казенных гвоздик и калл, а лентою окаймлявшие проход регистраторы алчно провожали глазами всякого вновь пришедшего в залу. Ревякин был им знаком и потому бесполезен; на него и внимания не обратили, да и он, признаться, мало обрадовался посещению — осмотрев буфетную стойку, он с крайним неудовольствием обнаружил, что пиво избиратели уже всё выбрали и из отряда «напитков» в наличии оставался один только мандариновый сок какой-то прямо-таки безнравственной после последнего подорожания сверхстоимости. Чертыхнувшись, обиженный обладатель собственной жажды покрутился еще немного около бутербродов, но, так ничего и не взяв, повернул наконец вспять.

На возвратном пути он заглянул в свежие списки и зачеркнул в общей таблице несколько новых клеток. Всего проголосовали шестеро из девяти своих и половина чужаков — правда, всё никак не появлялся наиболее опасный персонаж, кого он, подсознательно избегая скверного подлинного имени, называл про себя «херувимчиком».

Севши осторожно бочком обратно в пыточное кресло, Ревякин попытался было возобновить листанье книги, но взгляд опять легко перескочил с нее на выложенный из гранитной крошки пол. Некоторое время он тупо разглядывал его, размышляя о том, сколько же на одном этом разнесчастном квадратном метре действительности разнообразных предметов для исследования: и фигуры разные, образуемые сочетаниями камешков, и микроскопические катышки земли, и долгий девичий волос, и даже копейка, лежавшая решкою вверх, отчего проходившие если и замечали ее, то, повинувшись примете, гнушались подобрать, а рядом еще и чей-то неаккуратный плевок в виде листа подорожника, прилепившийся поверх обрывка бумаги. Год, — рассудил про себя Ревякин, — как минимум можно было бы засаженному в тюрьму вниматель-

ному невольнику изучать этот ничтожный отрезок пола и не скучать, уж не говоря о том, что нашел бы на нем истинный ученый или праведник вроде Франциска Ассизского, который всякий клочок писаного текста подбирал — хотя и не слишком прилежал чтению, — основательно полагая, что из оказавшихся на нем букв может составиться имя Божие.

Вдоволь назанимавшись приисканием заботы для заключенного, ревякинская мысль вернулась к тем пяти упрямам, из-за которых сам он полудобровольно «сел» в библиотеку и не мог никуда уйти, полностью завися от их благо- либо злорасположения. Беда тут еще состояла в том, что он не мог выйти караулить их или, тем более, сходить подогнуть на дому, потому что, во-первых, боялся встречи с «херувимчиком», а во-вторых, адресов и лиц тех двух чужих и вовсе не знал, так как из-за малочисленности его собственной паствы, происшедшей от приключившегося в канун торжества выборов массового исхода одного из домов как раз в то треклятое Подушкино, она резко сократилась до девяти человек, и бригадир, чтобы не обижать остальных, подкинул ему довесок от чьей-то переполненной стаи.

Вспомнив об этом выселении, Ревякин неожиданно почувствовал в прошлом некое доброе тепло. Он стал вглядываться пристальнее в воспоминания о недавно минувшем и наконец ему почудилось, что, совершенно невзначай, наружу высунулся хвостик золотой жилы и нужно тотчас же, не откладывая, рискнуть поставить всю ее на кон в незавершенной партии: чем бес не шутит, а вдруг действительно именно этот дом с мертвыми душами каким-то неизъяснимым ходом судеб и есть его главный выигрыш, который заполнит без остатка нижнюю основную строку и принесет весь банк?

Перед мысленным взором снова возникла картина того, как промозглым мартовским вечером впервые

притащился он в обреченный его опеке, до странности холодный и сумрачный трехэтажный домище, выстроенный каре посреди Воздвиженки задолго перед тем, как лет двадцать назад ее бросили в подножье нового проспекта, прочерченного дальше немилосердной линейкою с циркулем известного рода мастера-архитектора наперерез всех древних арбатских переулков и поразившего самое сердце их — легендарную Собачью площадку.

Подъезд был заперт. Невозможно долго проискав черный ход — он обнаружился в темной части арки, куда нужно еще было заворачивать со двора, — Ревякин и войдя в него, никак не мог достучаться в необходимые ему номера, совершенно абстрактно разбросанные по четырем крыльям выглядевшего бесконечным здания. Когда он уж и вовсе потерял надежду чего-либо добиться и двигался в недоумении прочь, неожиданно не замеченная ранее низенькая дверь в подземелье издала гулкий кашель, проскрипела по ржавому снегу и, добрых четверть часа после ревякинских выкриканий «хоть кого-то живого здесь», приоткрылась.

Он поспешил внутрь и был встречен небольшим татаринном-дворником, вид и язык которого, впрочем, были вполне русскими, а татарство оказывалось скорее профессиональным. Кряхтя и дуясь до красноты, хозяин увязывал невыносимо пыльные тюки с барахлом широченными ремнями и складывал их тут же посреди своего жилища.

— Уезжаем отсюда на новую квартиру-колотиру, — сообщил он и добавил еще несколько слов, заботливо снабдив каждое аukaющейсa генитальной рифмой. — Открепляй нас со своего участка да и дело с концом.

— А другие? — осведомился пришедший.

— Другие-то и подавно все съехали. Ломают дом, и жалеть особенно нечего, разве вон полк тараканий

да водяные краны, что почитай полжизни отняли, траханный продукт: чем боле латаешь и конопатишь их, тем пуше, вишь, обижаются и текут потоком из уральника через ванну прямо под койку.

Ревякин кивнул и стал прощаться.

— Не в чем нам тебя, паря, прощать, ступай се спокойно, — ответил дворник, но в прихожей они еще немного задержались, обходя громадный резной комод и невольно разглядывая его прихотливо изогнутые коленцами ручки.

— Ваша работа? — почтительно удивился чужак.

— Жди, как же, будут тебе теперь так стараться! Это допрежняя небыль, еще с прошлого времени, — с уважением к неведомому мастеру отозвался его собеседник и погладил отделку пальцами. — Да вот куды ее девать, ума не приложу: там в новом-то доме толки такие, что сам токо успевай от люстры голову отворачивать, а эту многоэтажную бандуру туда разве боком класть.

Злая собственническая мысль купить добро по дешевке кольнула Ревякина под сердце, но, слава Богу, вовремя вспомнилось, что находясь «при исполнении» лучше с этим не связываться.

А на завтра он, освободив день от других забот, нарочно заявился с утречка — проверить, не ошибся ли накануне, не подвели ли его доверчивость, хитроумная темнота или лукавый жилец. За отысканным при ясном свете парадным начиналась выщербленная до дыр лестница, по бокам которой коридоры первого этажа были снаружи напрочь заколочены волосатыми досками. На втором же Ревякин запросто проник в покинутую, когда-то, должно быть, роскошную комнату с остатками майоликовой печки-модерн и абсолютно чисто, до последней мелочи вывезенным убранством. Празднуня бесповоротную оголенность пространства мертвого дома, в воздухе танцевал поднятый с полу шустрыми сквозняками летучий прах.

Через проломы в перегородке, с помощью которых вальняный номер превратился некогда, скорее всего еще в двадцатые годы, в череду клетушек-коммуналок, Ревякин пробрался и в другие оставленные помещения, не столь дотошно очищенные постояльцами или теми специальными любителями выморочных домов московского центра, что во множестве завелись в последнее время в нашем городе.

Вскоре же он столкнулся с одним из них — лысоватым долговязым старателем, вооруженным полной экипировкой подсобного инструментария, включая даже воткнутый за пояс топорик с резиновой ручкой, придававший ему небывалый, почти опереточный вид. Разговорившись после первого взаимного разглядывания (оно чем-то напомнило Ревякину обоюдное обнюхивание встретившихся на дворе собак), он узнал, что это инженер-архитектор, коллекционирующий старую «скобянку» — медные замки, печные бронзовые заглушки, оконные шпингалеты забытых систем, фигурные крючки и тому подобные добротные хозяйственные мелочи, чудом занесенные к нам из ушедших культур. Половину найденного он брал, конечно, себе, но другую бескорыстно дарил в небольшие музей-квартиры.

Исполняя самозванную должность последнего душеприказчика дома, пристрастившийся ходить сюда Ревякин наряду с такими же квалифицированными знатоками натывался тут позже и на забеглых солдат, распивавших в уклонном углу косуху портвейнского, и на старьевщиков-инородцев, выносивших брошенную за негодностью, но хотя бы одною ногой не хромавшую мебель, и на совсем заскорузлых бродяг, выуживавших из вонючих куч барахла всякий утиль в надежде разжиться несчастной похмельной копеечкой.

Как-то, навещая один из бесконечных закутов здания, по колено набитый вырванными страницами, пачками счетов и прочей канцелярской требухой —

наверное, раньше в нем помещалось домоуправление — Ревякин сделался участником забавной театральной сценки с продолжением и эпилогом. В углу комнаты над перевернутым столом трудился оборванный грехо-мыга из тех, какие роются по уличным помойкам, никого уже не боясь и не стесняясь; несомненно услышав, что кто-то вошел, он даже не дал себе заботы обернуться. Но стоило Ревякину из любопытства придвинуться поближе, как насмешнице-фортуне заблагорассудилось бросить подметное приключение: из-под заклиненного до поры ящика вдруг со сказочным звоном высыпался небольшой клад крупных, матово блестящих монет. Оба, и бродяга и аспирант, моментально, не задумываясь, бросились к куче — соперник, однако, поспел раньше, а Ревякин, немного остынув от первого жгучего приступа азарта, посовестился вступать с ним в пререкания и только попросил показать: какого рода деньги. Если старые, так все равно ведь тебе не нужны, и давай лучше я их прямо тут же куплю, — пообещал он.

Счастливец-добытчик в ответ на это производил отрицательное мычание, рыча на манер охраняющего найденную кость Полкана. Собрав все кругляшки до единого, он двинулся на выход и тогда уже волея-неволей — дверной проем был за ревякинской спиной — оказался вынужден предъявить образец: юбилейный рублевик выпуска прошлого десятилетия; должно быть, дюжину-другую их кто-то забыл, или они зава-лились, в щели казенного бюро. Испытав вторичное разочарование, Ревякин окончательно успокоился и лишь улыбался впоследствии, припоминая, насколько силен вышел мгновенный подсознательный порыв к открывшемуся невзначай «сокровищу». Совершенно обратное произошло с его обладателем: долго после еще попадался он навстречу в переходах дома с провисшим чуть ли не до земли заплечным рюкзаком; шальная находка не на шутку разбредила расслаб-

ленное сознание злою надеждой, и бедняга не успокоился до тех пор, покуда не выгреб из той комнаты все предметы до последнего листика. И, конечно, потрудился вотще, чего и следовало ожидать, — фортуна, как известно, не выносит систематического преследования и терпеть не может повторений.

Самого же Ревякина приучила ходить сюда отнюдь не страсть к денежным кладам или коллекционерское радение о копеечной рухляди. Еще с начального посещения выезжавшего прочь дворника он подспудно почувствовал в невещественной атмосфере покинутого места нечто душевно себе близкое, привораживающее. Всегда отличаясь прилежной дотошностью в изучении «источников», наш философ доподлинно справился в путеводителях и старых адресных книгах и восстановил в общих чертах историческую судьбу всего этого квартала между улицей Янышева, бывшим Крестовоздвиженским переулком, и древней Арбатской площадью.

Год спустя здесь уже почти ничего из виденного им не осталось: строения были в одну неделю до основания снесены, даже выкорчеваны с корнем при рытье колоссального котлована для фундамента нового корпуса военного ведомства, выросшего потом через несколько месяцев как на дрожжах. И вот, как оказалось, Ревякину посчастливилось быть прощальным свидетелем кончины тех стен, в которых танцевал в 1831 году новожен Пушкин, жили Чайковский, Рахманинов, знаменитый когда-то архитектор Константин Быковский, бывали Римский-Корсаков, Бородин, и так далее. Но более всех знаменитых теней все-таки привлекало его именно это невзрачное выморочное здание бывших меблированных комнат «Америка», появившееся в конце минувшего века и ополовиненное на исходе нашего, — соблазнив тем, что сохранило пусть едва живой, но все же подлинный дух эпохи, которая

была для сердца его сейчас, пожалуй, во многом дороже нынешней.

Причина подобной страсти состояла в том, что, хотя диссертация Ревякина полностью называлась как-то вроде «Крах попыток построения универсальной философии символизма в России кон. XIX — нач. XX вв.», что в основном относилось к публицистической деятельности Андрея Белого, взвалившего на себя неудобь носимую ношу «платформировать», как он сам выражался, новое художественное мировоззрение, возникшее у нас на рубеже столетий, — Ревякин страстно верил в своего героя, любил и поклонялся праху этого «Краха». Когда его порой в полуночные споры припирали к стене доказательством того или иного очевидного неизлечимого и врожденного порока «серебряного века», который взял на себя ответственность повернуть течение духовного роста вспять — от золотого обратно к каменному, — он нехотя соглашался, но тут же снова, загоревшись, пускался окольным путем к той же цели, уверяя, что только перед гибелью дерево цветет самым пышным, самым ярким и незабываемым своим цветом, — и разве не достаточно нам даже отражения, чудного отблеска его, мерцающего в уголках глаз на портретах свидетелей, как некая невысказываемая, повязывающая всех их тайна?..

Над страницами злосчастливого «Начала века» Ревякин однажды в одиночестве плакал сухой слезой — той, когда все потребное потрясение в человеческом существе, означающее плач, происходит положенным чередом, но только слезы отчего-то не льются, — плакал, когда представил наяву описанный там для примера день автора в 1905 году: ему тогда было столько же лет, сколько его современному истолкователю — ровных две дюжины.

Ранним утром, выглянув в отходящий от Арбата влево Денежный переулок, встречал он соседа Сергея

Соловьева или спешившего к ним в гости Рачинского, начинались потехи живого и отвлеченного мифотворчества, посреди которых появлялся пришедший дворами Гершензон, увлекая всех на улицу, да не простую, а ту, где в квартале напротив квартировал Бальмонт, пробегал в студенческой тужурке Борис Зайцев, катил мимо, строя дикие рожи, отмеченный врожденным тиком лохматый Бердяев... К полудню все это отправлялось в собрание на лекцию непременно о «новейших течениях», незаметно перераставшую в обильный горячими питиями и прениями обед, после которого предпринималась гигиеническая прогулка за город на могилы отцов — за три версты к Новодевичьему монастырю. Ближе к вечеру юноши — и всякий из них неопустительно «автор» — совокуплялись на чьей-то мансарде для взаимных чтений и отчаянного довыяснения позиций, запивавшегося калинкинским пивом. Около трех пополудни пиво иссякало, и в погоне за ним идейные разговоры перемещались неподалеку — через площадь в извозничью чайную. Под утро составлялись и манифесты, а авторы их, всё еще полные сил, разлетались в стороны для частных сердечных затей. И пусть не весьма они были порою до конца благоприличными — тем не менее казались как будто легко дымчатыми, не совсем настоящими и несколько уж не скабрзными. Было такое впечатление, что все эти люди эпохи рождения века чуть ли не вживе ходили в обрамлении томных виньеток, еле прочерченных безотрывной кудрявою линией, покрывавших бумажные обложки «Скорпиона», «Альционы» или «Золотого руна». Возвратившись к исходному часу и обсудив насвежо случившееся накануне, они заканчивали сутки толками о несовершенстве общественного строя и о путях его скорейшего изменения, будучи чем-то в том мире еще слегка недовольны: вот тут-то Ревякину и сделалось до того отчаянно обидно и завидно целою радугой всех цветов зависти, от инфра-

красной до ультрафиолетовой, что он чуть не пустил слезу — да и пустил бы, если б имел.

В доме на Воздвиженке, как ему чудилось, был слышен тот же легчайший, тронутый сладким тлением аромат первых весен столетия, который оставался в душе и после всех переполненных заочным сведением счетов, искривленных заемной доктриной фантазмов стареющего Белого, путавших мысли и речь его при воображении воспоминаний, но все же неспособных вконец вытравить из них страшного сожаления о непоправимо прошедшем.

Приходя теперь в это безжалостно обреченное здание, Ревякину достаточно было остановиться перед какой-нибудь случайно забытою вещью — хотя бы из того невеликого разряда, что чудачливый инженер собирал из почтения к каким-то там техническим хитростям, — и при разглядывании ее немного отвлечься, как из подобного пустяка перед ним с магической убедительностью появлялся тот погибший космос как бы лицом к лицу. Начать с того, что невероятно скрупулезно выворотившие и прихватившие за собою всякую мельчайшую дрянь коммунальные жильцы забыли здесь этот единственный, наверное, действительно ценный предмет; каждый день по сту раз держа и держа во всех направлениях, они на самом деле его не видели, просто не замечали в упор. А до чего же он был складен: тонкая бронзированная рамка обнимала извитую не только изысканно-скромным, но еще и идеально удобным образом ручку, как влитая вмещавшую ладонь и будто приглашавшую войти, плавно отворяя дверь по первому же движению желанья; нарочная крышечка в форме геральдического щита прикрывала прихотливую скважину для ключа, и даже горделивая марка хозяина скобяного дела «П. Н. Сушкинъ», окруженная барочным картушем, — всё до боли явно складывалось в живую тень той культуры, до боли же навсегда и утраченной.

Ревякин искренне считал, что это без сомнения было самое уютное во всей русской истории время, период совпадения людей и вещей во взаимной, немного чувственной привязанности друг к другу, пора трогательного согласия между всеми насельниками пространств удобного обжитого творения. И чем большее счастье испытывал он от общения с полумертвыми осколками этой эпохи, тем глубже распахивалась она перед умственным зрением, тем сильнее вызывала ответное желание любить и обожать — куда серьезней, чем он мог бы обожить реального человека.

Потому-то любезному своему сердцу десятилетию и средоточию его символизму во главе с вдохновенным оракулом прощалось многое в нравственном мире, чего Ревякин не спустил бы никому из близких, не говоря уже о противниках. За рамками оценок оставалось даже ошеломляющее непредвзятого наблюдателя невозмутимое продолжение публикованья нескончаемой (и так в итоге и не завершенной) эпопеи с кошмарным наименованием «Я», со спокойной душою печатавшейся Белым в «Записках мечтателей» 1921-го года — года смерти Блока и казни Гумилева, как бы ни относиться к их сочинениям (Ревякин относился чем далее, тем отрицательней), голода в Поволжье, послужившего предлогом для церковного погрома с многотысячными бессудными ссылками русского духовенства и арестом самого Патриарха Тихона, опять же, с какой бы стороны на них ни глядеть (к историческому облику христианства своей родины Ревякин, напротив, чувствовал все большую сродность, будучи когда-то еще в школьные годы удивлен тем встречным отзвуком, какой рождается в душе, если впервые внимательно произнести слово «православие»), и многого другого.

Некоторые вещи, впрочем, задевали в конце концов и его, но прежде чем хоть в чем-нибудь осудить,

он старался семижды семь раз взвесить — для того, кстати, и захватил с собою сегодня хорошо в общем-то изученную книжку мемуаров, чтобы, выбрав по именному указателю упоминания о Павле Флоренском, понять не только то, почему Белый позволил себе в тридцать третьем году задеть поневоле безответного заключенного (дело уже само по себе дикое для людей предыдущих времен), но главное: в чем корень действительно глубочайшей, онтологической неприязни его к этому, казалось бы, часто столь близкому по духу философу.

Однако глаза никак не хотели ложиться в плоский печатный текст, и, размечтавшись вновь, он принялся, подобно Плюшкину, перебирать в мысленной кладовой свои счастливые находки на Воздвиженке.

Постепенно втянувшись в увлекательные поиски и приобретая начальные, наиболее необходимые навыки нового ремесла «доброискателя», Ревякин стал носить с собою в широких карманах плотной куртки батареичный фонарик, отвертку с молотком и даже складной остро наточенный нож с крепкой стальной ножкой, научился распознавать положение скрытых стеновых шкафов-тайников и крышек подполья, ходов по черным лестницам, в подвалы и на чердаки. Господи, и чего он там не находил, любопытного пусть и по малости, но во многом привлекательного для живого ума своей легко домысливаемой судьбой, да в немалой степени еще и тем, что доставалось все это в общем-то даром, нужно лишь было сообразить, где искать, и уметь увидеть лукаво сощуренные глаза сокровища под замызганным чепцом чумазой Золушки. Тут были и добротной работы золоченые рамы из-под вождей, безжалостно наклеенных поверх холста доморощенного пейзажиста, и брошенные беспутными наследниками неизвестного архитектора папки гравюр с разрезами зданий Ренессанса, и целая мраморная плита от какого-то стола, и феерический набор давленных —

то есть с выдавленными гербами и узорами, а не разбитых — квадратных водочных склянок штофов, полуштофов, шкаликов и так далее, и помянутые уже не раз дверные ручки, от ампирных до неоклассических, и неисчислимое множество иных занимательных вещей.

Чего стоили, например, одни пачки старых журналов и газет, глядевшие пугающим анахронизмом уже не то что со сталинских, а и с хрущевских-то времен! Часто попадались и старые открытки, в связках, рассыпями и просто враздробь прищипленные к стенам, с забавными текстами вроде того умильного поздравления (он захватил его, конечно, на память), которое послал господин Сребраков в волостное правление Сеноедово (Свиноедово) для передачи с нарочным мальчишкою в деревню Каковку ко дню рождения племянника своего Петрованушки Золотова...

Битый час копотливо прочесав на коленях зауголья выпотрошенного коридора, Ревякин по листочку собрал расшвырянную двухсотстраничную книжку некоего Иоанна Наумовича под названием «Четыре путевода добраго жизни: страх Божий, мудрость, трезвость, труд» с диковинным примечанием — «переложено с галицко-русского наречия» и засунутой под переплет обложки визитной карточкой Андрея Сергеевича Лаврентьева, сообщавшей, что сей господин с 8 октября 1912 года служит старшим конторщиком в Русском для внешней торговли Банке. Об этих ползучих усилиях Ревякин впоследствии не пожалел: месяц спустя разыскивая в Исторической библиотеке для переписки единственный недостающий лист, он попутно раскопал для себя целый эпос, трагическую историю никогда ему ранее не известной Красной, иначе Карпатской Руси, на века придавленной внешним владычеством католиков и скрытым высасываньем соков со стороны иноверных арендаторов-откупщиков, но, тем не менее, выжившей именно благодаря борьбе за

воссоединение с отечеством. Одним из славнейших деятелей этого движения и был «открытый» им отец Иоанн, высланный за то в конце жизни из Австро-Венгрии в Россию, отравленный здесь ротшильдовским посланцем и похороненный в Киеве прямо на Аскольдовой могиле.

Раззадоренный зудливою жаждой новых находок, Ревякин стал лазать и в подпол, откуда, однако, многожды перемаравшись, сумел извлечь лишь моток разномастных ручной вязки кружев да здоровенное кузнецовское блюдо без всякой росписи — целое, но протертое чуть ли не до дыр елозившими по нему добрых сто лет ножами и вилками. Притом он уже по привычке к неаккуратным обстоятельствам поисков, притерпелся к неудобствам, грязи и почти совсем перестал замечать частую густую вонь с неизбежными для пустых домов экскрементами. Напротив, не забывая своего главного призвания, он старался полученные наблюдения философически обобщать, постоянно дивясь тому, какие груды пакостного мусора оставляет после себя человек на земле. Мысль эта с особенною остротой поразила его как-то раз в одном цокольном помещении, почти до потолка набитом стоптанными башмаками, когда при виде подобного кожевенного Вавилона Ревякин испытал определенно первозданный, ничем не остановимый ужас, посильнее даже того, какой мучит новичка, впервые пришедшего на кладбище.

Наоборот, решительной симпатией его пользовался верхний, третий, наиболее приличный этаж, у которого, правда, дверь на правую сторону была крепко заперта и не поддавалась, — но зато слева причудливо расположенная вереница залов после слома загромождавших ее в течение полувека переборок выдавала руку изобретательного архитектора и вкус его заказчика-жильца, по всей вероятности, инженерного или профессорского звания, с достатком и умением рас-

поряжаться им: два дара, как заключил после сопоставления их Ревякин, все чаще не находящие соответствия между собою.

Пробродил он здесь почти бездоходно в смысле вещественных приобретений, потому что в последние дни постоянно был занят хлопотливой душевной распрей, стараясь подавить с каждым часом сильнее подымавшуюся из недр сознания крепкую ненависть к тем пока не до конца названным «им», кто весь этот мир угораздился немилосердно разрушить. В ходе таких сокровенных споров он однажды, переварив мысленную и зрительную пищу, пришел к весьма знаменательному заключению, трезвостью которого был целиком обязан побочному действию выборов. «А почему, — спросил себя тогда его возмущенный внутренний человек, — взъелись они в девятом году на пронизательнейшего культурного втирушу Гершензона за то рассуждение в «Вехах», где он утверждал, что не мечтать нужно интеллигенции в тогдашнем ее состоянии о слиянии с народом в союз против властей предержащих, — а напротив, благословлять эту власть, которая одна своими штыками ограждала еще их от ярости нижестоящих. Разве не прошло и десяти лет, как он оказался прямо-таки дьявольски прав?!»

Решив с этой благоприобретенной точки зрения рассмотреть снова получше свой дом-воспоминание, Ревякин углубился было с головою в новое мысленное путешествие, но его резко прервал очередной приход женщины-выкликалы, принесшей следующие «выигрыши». Из остававшихся пяти истязателей, похищавших его драгоценнейшее свободное время, явились еще трое; таким образом, теперь недоставало лишь двоих, однако, по игривой подлости судьбы, оба были самые что ни на есть неудобные — один неизвестный, другой неприятный.

От досады Ревякин принялся со злым пристрастием вглядываться в физиономию «кричавшей»: покон-

чив со списками, она стала, далеко выпятив вперед губы, трубно надсаживаться, вызывая слинявшего куда-то все-таки нерадивого выборщика-переростка. Черты внешнего облика этой заместительницы Парок казались, пожалуй, изумительно хороши, но только тогда, когда она неподвижно находилась лицом к лицу против наблюдателя. Стоило же обманчивой фигуре ее обратиться хотя бы немного боком, как тотчас обнаруживалась некая фатальная недовоплощенность — в отличие от фронтальной плоскости, форма головы и всего тела была совершенно недоработанной, как будто импрессионистическая живописность первого плана полностью поглотила усилия торопившегося на пир Зевеса, плюнувшего в сердцах на доводку объема.

Мимо проследовали двое ревякинских коллег, и он явственно услышал насмешливое замечание, брошенное одним из них товарищу: «Вон Петька-то Ревякин все сидит да думает, а мы уже голоснули!» Обиженный невниманием случая, дразнившего весь порывистый состав его неясностью срока оставшегося ожидания, Ревякин с откровенной завистью точил недобрым оком спины удалявшихся, куда более многочисленная команда которых успела отметиться, отпустив их на волю, и, несколько поторапливая натуру, тужился и в них найти следы корявой недоделанности, того, что раньше назвали бы знаменем близкого конца старого мироздания, увяданием красоты венца его — человека.

Совершив лукавую логическую подмену, течение рассуждений соскочило затем на кокетливую строчку поэта-акмеиста, приглашавшего слово вернуться в музыку, а богиню красоты обратно развоплотиться. «Останься пеной, Афродита», — произнес он про себя, и тут стремление образов в сознании приняло направление, с каждым мигом становившееся все острее неприличным: ведь, повинясь общему обычаю своего

поколения, Ревякин тоже поверял человеческую красоту в основном по представительницам чужой половины, долженствовавшей, по его мнению, воочию являть образ прелести — пусть даже и той, какая имеет вторым значением одержание темными влечениями вплоть до безумства.

Он припомнил, как вчера приятель пересказывал с прибаутками просмотренное неподалеку, в электро-театре «Художественный» (Ревякин научился столь архаически именовать его, когда в ходе исторических разысканий попутно выяснил, что это обшарпанное строение в полной противности со своим нынешним обликом является подлинным памятником архитектуры эпохи модерн, созданным самим главою ее в России академиком Шехтелем) — переложение толстовской повести о правдоискателе Сергии тезоименным ему современным режиссером. Сцена падения отшельника от страсти блуда представлена была там вот в каком любопытном порядке: сначала показывали разоблачающуюся бесстыдницу, потом соловые глаза героя, которого играл, конечно, сам постановщик, и сразу вслед за тем — громадные просторы волнующегося моря, шумящие рощи дремучих лесов, колышющиеся бескрайние поля под дождем; а перед самым уже концом, когда «все готово» — девица отдыхает лежа в подцензурном неглиже, а протагонист торопливо одевается и бегом грядет вон с сумою на батог. Ревякин с другом, поняв один второго с полуслова, легко развили это художество, применив его к действительности и представив с немалою долей изобретательности, что было бы, если б и взаправду все в жизни происходило «как в кино». Они вообразили, какого рода чувства вызывал бы у всякого взрослого человека вид водной глади, бескрайних пространств лугов и гор, неба и вообще всех первичных стихий. Доводя систему мысли эзоповского киношника до логического завершения, они в итоге получили

принцип такой тотальной похоти, возникающей в подобных условиях у наблюдающего, например, нашу планету из космоса астронавта, какая и наиболее затейливому развратнику вряд ли снилась, — и наконец искренне подивились тому, что за фрейдовская похабень скрывалась под маскою скромных умолчаний, занавесившись пейзажными заставками.

Сейчас картина этого соблазна сама собою принялась разворачиваться в ревякинском мозгу против воли своего единственного зрителя и снова достигла степени обманчиво-живой реальности, похожей на давешний полусон об «отрицании» русского бытия.

Лишь в наиболее уязвимом месте, у переправы через поток сознания на сторону бесконечной скверности, удалось ему выхватить у разудалого поганства приотпущенные вожжи рассудка и очнуться. Оскорбленный донельзя стремительным нападением закруживших голову видений, Ревякин по горячему следу пустился назад искать отравительный возбудитель, чуть не погрузивший его дух в полное безобразие. Перелистав все последовательные мысленные ходы в обратном порядке, он дошел до появления «кликуши» и тут-то и обнаружил его, вынув из памяти, словно торжествующий дантист вонючий миллиметровый корешок нерва, сотрясавшего страданиями несоизмеримое, но бессильное против него могучее тело.

Имя у него было, как и у всех такого рода обезьяначающих высокие понятия явлений, слегка обкорнанным спереди и приправленным взамен на конце насмешливым суффиксом названием второго из девяти чинов бесплотной небесной иерархии — мудрых херувимов.

...Всего с неделю назад Ревякин, надеявшийся, что хоть накануне уничтожения вторая половина верхнего этажа, пребывавшая заключенной, будет все-таки распечатана, да так и не дождавшийся ее самораскрытия, решил несколько подтолкнуть события, отва-

жившись на не совсем легальный поступок. Ловко орудуя отверткой, он в полминуты сумел отомкнуть замок и проник, как первооткрыватель — или первограбитель — в не тронутую до него никаким старателем гробницу современных Тутанхамонов.

Оттуда не успело еще уйти нагретое за век тепло: Ревякин заметил, что в отличие от других помещений здесь не видно идущего изо рта пара. Квартира была до того цела, что внутри даже горело не отключенное электричество, и шкафчики, расставленные по углам петляющего общего коридора, матово отсвечивали гранено-травлеными стеклами своих створок, будто и в самом деле не выпороженные начисто отъезжантами, а сохранившие сполна все свои блестящие хрупкие сокровища.

Ожидая книжной поживы, он, впрочем, накинудся в первую очередь на распахнутый окованный железом сундук, стоявший в завороте перед кухней, и стал торопливо перебирать сваленную туда печатную рухлядь. Попадалась, однако, только научная фантастика да военные приключения с оттрепанными углами корок.

На столике в прихожей вдруг, агонизируя, зазвонил телефон. Набравшись молодечества, Ревякин поднял коленчатую трубку и совсем уже хотел заявить туда, что абонент переселился в Тушино-Воровское или Чертаново-на-Кулишках, — но в ответ без спроса сразу же потекли гудки. Он тем не менее ничуть не огорчился, а вспомнил, как кто-то рассказывал (немного, конечно, преувеличивая), что из таких не вырубленных по забывчивости районного узла аппаратов в покинутых домах проказники иногда заказывают Париж и говорят за бугор — покуда не догадаются прервать слухачи на коммутаторе — разные такие лихие штуки, а также в точности не стесняясь то, что они кое о ком думают.

Предвкушая теплую дружественную встречу со старинной посудой, Ревякин триумфально вступил в обширнейшую кухню, которая, наподобие состарившейся блудницы, десятилетиями удовлетворяла телесные жажды сменявшихся поколений жильцов, а нынче, на склоне дней, никому не нужная и немилосердно ограбленная, была брошена погибать от голода на произвол судьбы. И тут он неожиданно, как медведь, всем крестцом и спиной услышал идущий сзади взгляд, почуяв со страхом, что за плечами кто-то тихо сгрудился, навис и угрожающе стережет каждое его движение.

Медленно повернувшись, он очутился нос к носу со здоровенной носатой старухой, выпучивши от великого ужаса глаза раздувавшейся пузырем в неописуемой ярости. Будто злая и одновременно трусливая дворняжка, она мигом отскочила на пару шагов, откинулась всем корпусом назад, выставив вперед правую ногу в низком сапоге, и заблажила:

— Яйца! Яйца! Яйца!!!

Ревякин сначала опешил от этих слов — он уж ожидал услышать что-нибудь вроде «караул» или, например, «режут», — но потом, не удержавшись, рассмеялся, представив всю сценку со стороны: в пятистах метрах от Боровицких ворот застыл посреди огромного покинутого здания мужичище в телогрейке с отверстым ножом и отверткой в руках, а разъяренная от боязни бабка, стоя напротив, в голос требует у него кой-чего. Между тем, ободренная его невоинственным поведением, старушенция поторопилась развить свою мысль:

— Оборву! Отрежу! Выдерну вон!!

Неудачливый грабитель уже сообразил, что перед ним неуловимая и неумытная гражданка Юдифь Соломоновна Рувимчик, последняя упорно не покидавшая тонуций дом жиличка, запершись существовавшая в неведомом его углу и портившая загадочностью

своего полубытия избирательную отчетность. В ЖЭКе рассказывали, что она появлялась у них время от времени перед самым закрытием и ни за что не соглашалась выбрать квартиру в новом районе, утверждая (видимо, не вовсе праздно), что водопровод там небось еще почище тутошнего и она «этого уже не переживет». Под таким предлогом Рувимчик требовала (Ревякину постоянно хотелось сказать в противоположном роде: Рувимчик-де «требовал») переезда поближе — на проспект Калинина или уж во всяком случае не далее Кропоткинской улицы.

— Не успеешь-таки выйти на часик за сельдью, — заходилась теперь в обиде сия Юдифь, искавшая отсечь у своего Олоферна, спасибо, хоть и не голову, но часть, безусловно, бесполезную в мужском обиходе; и, приготовившись в черед красочных причитаний поведать вслух всю эпическую историю ее сегодняшнего дня, она повторила зачин:

— За сельдью!..

Рувимчик воздела согнутый вдвое перст в потолочное небо, как будто и вправду наиболее обличавшим подлость захватчика было вторжение в момент ритуального шествия на добычу этого подводного жителя, имя которого вдруг, отделившись от носимого смысла, показалось Ревякину звучащим довольно-таки дико.

— А они, урвать им бейцем, всё лезут и лезут и лезут и лезут и лезут!!!

Ревякин попробовал было извиниться как можно спокойнее, что только лишь раззадорило его противницу. Увидав, что «налетчик, вор и убийца» не так уж и грозен, она кинулась к выходу и затарахтела язычищем, сопровождая ругательства грохотом заклинившего замка — с ним ее все еще трепетавшие от едва пережитого испуга руки никак не умели справиться:

— В милицию! В прокуратуру! На Лубянку! Там, тебе, голубец, яйца-то удалят! Яйца уж все-таки вон!

Подивившись, чего это они дались ей до такой крутой степени, Ревякин тихо наблюдал, как Соломонова дочь добрых пять минут муржила и все никак не могла отпереть собственную дверь. Наконец ему надоело, он бережно потеснил бестолковую хозяйку вбок, мигом при помощи отвертки отодвинул язычок механизма и, выскочив наружу, споро двинулся по лестнице вниз, торопясь исчезнуть, пока старая дурьнда не ославила его перед каким-нибудь нечаянным свидетелем.

А сверху все неслось:

— Прочь, прочь яйца! Долой!!! — и он игриво подумал, что это был бы совсем недурной лозунг для гневной кампании протеста типа «Яйца прочь от свободолобивого Ревякина!» или чего-либо еще в том же роде.

Потому-то сейчас и невозможно было выйти встречать или тем паче искать нерадивую вражину, справедливо опасаясь ее ядометного, наточенного за тяжкими кухонными битвами жальца.

Но вот все же через раз выкликала назвала и ее номер; приползла-таки, ржавокурвая бестия, — зло ругнулся про себя Ревякин. На пути к освобождению у него оставался теперь только один какой-то неизвестный подкидыш без имени и без лица под номером 69.

Из подспудных пропастей сознания вновь начала тем временем подыматься, клубясь, тяжкая обида на всех «них» — не приходящих и пришедших, чтобы разрушить. Прячась от нее в обжитой уютный мираж, Ревякин почти насильно заставил себя вновь пуститься в прощальное умозрительное путешествие по «своему» дому. Осторожно ступая по покрытым известковою пылью ступеням, — в южном углу здания принялась уже за работу доморушка, угрюмый механизм для слома строений в виде крана с подвешенной на стреле чугуною «бабой», — он наскоро обследовал

нижние этажи и поспешил наверх. Там, в заповедном доселе заветном зале ему удалось выбить плечом заранее выбранную неплотно заколоченную дверь в дворовый, остававшийся еще неизученным аппендикс — обломок, так сказать, крыла, и хоть немного, но найти что-то новое.

Сначала он натолкнулся на брошенную картину, на которой какой-то любитель масляными красками запечатлел зеленую мальчишескую головку — запечатлел, как будто заранее рассчитывая на ревякинскую привычку никогда не оставлять бесприютными случайно увиденные покинутые изображения лиц или подписи живых, не газетных имен и фамилий. Он и тут не стал бороться с прирожденной страстью стараться сохранить все, что относится к — пусть чужой и незнакомой, — но неповторимой уже человеческой личности, в данном случае буквально лицу, и, подхватив неуклюжий холст под мышку, побрел далее.

Во второй от «портретной» комнате он налетел на больно зацепившее душу зрелище груды искалеченных детсадовских игрушек; столько он не в силах был спасти и, отпрянув как ошпаренный, с испорченным надолго настроением плотно прикрыл дверную створку, мысленно простившись со всеми ними, как со взаправдашним сонмом дорогих покойников.

Взбежав по скрипучей приставной стремянке еще одним уровнем выше, он оказался в погибающем чердаке. Мухи, древесные жучки и прочая насекомая нечисть, учуяв грядущее разрушение, покинули его; даже паутина почти не встречалась. Забираясь в своих поисках все глубже, Ревякин набрел на выселенный киот для иконы-пядницы — то есть вмещавший образ размером в распыленную «пядь», протяжение меж большого и указательного перстов, растянутых по плоскости; стекло было треснутым, икону, конечно, вытащили, но он снова не смог удержаться и его тоже подобрал, торопясь спасти хотя бы личину от лика.

Каким-то таинственным маневром ему удалось доплутаться в итоге среди полутьмы до того, что он потерял направление, откуда пришел. Проискав выход немалое время и начиная в недрах души немного пугаться, Ревякин засек потом вдали косое оконце, проливавшее внутрь чердака свет. Подбежав к нему по поперечной балке — ходить тут можно было только по связям перекрытия, а пространство между ними густо засыпалось разной трухой, — он высадил в нетерпении непокорное стекло с заржавевшей накрепко неподатливой рамой; оставив вещи внизу в надежде вернуться за ними сверху рукою, подскочил, подтянулся, перекувырнулся через голову в воздухе и вылез все-таки на крышу.

Там его встретил вид, заставивший тотчас же позабыть оставленную позади рухлядную поклажу: взамен двух павильонов метро «Арбатская» он воочию узрел две стоявшие тут прежде церкви — Борисоглебскую и вторую, во имя Тихона Амафунтского, находившуюся точно на месте нынешней китайчатой беседки старой станции — той, линию которой в первом подземельном восторге копали вручную открытым способом. Дальше, вправо за площадью, не было никакого зубоврачебного проспекта — «вставных челюстей Москвы», как прозвали их одесситы; все так же неторопливо тянулась туда Большая Молчановка, терявшаяся в лабиринте укромных переулков. Во все стороны расстилалось покойное море невысоких домов с покатыми кровлями, скрепленных повсюду примиряющими горизонт с вертикалью, землю и небо крестами, венчавшими бесчисленные купола и шпицы колоколен.

Словом, Ревякин вдруг наяву очутился именно там, где хотел бы прожить всю свою жизнь, от начала и навсегда.

Вне себя от накатившего даром везения, сбежал он по постепенно понижающимся крышам на двор и, не

вспомнив про неподобающий, замаранный всякою чуланною дрянью наряд, выскочил прямо на Знаменку. Расталкивая невозмутимо сторонившихся юнkerов, споро текущих к Александровскому училищу, и вовсе не заботясь о том, что среди них, кроме юного Куприна, должно быть множество достойнейших героев будущих сражений, он первым делом, не убедившись еще окончательно в полной вещественности происшедшей перемены, бросился к Пречистенскому бульвару проверить — есть ли там знаменитый андреевский Гоголь, замененный полвека спустя неуклюжим бодрым новоделом, настолько по общему убеждению скверным, что, как рассказывал Ревякину искренний приятель его создателя, тому самому на старости лет сделалось стыдно за собственное художество и он строчит теперь одно за другим письма с просьбами убрать его с глаз долой, прочь от позора потомков.

Гоголя, однако, не было вообще никакого. Его установили лишь в девятьсот девятом, и Ревякин по этой примете, прибавив к ней множество других, мелких, но ему-то понятных с одного взгляда признаков, вычислил, что время, в которое его чудесно угораздило залететь, — тут он, значительно преувеличивая свои достоинства, решил про себя, что случилось так в награду за трудолюбивое и упрямое прилежание души, — было где-то около пятого года или уж совсем незадолго перед ним.

Но не успел он задаться размышлениями о способе скрыто высчитать дату точнее, как ёкнуло в груди, перевернувшись, сердце — в глубине аллейки показался... Хмельная нервная сыпь просквозила по коже; не ощущая тела доподлинно настоящим, как будто оно застревало в вязкой водянистой среде, разлитой вокруг вместо воздуха, отчаянно медленно Ревякин пустился вдогон, вопия в такт тяжелым шагам:

— Андрей! Андрей!..

И почти уже собрался он что было мочи завопить вслед за тем нечто вроде «Белович», когда, приметив, что никто на крик не оборачивается, сообразил, сколь нелепо окликать человека в жизни его литературным псевдонимом.

— Борис Николаевич! — наконец-то верно адресовался он, и неожиданно преследуемый, стремившийся куда-то вбок к Садовым улицам в сопровождении двух облаченных в демократические пиджачки спутников, застыл как вкопанный.

Запыхавшийся от изнурительной гонки Ревякин подъехал к нему на всех парах и сходу, вместо того, чтоб представиться, невпопад пролепетал пожелание доброго здоровья. На его счастье, собеседник — также, видимо, чем-то серьезно взволнованный — не обратил на эту маленькую бестактность внимания и, сухо кивнув, стал поторапливать:

— Скорей, милостивый государь, ну скорей же!

— Чего, то есть, — не сразу сообразил Ревякин, — значит скорее?

— Да не смущайтесь, добрая душа, я конечно узнал вас: это ведь вы непременно помещаетесь крайним слева в первом ряду на всех моих лекциях! Да-да, и я уж успел не только разгадать, но и полюбить вас, искренне, — заверил его знакомый незнакомец и тотчас же снова понудил следовать за собою.

— Куда? Отчего? За что? — притворно упирался Ревякин, в душе давно решившийся сопровождать учителя не только до края света, но, когда потребуется, и по ту сторону этой черты в самое преисподнюю.

— Да что же вы, неужели не слышите музыки судьбы, неужто астральное «я» ваше глухо к вырывающемуся из вечных недр пламени основной интуиции русской истории?!

— Э-э-э...

— История культуры, в периоде борьбы с буржуазным государством, — говоривший принял возвы-

шенную, лишь немного смягченную походными условиями позу, — есть история развития форм производства. Государство — склероз, отложение прошлого, созданное, чтоб насиловать будущее!

— Не понял... последнего не понял, — протянул застигнутый врасплох такого рода рассуждениями Ревякин, одновременно прислушиваясь со страхом к зарождавшимся в уголках сознания испугу, стыду и тоске.

— Ну как же, дружок: единственное учение о государстве, последовательно развертывающее посылки, — это социализм, но коли он государственен — значит, механистичен он. Урегулирование экономических отношений — взлет жизни из праха.

— Да-да-да-да-да, — забубнил хор его спутников. А выступавший продолжил свое соло:

— Человечество пойдет на бой!

(Тут у Ревякина по спине прошла волна сырого пота: он реально представил себе бойню, подобную смердящим падалью цехам мясокомбината Микояна на Волгоградском проспекте, — но только не животную, а людскую...)

— Символическая драма — проповедь роковой развязки... Мы призываем всех под знамя борьбы... Мы должны восстать... и струны лиры натянуть на лук тетивой... Не должна ли взорваться вся наша жизнь? Взорваться — средство не погибнуть! На чёрный горизонт жизни выходит что-то большое, красное!!!

Из-за плеча «феоретика» выдвинулся большеголовый тип, с телом не толще бараньей кости и овечьими же глазками, — как будто Ревякин где-то уже встречал его — и проблеял:

— Мы, юди наюки, дожны вйожить чайсть в йайзуштейнойе бйожение масс под йуководством юдей ойганизации.

— Вы кто? — недоразумел Ревякин.

— Мы — юди ж наюки! — обиженно повторил сей овцебык и, сочтя краткое самоопределение исчерпывающим, представил по имени третьего их товарища, полностью профильного персонажа, имевшего вид какого-то отсырелого трупа:

— Лев Львович Кобылинский.

Тот махнул челкою вверх вместо поклона и протянул в воздух пояснительное: «Эллис!».

Ревякину показалось, что здесь как раз складывается удачный момент, неповторимая возможность выяснить у самих авторов вопрос о том, чем именно была вызвана эта их настойчивая тяга переменять родовые фамилии в нечто бесполое англазированное, но Эллис не дал даже рта раскрыть и защелкал словами:

— Милостивый государь мой! Нет нужды далее задерживаться по пустякам: идемте быстрее с нами к милейшей, очаровательнейшей Маргарите Кирилловне госпоже Морозовой — тут совсем рядом, Смоленский бульвар угол Глазовского. Поначалу там будет — чисто формально, конечно, — обсуждение нашего с Борею сборника «Свободная совесть», а после, только среди своих, ожидается, что товарищи бундисты проведут полемику с товарищами социал-демократами меньшевиками! Мы берем вас с собою везде и гарантируем дружественный приём...

— Как так: у миллионши — эсдеки?!

— Что же, дружок, и я возненавидел капитализм как режим не менее вашего, — заверил Борис Николаевич, — и тем лютее, чем более мне лично нравится представительница этого режима, в нем неповинная, в нем оказавшаяся вследствие несчастного замужества. Мы отделяем режим от людей!

— Помилуйте, она спасется — революционизируя все условия жизни! — закричал рассерженный недоверчивыми возражениями Эллис.

— Что-то не то, — решил про себя уязвленный

резким напором всей этой боевитости Ревякин, а между тем она продолжала возрастать.

— Мы, аргонавты, тарарахнем в десятилетие упадка, в бледнеющие окна буржуазного общества, расколом стекла приниженных юнкерских особняков. Надгробные памятники — старому Арбату — всему!!!

— В новой культуре и новом быте искусство — наиболее мощный рычаг, которого формулы отекаются в будущем...

(Здесь Ревякин поперхнулся осторожно выдавливаемым опровержением, пораженный обратной силой пророчества.)

— Диапазон наших исканий широк, чрезмерно широк. Действительность оказывается символом, символ — действительностью. Риккертьянцы, когеньяцы, да и сам перводвижитель Кант — не сильны, устарели... Лишь аргонавтизм — (Конец пропетой сплошным форте фразы Ревякин пропустил, потому что сознание его снова навестила немая ехидность: «арго», сообразил он, есть корень не только для аргонавтов, но и для «жаргона»).

— Нет, я вижу, что наш новый дйуг койеблется, — заметил спутник-гугнивец.

— Да не сомневайтесь ничуть, батюшка, все мы тоже революционеры, воистину! Коли не верите на слово — что ж, тогда мы приоткроем на миг потаённые горизонты. Слушайте: ночью после морозовского раута всем нам предстоит — кстати, и вам в том числе, ежели пожелаете, — приватный визит ко Кларе Борисовне Розенберг. Сегодня эсэр Леонид Семенов организует из аргонавтов давно подготавливаемую боевую десятку!..

— Будут Череванин, Громан, Пигит. Да и сама Розенберг — преинтересная дама; у ней встречаются профессора и бомбисты, а ее собственная симпатия прямо лежит к наиболее экстремальному.

— Вооружимся! — с восторгом громогласно подтвердил безымянный «третий».

— Аргонавтическая десятка! Христос Воскресе! Мировая революция! — орал не судом и расхोлившийся Кобылинский, а «третий» вновь вмешался и, приложив палец к протонченному профилю, треснул басом:

— Надо захватить в руки городской водопровод!..

Это было уже совершенно чересчур — последняя капля горечи, которую пришлось Ревякину испить из чаши отравленного желчью нектара, и первая, потянувшая всё поглощенное содержимое ее обратно наружу; напоминание о водопроводе как будто прободало в небе забвения брешь, откуда потопом хлынуло жаждавшее возвращения будущее. Схватившись обеими руками за голову, Ревякин бросился прочь по Знаменке, да так скоро, что дома по сторонам проносились со свистом, сливаясь очертаниями почти до неразличимости.

Первое отрезвление начало приходить только в том самом Ваганьковском переулке, что, дважды изогнувшись, соединял его институт, помещавшийся в старинной голицынской усадьбе за чугунными воротами на Волхонке, с библиотекой, стоявшей на углу Моховой. Имя свое переулок напрямую производил от вагантов — царских шутов, ваганивших — забавлявших двор в часы черной тоски; и вот в нем-то Ревякин и догадался мимоходом проверить, в какой же все-таки состоит теперь действительности — в той девятьсот пятой или опять в бывшей своей, где петрушечное название было уже переименовано на улицу Маркса-Энгельса. Чиркнув взглядом по очередной адресной вывеске, он снова должен был вздрогнуть, хотя и поприрек за сегодня к самым чрезвычайным превращениям; по-видимому, реальность здесь была переходная и явно не без признаков неизжитого гаерства — надпись гласила «Переулица Хармса-Энгельса».

Окончательно Ревякин очнулся лишь на жестком полосатом кресле в прихожей голосовального ряда, когда сиделица из вешалки, словно ушатом студеной воды окатив, крикнула ему, размножившись кривым эхом по гулким залам строения, что пора все-таки и честь знать, собирать манатки да подаваться вон, а ежели кое-кому непутевому негде шататься ночью, то лучше для этого дела нет места, чем привокзальный буфет. Ревякин подскочил, уронив книгу с колен, быстро наклонился поймать ее, и тут все у него в глазах, перевернувшись, позеленело, а затем пошло скакать внутри головы бело-красными звездочками. Едва оклемавшись, он поспешил к лотошной доске: так и есть, все давно проголосовали, и один последний крестик в его графе был вроде бы только что поставлен — черная линия фломастера, каким его перечеркнули, еще не высохла, мазалась.

Внезапно краем зрения он увидал при дверях затылок удаляющейся фигуры и кинулся за нею следом, решив, что это и был тот неведомый выборщик, с которым ему отчего-то до смерти захотелось поговорить. Рывок оказался настолько силен, что лишь благодаря счастливой случайности ему удалось не разбить зеркала — в рассеянии чувств он чуть было не въехал в него всем лицом.

Тетка сзади, заметив, ахнула и выматюкалась, а Ревякин вдруг улыбнулся, сообразивши, что то, что он пытался догнать, было прощальным приветом уходящего чуда — ведь не мог же он, в самом деле, видеть впереди себя отражение собственной спины. Раздвинув циклопическую створку выхода, Ревякин выбрел наконец из избирательного участка на свежий воздух и, не оглядываясь более назад на шутовской квартал, направился в сторону Кремля.

1982

Рассказ получен из России. Никакими сведениями об авторе редакция не располагает.

СТИХИ

ЗАМЫСЕЛ СЦЕНАРИЯ

Не хроника, а огневой фонтан нелепостей. Не безупречный план причин и следствий — громохвосты рока, трясущиеся руки суеты. Сняты запреты, сорваны бинты. Вот — встретились, вот — перешли на ты. Конечно, героиня одинока. Жара. Дорога. Азия. Мосты. Осенний лес. Багряные кусты. На заднем плане — грозная эпоха, где все смешалось. Резкий поворот: эпоха выдвигается вперед, и через пустоши чертополоха — движение серое суровых рот. Что это все: война? переворот? мятеж? разгром?

Пока — не так уж плохо. Настало лето. Липа зацвела. Широкий двор. Топор. Хомут. Пила. Еще не все на свете поломалось.

Текст за экраном: «Так за день намаюсь, бывает, что и думать не могу. И только зайцы красные в мозгу все прыгают. Сей факт необъясним, но непременно — красные, и зайцы. Мне все равно. Я так устал бояться...»

Где наш герой? Что происходит с ним?

Тут кадры начинают повторяться — вот встретились, вот перешли на ты. Жара. Дорога. Азия. Мосты.

Вдруг — лазарет. Кровати. Кровь. Бинты. Сюжет уже становится банальным. Мы договором связаны кабальным с реальностью. Наш выбор — невелик, немного вариантов и исходов...

И неожиданно — весенний блик. День. Толчея подземных переходов. Москва. Примерно — шестьдесят второй. И что нам — героиня, что — герой?! Напомним зрителю — он вне событий. Обрывки фраз: «А я ей — извините!»... «Да хоть и завтра»... «Он у них зампред»... «Шесть двадцать — штука»...

Снова — лазарет. Тяжелое мерцанье потолка. Стон. Громкий шепот. Неотступный бред. Как будто чья-то грозная рука решительно вернула нас на место.

За кадром голос: «Замесили тесто — давайте, выпекайте пироги. Решайте, кто друзья вам, кто враги. Расставьте точки. Сделайте акценты. Довольно брать у жизни под проценты ее неистощимый капитал. Наметьте контур, обозначьте центры...»

Контора. Стук машинки «Рейнметалл». Она! Губа закушена. Приметы — иного времени. Ей тяжело. Ноябрь. Дожди. (Мрачней! Поменьше света!) Унылый вид сквозь мутное стекло.

Итак, герой погиб, а героиня еще живет с закушенной губой. Мы делаем усилие над собой, мы знаем — все пройдет, и это минет, а наше дело — развивать сюжет. Но что поделать, если больше нет ни мужества, ни дерзости, ни знания?

Еще разок окинем взором зданья, в ноябрьскую взглянемся полутьму.

И кончим этим кадром морозящим, ненужным, ничего не говорящим ни сердцу, ни инстинкту, ни уму...

1978

* * *

И вновь наступят Средние Века,
И рухнет Рим, и разжиреет ворон,
И выжившие станут привыкать
Смирять гордыню и молиться хором.
В безликой массе, в темной глубине
Таиться будет лишь одна идея.
И снова кто-то возомнит, что нет
Ни эллина, ни иудея.

1979

ВЕСНА. ПРОВИНЦИЯ

Весна. Провинция. Десятый час утра.
Автобус тряский весь пропах бензином.
Мешки, портфели, сумочки, корзины.
И в этом мире невообразимом
Сегодня тихо. Дождь прошел вчера.

Земля, размокшая от дождевой воды.
След гусениц на непролазной грязи...
Какие порошки, какие мази
Забыть помогут это безобразье,
Какие размышленья и труды?

1975

В ЧУЖОМ ДОМЕ

Там ставни хлопали и стекла дребезжали.
Там яблоки зеленые лежали,
Мерцали их упругие бока.
И боковым, всесознающим зреньем
Чужая жизнь глядела с подозреньем
На то, как мы валяли дурака.

Как сон принцессы, повара и замка,
Был этот дом и завершен и замкнут,
И каждого предмета естество
Отказывало нашему вниманью
А их готовность к сосуществованью
Казалась оскорбительней всего.

Все в сущности — законы тяготенья,
Процессы растворенья и горенья —
Осуществлялись здесь иным путем.
Кровать белела с девственным испугом,

И вся была на час к твоим услугам,
Чтобы навек забыть тебя потом.

Лежала книга в скверном переплете,
И находила выход в анекдоте
Растерянность, сквозившая во мне.
Шло время. Пальцы скатерть теребили.
А нас не знали здесь и не любили,
И не давали быть наедине.

И эта заторможенность сюжета
Была подобна принесенью жертвы
Душой и плотью, хлебом и вином.
И взгляд, отталкиваясь от чужого,
Бродил и останавливался снова
На кружке, перевернутой вверх дном.

А ты, как укротитель на арене,
Спокойно приручала светотени
Неправильно устроенного дня,
И совмещала с явью законной
И напряжение встречи незаконной,
И мир вещей, и время, и меня.

1977

* * *

Теснятся слова, будто тени в аду, —
Обтерлась с души позолота.
Не быть мне с мелодией в полном ладу —
Всегда опоздать на полсчета.

Банально безумье безвольных баллад,
Где плачут без меры и дышат не в лад.

Батальный герой — оловянный солдат —
Желает участвовать в деле.
Под бой барабана, под пушечный гром
Скрипит летописец чугунным пером.
Посмотрим назад — и себя не поймем:
Неужто мы так постарели?

Бессвязные мысли в бессвязных стихах
Бессильны — как прах и бессмертны — как прах.
Без цели и без толку и впопыхах
Зазря мы с тобой постарели.
Как овцы — под звуки свирели.

Заемной свободой, сияньем чужим
Усилю родное мерцанье.
Теперь я — за четкость, за ровный нажим,
За точное правописание.

А пахнет — уныньем и грязным ведром,
Горящим пером да свинячьим добром,
Прокишею брагой да черным двором —
Чем пахнут разбой и разор и разгром.

Печальной сентенцией пахнет — о том,
Что мы от судьбы не уйдем.

А кроме того — пахнет ранней зимой,
Морозом и снегом, дорогой домой,
Кофейными зернами, чистым столом...
Безумной надеждой: а вдруг — перелом?!

1980

* * *

Она сказала: в жизни есть длинноты, но если положить ее на ноты и оркестрантам уплатить вперед..., короче — две-три крупные банкноты — и можно жить, не чувствуя длиннот.

Но смысл и голос жили в ней отдельно, и смысл хитрил, а голос неподдельно взывал ко мне: пожалуйста, молю, не надо так жестоко и бесцельно затягивать свиданье, как петлю!

Я ей ответил: это иллюзорно; сфальшивит скрипка, и фагот позорно собьется, и устанет пианист. Длинноты плодотворны. Самый черный твой день — он тоже дорог. Оглянись!

Шел нудный дождь. Вселенная промокла. Сгущалась мгла. Запотевали стекла. Стоял ноябрь. Тянулся диалог.

И это было непереносимо, как жизнь — когда ее покинул Бог.

1977

* * *

Холод серебряный. Утро весны затяжной
Больше похоже на оттепель встречи случайной —
Радостной, легкой, но в сущности — очень печальной.
«Как ты живешь?» — «Замечательно».
(Но не со мной, не со мной!)

Воспоминаний отравы уже затуманила взгляд.
«Помнишь, когда-то?..» — «Не стоит об этом...»
— «Не буду».

Жизнь — неожиданна и настоящему чуду
Этим подобна. Никто из нас не виноват
В несостоявшемся. Прочь элегический строй! —
Легкой улыбкой друг друга напутствуем снова.
Холод серебряный. Прошлое — глупое слово.
Жди. Уповай на удачу. И планов не строй.

Матч остановлен, но форвард не слышит свистка.
Жизнь подчиняется року, а не соглашениям.
Все бы наладилось, кабы не эта тоска
По несвершенным возможностям и невозможным
свершеньям.

Все бы наладилось, все успокоилось бы,
Жизнь бы вошла в благодатные рамки режима...

Я никогда ничего не хотел от судьбы,
Кроме того, что заведомо недостижимо.

1979

* * *

А. К.

У русской поэзии подлинной — медленный ритм,
затяжной,
Как наши равнины.
Как будто едешь и едешь — и все стороной —
Дорогою длинной.

И осень. И низкие облака. Сжатый, угрюмый объем —
Медлительность пытки.
И выдохлись кони, и тянется нудный подъем
Тяжелой кибитки.

Мы учимся с вялостью этой смиряться, пока не умрем
В разгаре ученья.

Как много пустого пространства в отечестве снежном
моем, —
Как много мученья.

Какой нестерпимый в нем холод, какой в нем
отчаянный зной —
Жесток и бесстрастен.
У русской поэзии подлинной — медленный ритм,
затяжной.

Он нам не подвластен.

1978

* * *

Уж ежели придется мне экстерном
Держать за жизнь экзамен, то со дна
Всплывут не встречи и не имена —
Лишь перестук простой и равномерный,
Катящиеся медленно цистерны
На юг, где кровь земли черным-черна.

Всплывет со дна их жаркий, сладкий запах,
Глубокий цвет их, черный без прикрас...
Да солнце, уходящее на запад
И с болью покидающее нас.

1977

ШАЛЬНАЯ БАЛЛАДА

От Спаса-на-Крови рукой подать до замка,
Где был задушен Павел. (В замке нынче
Центр вычислительный и учреждений куча.)
И видели не раз, как два призрака
Сходились у канала белой ночью
Для разговора, от прохожих прячась.

Один из них, считавшийся при жизни
Безумцем — был красив, держался прямо
И поражал диковинною шапкой.
Другой смотрел с печальной укоризной,
Ступал неверно, как по краю ямы,
Губами шамкал и ногами шаркал.

Нет в Петербурге призрачнее места,
Чем Сад Михайловский. И царь, убитый бомбой,
В изысканных французских оборотах
На зло людское сетовал. А вместо
Сочувствия — встречал глухой, но бодрый,
Упорный голос: «Передать по ротам! —

Не время медлить! Выступить! Скорее!
Сомнем Иран, оттуда выйдем к Инду.
Британский лев лизать нам будет пятки».
Его глаза сверкают. Он живет,
Чем мы, живущие. Он неподвластен хладу
Могильному. Его одежда в пятнах

Неотмываемых. А внук бормочет тихо:
«Не дали жить и умереть не дали
Нормально. Ни покоя, ни досуга,
Ни старости — все смотрят да вердикты.
Царил — как мог, и жил — как воспитали...»
Беседуют, не слушая друг друга.

Но — коротка ночь белая. Светлеет
Туман меж липами. Угрюмый сторож
Обходит сад, попыхивая трубкой.
Там, где была монаршая беседа,
Собака внюхивается тревожно
И вздыбливает шерсть, и скалит зубы.

И наступает солнечное утро.
Трудящиеся города-героя
Толпятся на трамвайных остановках.

1980

И. Б.

Лишенный в отечестве чаши, существующий как
Некая сумма слухов и ксерокопий —
Окажется сродни Соломоновым копиям
Для будущего. То есть в веках (но не пока
Жив!) разберутся в особенностях языка
Равно как в органичности внутри эпохи.
Как всегда не поймут — отчего валял дурака
И не ел пирога, а подбирал крохи.

Не поймут — и не надо. Не безразлично ли
Мертвому? О том, что его не стало,
Уже был слушок — поди, разбери вдали,
Что там правда. А уйдет — кораблем от причала

Туда, где луна поправляет лучом прилив,
Как сползающее одеяло.

1978

БОРОДИН Леонид — молодой поэт, живущий на юге России
(не смешивать с политзаключенным, прозаиком и поэтом Леонидом
Бородиным).

ТРИПТИХ: ВОСПОМИНАНИЕ О МЕШЕРЕ

Ангелу-покровителю России —
от иудея.

1

А в столице — смрад мазута,
И толпа, как ложь, густа...
Сгинь в лесные неуюты —
Пальцами ноги разутой
Музыку земли читать с листа.

Упиваться синью искупленья,
Шепотом травы,
Запахов распутать изумленье,
Узнавать приметы растворенья
Чутких вечеров в глазах совы.

...А в кострах сиреневых туманов
 плавится закат,
И мистериями отсветов багряных
Над излучинами речек безымянных
Черных дебрей освящается уклад...

И понять все корни и начала
В сумерке лесов —
Ночь здесь у рождения причала
Дню погибшему могилу снов копала
И беззвучно плакала росой.

Две сестры — счастливая и гордая,
 Пряди черные и голос молодой.
 И другая, светлая, безмолвная,
 А над ними — голубой покой.

И свеча неслышно оплывает
 В мареве причудливых речей.
 Тонкая рука слегка качает
 Спящего ребенка колыбель.

За стеной старуха на полатях
 Крестится усталою рукой...
 «Боже, Боже, милостивый Спасе», —
 Тихая молитва за стеной.

«Девицу храни отроковицу,
 Господи, и сбереги дитя...»
 Сонные смежаются ресницы,
 Догорает, догорит свеча.

Ясный месяц, словно финист-сокол,
 Прилетит, ударится в окно,
 Бьется грудью в отрешенность стекол,
 Плачет росами и выронит перо.

Но никто не слышит и не видит,
 В ранах звезд ночь скрылась в облаках.
 Поутру в железных башмаках Россия выйдет,
 Чтоб за тридевять земель судьбу свою искать.

Хлебушек железный изглодает,
 Изотрет железный посошок,
 И найти любовь свою не чает —
 Где ты, где ты, сокол мой?..
 А путь далек.

Откровенность тогда хороша,
 Когда откровенность — гроза.
 И Создатель — рассказчик немой,
 Выводящий суровой рукой
 Встречных ветров на сводах дождя
 Прорицаний слепящих слова.
 И тоскующий — руки осин заломив,
 Серебристые пряди берез распустив,
 Горький шепот дубрав расточает во тьме.
 И сплетающий здесь и нигде
 Смуту дальних и близких громов
 В откровение страхов и снов.
 И смягчающий боль осознания
 Ливнем слез и дождем восклицаний
 Безрассудных насмешливых струй,
 Рассекающих листьев глазурь.
 Просветленного воздуха хлад
 Чувств усталых умерит разлад,
 И пьянящая ясность смиренья —
 Это знак твоего избавленья.
 Откровенность тогда хороша,
 Когда откровенность — гроза.

1963 — 1983

Москва — Иерусалим — Страсбург

ЕВРЕЙСКОЕ ГЕТТО: СЕМЬ МОЛИТВ

1. СТАРУХА

Пути судьбы
таинственны,
ее решенья
непонятны,
и шепотом, почти невнятным,
о будущем
нам говорит она.
Нам неизвестность суждена.
И связаны единой нитью
страданий,
смерти
и любви,
мы — зачарованные — ждем
событий
и содрогаемся
от грозной
поступи
судьбы.

2. ДЕВОЧКА

Больницы переполнены больными,
и воздух напоен страданиями людскими...
Их не избыть им силами своими!

Так помоги ж им, Господи, скорей,
и души их ободри и согрей.

3. ЮНОША

Я рвусь к Тебе и плачу —
мне жизни нет.
Я ничего не значу —
в Тебе лишь свет.

И эта правда хуже
любой беды —
я сам себе не нужен,
мне нужен — Ты!

Я только отблеск,
а Ты — пожар,
горящий вереск —
Твой — пламя — дар.

И рвусь лишь пить я
свет глаз Твоих —
здесь нет событий,
а есть лишь — миг.

...И страстью всею
порядок — в прах!
Хочу — сумею ль? —
избыть свой страх.

Страх превращений
и страх обид,
чужих суждений,
могильных плит.

И в этой жуткой,
давящей тьме
надеждой хрупкой —
мысль о Тебе...

Мы все сироты
в чужом краю,
привел нас Кто-то
в свою семью,

семью несчастных,
больных детей,
в страну ужасных
и злых смертей.

4. УЧЕНЫЙ

Каждый шаг по земле —
словно шаг по ножу.
Я вяжу,
я ношу свое тело,
я жду.
Но я знаю, что будет уделом —
умиранье
в грядущих событий петле.
На столе
в пелене беспорядка...
Я в тоске —
вспоминанье без промаха ранит.
И белеет пустыми листами тетрадка...
Карандаш — он меня не обманет,
он обманывать горе не станет.
...Умиранье —
это пропасть тоски и границы,
расставанье
и признание судьбы и догадок.
Мне не спится.
Слышно внятное слово укора.
Слов печальных и ясных мне горек осадок.
Я не сплю —
я хочу уяснить себе суть приговора:

Утолю.
Но не скоро.
Не скоро.
Не скоро.

5. РЕБЕ

И тайна жизни неизменна
и высока.
Благословляю я смиренно
Твои века.

Твои созвучья и признанья,
Твои черты
и неземные упования
Твоей любви.

Твои сомненья и боязни,
Твою тоску
и боль Твою в минуту казни —
в слезах — приму!

6. АНГЕЛ

Хорошо быть безликим, бездонным,
на панели времен пропадать.
За причудливо-строгим резонансом
безраздельную веру скрывать.

И брести голубыми шагами
над распутицей гибнущих дней,
но сияние крыл за плечами
утаить от безбожных людей.

И в мгновений слепящих провалы
упадать — без конца, без конца!
Чтобы вечность с любовью обстала
и ждала б — не скрывая лица.

Заглядеться, ликуя и плача,
в непостижное это лицо —
Боже, Боже! Скажи мне, что значит
золотое виденье мое!..

И очнуться на улице черной
под бездушные клики машин.
Но запомнить — упрямо, упорно —
путь слепящий из царства причин.

7. ОСВОБОЖДЕННЫЙ

Так нежны
сети
голубых прожилок
на медленном Лице небес.
А лес
так зыбок,
лес...

1965 — 1983

Москва — Иерусалим — Страсбург

БИЛГА Шломо (Белага Эдуард Григорьевич) — 1939 г. р., гражданин Израиля; вероисповедание: иудейское; математик, до 1978 г. — в Москве, АН СССР; с 1978 г. — в Иерусалиме, Еврейский университет; с 1983 г. — профессор Страсбургского университета, Франция. Автор эссе о Стендале «Очаровательная мадам Потифар любит прекрасной Францией» («Менора», 1980, № 22) и памфлета «Веселые похождения З. Кренделя» (Иерусалим, 1981).

Россия и действительность

Игорь Г л и е р

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ НАРОДОВЛАСТИЯ

Предоставленная собственным инстинктам, масса, как таковая — плебеев или «аристократов» — в стремлении улучшить свою жизнь обычно сама разрушает источники своей жизни.

Хосе Ортега-и-Гассет

Мы, эмигранты третьей волны, очень гордимся тем, что имеем опыт советской жизни. Многие из нас из-за этого чувствуют себя выше иностранцев. Но давайте взглянем внимательней на наши выводы. Оказывается, что они ничем не отличаются от выводов второй и первой эмиграции, не жившей в СССР, и даже иностранцев. Оригинальными оказываются не идеи, а информация о тех или иных событиях, участниками или свидетелями которых мы были в Советском Союзе. Такой парадокс можно заметить и в многочисленной литературе, посвященной СССР, особенно изданной за последние 10-15 лет. Конечно, имеются исключения, и на некоторых я далее остановлюсь, но не они, к сожалению, играют решающую роль в панораме сегодняшней советологии. После первого опьянения массой книг и статей возникает ощущение блуждания вокруг центральных точек феномена СССР, выводы (довольно субъективные) начинают повторяться и переходят в слова и фразы-ярлыки типа «тоталитаризм», «бюрократическая система», «репрессивные методы» и т. п. Иной раз можно заметить лишь

перемену знака (плюс на минус) у некоторых антикоммунистов, а не психологии и мировосприятия. Интересно, что все это почти не касается многих писателей, художественной литературы. В первую очередь, это Замятин, Платонов, Булгаков, Орвелл, а из наших современников — Солженицын, Максимов, Владимов. В чем же дело? Как же люди, занимающиеся изучением данной системы, ее хозяйства и общественных отношений, оказываются менее точными и зоркими, не умеющими использовать богатый материал по социальной психологии, чем авторы рассказов и повестей?

Испанский философ Ортега-и-Гассет в своей книге «Восстание масс» писал, что массы, занимавшие раньше задний план социальной сцены, «вышли на авансцену, к самой рампе, на места главных действующих лиц. Герои исчезли, остался лишь хор». С начала нашего века массовые социальные движения захватили планету, они намного увеличились в последнее время. Сам этот факт, по-видимому, воздействовал на некоторых исследователей, особенно писавших по-русски, воздействовал таким образом, что человек, со всеми его первичными связями, оказался на втором или третьем месте! Вместо объективного изучения мотивации тех или иных поступков человека в первичных ячейках общества: в семье, с друзьями, на работе — предметом внимания стали сами события. Сложные базовые психологические механизмы личности, например, идентификация, остались в стороне. Очень часто все это усугубляется историческим подходом. Н. Бердяев в свое время писал о ловушках такого подхода, а совсем недавно говорил и А. Пятигорский на коллоквиуме «Советская власть и культура». История, даже не очень давняя, сжимает время, оставляя на поверхности *пики событий*: съезды, коллективизацию, решения партии и т. д. Историк, советолог часто заморожены такими пиками, а человек и то, что Зиновьев называл «конторой», остается на втором плане или даже

совсем игнорируется! Главное, мол, где и как Чапаев махал саблей! Года два назад М. Геллер, приглашенный вместе с Зиновьевым на французское телевидение, заявил, что его прежде всего интересуют события и факты, на это последовал ответ автора «Зияющих высот», что самое важное — человек и его взаимоотношения.

Имеется и другой тормозящий фактор, и, хотя он стар как мир, избавиться от него довольно трудно. Речь идет о научном и идеологическом подходе. Изучая поведение отдельных людей, первичных ячеек общества, масс в данной исторической обстановке, исследователь не должен проецировать на них свое сегодняшнее состояние — свои привычки, пристрастность, он должен влезть в шкуру изучаемого человека, в том числе и врага. Например, можно часто видеть в работах критиков советского режима явное нежелание рассматривать вольную или невольную поддержку населением властей и самого строя. Если все же под влиянием фактов приходится кое-что в такой поддержке признать, то тут же идет безоговорочный вывод: мол, из-за страха перед карательными органами и из-за пропаганды! Любопытно, что через некоторое время вы можете услышать от того же автора заявление о том, что КГБ не так уж силен, а пропаганде никто уже не верит. Где же истина?

Приведенные выше тормозящие факторы могут воздействовать и на писателя, который также стоит перед лицом истории и социальных движений масс, у которого есть своя политическая позиция, свои симпатии и антипатии. Но он не может обойтись без героя-человека, без всего комплекса его личных и деловых отношений, и, если писатель даст поверхностную схему, а не срез бытия, мы сразу же почувствуем фальшь, скажем: «Не верим» (под «срезом бытия» я имею в виду не фотографическую документальность, а правду человеческих отношений и мотивации поступков). Можно сказать, что писатель, даже не читавший ра-

бот Фрейда или Юнга, гораздо лучше понимает психологические механизмы человека, чем типичный советолог, знающий о подобных работах, но почему-то не использующий их в исследованиях. На тусклом исследовательском фоне последних десятилетий можно выделить лишь двух ярких авторов — это А. Зиновьев и В. Зубов*. Можно спорить с ними, с чем-то соглашаться или нет, но спорить на высоком научном уровне, заданном авторами. Кстати, можно отметить более серьезную аргументацию у Зубова, чем у Зиновьева, который пытался совместить научный трактат с сатирическим романом, а отсюда и некоторые раздвоения, повторения, разжевывания (роман обращен к широкой публике). Все это, плюс преувеличенное внимание к логико-социологическим построениям в ущерб глубинной психологии личности, создало ситуацию — «ни вашим и ни нашим» (в эмигрантской среде), а у рядового эмигранта остались несколько анекдотов об Ибанске и полный ералаш в голове!

Можно заметить непонимание принципов советской системы и у прожектеров-реформистов (не только левого толка). Я хочу сразу же привести довольно поучительный пример, который также показывает преимущества беспристрастного подхода. В начале 70-х годов мне пришлось услышать об экономическом эксперименте в одной из союзных республик, об этом даже писали в прессе (что является очень важным). Дело в том, что строительство завода было практически завалено, а сроки поджимали. Один инженер предложил в кратчайший срок закончить строительство и наладить выпуск продукции, но с условием полноты своих прав в наборе рабочих и оплате труда. Ему был дан «зеленый свет». Значительная часть рабочих была уволена, а оставшиеся стали получать

* 16-я республика СССР. (О советской эмиграции на Запад). Изд. «Кубик», Сан-Франциско, США.

удвоенную зарплату. Завод был построен в невиданный для СССР срок и начал давать продукцию (рекордную). Эксперимент был остановлен, а его создатель — осужден за какой-то ничтожный перерасход, хотя и сэкономил для государства в десятки раз больше! Первой моей реакцией было следующее: «Так почему же нельзя так сделать по всей стране?» Поразмыслив, я понял, что правители боятся при такой системе потерять контроль над производством. Примерно такие же высказывания мне пришлось услышать и в эмиграции, причем даже от экономистов. И лишь позже я посмотрел на эту проблему иными глазами, что, кстати, не изменило моего отношения ни к первым мыслям, ни к положению (жалкому) трудящихся в СССР, ни к самому факту ареста инженера. Если мы по всей стране введем такой эксперимент, то куда денутся уволенные рабочие, техники и инженеры? Но дело не только в них. Ведь создастся огромная диспропорция в оплате между оставшимися и учителями, врачами, работниками транспорта, торговли и др., т. е. теми, кого увольнять (даже часть) нельзя. Невозможно сократить количество учителей, врачей и работников многих других профессий. Откуда же взять колоссальные средства для оплаты (доплаты до уровня оставшихся рабочих) последних, плюс для пособий и создания новых рабочих мест для сокращенных? И это не в Бельгии, а в СССР! Я думаю, что именно так проблема и рассматривалась в советских верхах. И будь на их месте рядовой советский человек, он решил бы аналогично. Мизерная оплата труда при всеобщей гарантированной занятости — не следствие какого-то решения (злого), а одна из главных колонн здания советской системы. Это и один из ее *соблазнов* (оплата зависит от социального статуса работника в первую очередь, а не от качества выполняемой работы, что и позволяет многим отдыхать на работе и заниматься своими делами). Данный при-

мер показывает невозможность серьезной реформы в рамках советской системы. Можно, конечно, сказать, что нужно убрать саму систему, но это значит ничего не сказать, так как мы еще не знаем, что хотим убрать и каким способом!

К сожалению, изучение советского общества происходит не на фоне научного (точного и объективного) понимания таких слов, как «свобода», «народ», «человек». Эти понятия как бы отделились от исследователей и ведут свою независимую жизнь, а последние оперируют призраками этих понятий. Послушаешь многие заявления, пролистаешь статьи и книги, и получается, что советский человек так и жаждет свободы! В краткой статье я не собираюсь вдаваться в проблемы психологии свободы, но хочу заметить, что отношение масс, групп, да и отдельного человека к свободе совсем не такое простое, как было у Эдмона Дантеса в тюрьме острова Иф. По разным причинам люди могут предпочитать «осознанную необходимость». Да и кто в наше время этого не знает? Скорее тот, кто не хочет знать или продолжает идеализировать «человека» (скорее всего, самого себя с перенесением на других). А «народ»? — На наших глазах повторяется ошибка левых и некоторых либеральных деятелей прошлого века (в какой-то мере простительная тогда — из-за низкого уровня развития социальной психологии в то время — и непростительная теперь!). Да, конечно, мы многое узнали за 60 с лишним лет существования СССР, но если взглянуть попристальней, то можно заметить то же *обожествление народа*, менее выпренное, чем раньше, и чаще всего полускрытое. Понятие «народ» берется довольно абстрактно, оценочно и без свойственных ему, как живому организму, тех или иных психологических качеств, в том числе и отрицательных. Можно ли говорить вообще о «народе» в наше время? Ответ на этот вопрос можно найти в «Мирозерцании Досто-

евского» Бердяева. Гораздо точнее говорить о тех или иных социальных группах, слоях общества. Введя понятие «образованщина», писатель Солженицын оказался более точен, чем оперирующие словом «интеллигенция» советологи.

К исследователю, применяющему научный подход, неприменим ярлык «ненавистник данного народа». Это и понятно — можем ли мы сказать, что серьезный зоолог ненавидит волков, если он говорит что-то негативное о них (с нашей точки зрения). И если с зоологией, биологией все ясно, то почему же мы часто оцениваем по-иному выводы общественных наук? Тут примешиваются «священный гнев» и другие эмоции (говорят ведь о нас самих!), т. е. оценочные понятия. Чаще всего они выступают в ансамбле с плохим или поверхностным знанием самого предмета (психологии и социологии). Конечно, ненавистники какого-либо народа бывают, но они не являются ни точными, ни объективными. Это часто путают, ставят на одну и ту же позицию разных людей и разные подходы. Значительная часть русской эмиграции после первых рукоплесканий стала гораздо хуже относиться к А. Зиновьеву, хотя он старался именно не иметь оценочных выводов о русском и других народах СССР. Почему же он виноват, что «волки грызут», а народ ведет себя в некоторых ситуациях не так, как мы хотим?

Сам человек рассматривается как бы вне советской системы, за исключением партийных функционеров и других представителей номенклатуры, да и анализ последних застыл в некой типической схеме со строгими рамками, установленными мэтрами советологии. Смысл выводов многих из таких мэтров, да и некоторых диссидентов, в том, что в СССР имеется чуть ли не революционная ситуация. Отсюда делается заключение о методах борьбы. И это несмотря на то, что практически вся история советского

общества показала, что выигрыш его врагов следует лишь из ошибок властей или же когда руководители СССР временно отступают (но в конце концов добиваются желаемых для себя результатов). Бывало даже так, что временные акции противников режима были заранее допущены в Кремле, как усиливающие в конечном итоге режим с параллельным выпуском лишнего «пара».

Довольно неясно, почему поколение, родившееся в 40-х и, тем более, в 50-х годах ведет себя практически так же по отношению к властям, что и их отцы в 20-х и 30-х (во времена террора). В. Зубов пишет по этому поводу: «Растерянность советской молодежи в атмосфере бесСталя и отсутствие личных авторитетов, усилило возврат образа лидера тоталитарного толка в глубинах их психик. Молодые люди становились на психологическом уровне более сталиноподобными, и это в современном контексте стимулировало их карьеризм, их профессиональные, спортивные и... диссидентские достижения. ...Разочарование в перволидере, идущее по линиям сознания, рассудка, очевидности, *может усилить бессознательную идентификацию с ним!*» Я думаю, что тут надо сразу же отметить, о каких диссидентах идёт речь: «Глава эта посвящена не личностям в диссидентском движении, которые страданием доказали крупноблочность своей позиции, а «диссидентам на подхвате», для которых смысл жизни состоит в «борьбе с врагами», как это было для коммунистов 10-20-30-х гг.»

Такие противники режима: как внешне пассивный теоретик, так и активный «диссидент на подхвате» — считают себя вне системы (а на самом деле бессознательно включены в нее «по уши»), они невольно проецируют это свое отношение *на советское население* (или большúю часть его). Так и создаются мифы о желаниях советских людей, ничего не имеющие общего с глубиной действительности! Можно

знать все пороки советского общества, жить в нем, но так полностью и не понять его суть, так как дело не в самих пороках, свойственных всем людям нашей планеты, а в системе отношений данного общества, небывалого в истории! По-видимому, имеются какие-то важные, но скрытые причины, объясняющие многое — например, относительную стабильность системы.

Я уже говорил о точных догадках некоторых писателей. В «Архипелаге ГУЛаг» есть несколько строк о том, что разница в отношении к политзаключенному до революции и после объясняется не столько усилением надзора и репрессиями против тех, кто помогает энкам, а тем, что раньше они (энки) были *врагами правительства* (царя), а теперь *народа*! Что же поменялось? — Целая психологическая установка населения! Попробуем перенести такого типа сравнение на другие личные и социальные аспекты жизни.

До революции плохой, неумелый работник, лентяй, практически не мешал никому, только себе — своей семье. Крестьянин такого типа быстро разорялся, над ним посмеивались и жалели (семью) соседи. После революции (в начале 20-х гг.) положение полностью изменилось, это касалось прежде всего рабочих и служащих, а позднее и крестьян (коллективизация). Прежде чем перейти к анализу новой ситуации, нужно выяснить, считало ли население СССР в те годы, что новая власть является *народной*, т. е. было ли несомненным для большинства социальных групп наличие по всей стране предприятий и учреждений, являющихся общественным достоянием, с руководством, выбранным из народной среды. Вся предшествующая история XIX века готовила такую веру, постепенно перешедшую в прямо-таки религиозное сознание (псевдо)! Силу и притягательность такой веры показывает и то, что даже в наше время, после опыта СССР и сотен книг, разоблачений, свидетельств, на Западе

имеется множество людей, и вполне образованных, думающих с надеждой о коммунизме, социализме и национализации. Что же вы хотите от той массы начала века? Несмотря на то, что имеется достаточно людей (в основном в эмиграции, а не в стране), которые мне могут резко заметить, что таких дураков и обманутых было мало, привести десятки примеров восстаний, забастовок и т. д., объективный анализ, да и само существование СССР показывает, что подавляющее большинство населения страны так или иначе *поверило в народность системы*, приняло ее (естественно, с коррективами на темноту, разруху и т. п.). Заводы, фабрики, торговля, транспорт стали общественным достоянием: управляли ими — вчерашний сосед по станку, выдвиженец из другого города или крестьянин, бывший солдат — герой Гражданской войны. В стране произошло небывалое передвижение масс, в основном в города, а из городов в деревню — рабочих, партийцев и специалистов. Большие группы населения *внезапно* получили возможность поменять профессию, быстро подняться вверх по социальной лестнице (сейчас мы можем сказать — слишком быстро!). Поверхностное сравнение с дореволюционной действительностью показывало размах и новизну нового. Для тех, кто никак не может отделаться от мыслей о борьбе, сопротивлении советской власти в те годы, а главное, у кого эти мысли подавляют все остальное (а не являются одним из компонентов объективного анализа), я бы посоветовал поговорить с советскими рабочими. Даже сейчас большинство из них не представляет иной системы промышленности, а вся критика направлена на неумелое руководство.

Итак, что же изменилось на производстве после октябрьского переворота? Наш рабочий, служащий и крестьянин сразу же стал нужен всем, как и стал мешать всем, если плохо работал. Нужно быть наивным, необъективным или фанатиком полужоной

идеи, чтобы считать «народовластие», «роль коллектива», «общественную работу» и т. п. лишь пусканием пыли в глаза, декоративным фасадом властолюбивых большевиков. История показывает реальное вовлечение масс и групп населения, причем парадокс в том, что это не уменьшало, а увеличивало потенции власти. Понять этот парадокс поможет следующий пример: иностранцев (особенно владеющих русским языком) поражает в СССР то, что все время приходится слышать от советских людей *нравоучения*, ловить неодобрительные взгляды, причем все это не только по отношению к ним, иностранцам, но и друг к другу. Чувствуется также всеобщая раздраженность, нетерпимость. Не есть ли это цена за передачу власти «народу»? И это еще, как говорится, «цветочки», лишь одно из звеньев. Но вернемся к новым отношениям на производстве, где коллектив превратился в грозную силу, которая стала регулировать не только производственные отношения. Плохого работника стали воспитывать, прорабатывать на собрании, где (и это самое важное для нашего анализа) наиболее резкие слова говорились *товарищами*, даже не администрацией! Вместо четкого производства капитализма, где характером работы занималась администрация, которая, тем более, не лезла в домашние дела рабочих и служащих, появился *некий семейно-племенной клан*. Как это обосновывалось психологически? Очень просто. Я заменилось на *мы*: завод наш, государство, составленное из нас и наших заводов, наше, как и партия. Разные партии? Да как же могут быть две, три, четыре *наши* партии? Мы-то *едины* (в своих представлениях о нашей жизни). Кстати, партия такого типа не может ошибаться, не только потому, что тогда она сама ставится под сомнение (ее единичность в стране), но и потому, что не может быть двух правд, других прекрасных стремлений.

Но вместе с кланом появилась возможность для выхода всех тех задавленных ранее *Я* сил, ибо не стало чужих дел — *все наши*. Вышестоящие спасались от нижестоящих своим положением, но и среди первых был такой же порядок, что и внизу, а само положение было более привлекательным (власть, зарплата). Так что война началась по всем этажам здания СССР! После коллективизации остановить все это стало невозможным, *даже сверху!* Именно в этот период система и сложилась окончательно.

Модель советской системы очень четко представляет типичное собрание с проработкой какого-то члена коллектива, сообщением о международном положении, буфетом и кинофильмом (см. «Красный треугольник» и др. у Галича). Личная жизнь — это разговоры, сон, флирт, игра в шахматы, чтение во время доклада и прений. Кинофильм — это развлечения и пропаганда. С международным положением все вроде ясно, а вот и проработка. Вот тут-то происходит самое важное для системы: *люди оживают*, захлопываются на коленях книги и закрываются миниахматы, спящие просыпаются. Нужно отметить, что все это происходит не по окрику-команде шефа, партсекретаря или куратора из органов, а *свободно*. И так же свободно товарищи и коллеги начинают лить грязь на прорабатываемого, задавать хамские вопросы (детали). Лучшие молчат, но слушают с интересом, и лишь самые лучшие — единицы — сгорают от стыда! Было бы слишком просто судить о такого рода выступлениях коллег как о вызванных только карьеристскими мотивами и оправданным страхом. Здесь присутствуют более сложные психологические механизмы поведения в группах, понимание которых облегчает перенесение, замеченное Солженицыным.

Многое показывает, что деление людей в данной системе не только на «плохих» и «хороших», но даже на наших и ненаших, либералов и реакционеров, обы-

вателей и интеллектуалов, — это деление условно и в конечном счете лишь запутывает исследователя. В данной системе человек может меняться в зависимости от ситуаций и часто он это делает *бессознательно!* Спокойный бухгалтер начинает гневно клеймить коллегу, доходя до сравнения последнего с бандитами, а модная девушка по прозвищу «Американка» требует выгнать товарища, с которым еще вчера обсуждала передачи «голосов». Доносы являются такой же формой самодеятельности и в последнее время приняли форму докладных и отчетов. Есть ли во всем этом что-то типично русское? Конечно, нет! Во Франции в период оккупации немцы повесили объявление о том, что доносов от населения больше не принимают! А ведь это были враги, чужие, исконные, а не свои, как в СССР. Мы уже знаем, что система действует практически одинаково во всем мире, вне зависимости от расовых признаков захваченных ею народов.

Наверное, многие мне могут возразить, что еще в СССР они были свидетелями массового недовольства, почти нескрываемого, пассивного саботажа и т. д. Все это так, и мы должны выявлять такого рода настроения, анализировать, но при этом понимать, что все это пока является как бы полуреальностью, почти не мешающей системе существовать, тем более, что мы знаем, как и где проявляется это недовольство. Полуреальное меняется местами с реальным, и реальное становится полуреальным, т. е. второстепенным, а на такое и нечего обращать внимание! Таким же вот образом «изучают» советского крестьянина, и выходит, что если дать ему землю, то и зернышка не пропадет. Такой вывод всем давно уже был известен (зачем столько энергии для этого?), но сам он лежит в области «если бы, да кабы...», а в реальности есть действительно серьезная проблема: почему же крестьянин не очень-то хочет работать на себя, на своей земле? Не верит, что дадут? Да, пожалуй, но

имеется и еще что-то — боязнь ответственности, смутное понимание тяжкого груза свободы после стольких лет «локтей коллектива». Такого же свойства мотивы действовали и при переходе многих колхозников в совхозы, на заводы, стройки.

При всей субъективности двух противоположных направлений в эмиграции (их, конечно, больше) я скорее придерживаюсь национально-почвенного уже за то, что оно ближе к реальности (реальности прошлого нашей страны и реальности настоящего). Другое течение опирается скорее на им же трактуемое туманное будущее, не учитывающее многого из прошлого и настоящего России, СССР, берущее часто сомнительные и не лучшие рецепты Запада, причем довольно далекие от христианского понимания истории и судьбы народов. Нужно отметить, что, к сожалению, у представителей национально-почвенного направления чувствуется нехватка теоретических работ, особенно социально-психологического направления. Причина (и, я думаю, — основная) — некое личное табу: мол, «и так наш народ кроют, не будем же давать еще один повод. Посмотрите, что получилось с Зиновьевым!? Докопался!» Может быть, автор «Светлого будущего» в чем-то и переборщил, но мне кажется, что главной причиной такого отношения к нему послужило его разоблачение слепой веры в «народ», его элитарная позиция. Редко любят того, кто разрушает иллюзии! Нужно, правда, признаться, что критика Зиновьевым Русской Православной Церкви серьезно не аргументирована и довольно груба. Как земную, человеческую организацию, Церковь критиковать можно, как и некоторые аспекты религиозного сознания — например, нетерпимость и фанатизм, что и делали Розанов, Мережковский, Бердяев и другие, но на более серьезном уровне. Но, как я уже отмечал, объективный анализ состояния общества не имеет никакого отношения к оценочной характеристике на-

родов, религий, рас, а недоверие к таким работам и даже запрет на них лишь отдалают наше полное понимание феномена СССР.

Двойственное отношение к Западу у советского человека бывает не только перед решением покинуть страну, во время колебания. В тот момент мы лишь лучше слышим это отношение (человек начинает лихорадочно советоваться и раскрывается). Можно твердо сказать, что высказывается не столько отношение к эмиграции (я имею в виду решивших все же не уезжать), а оценка и сравнение способа жизни — системы! Кое-что мы можем услышать и от советских туристов на Западе, и от приехавших по гостевой визе (конечно, в соответствующей обстановке). Отбросив некоторую пропагандную шелуху, мы можем выделить постоянную установку, правильность которой доказывает нам само ее постоянство, да еще в таких широких диапазонах (ее высказывают представители практически всех групп советского населения). Установку эту примерно можно передать так: «Да, на Западе гораздо лучше снабжение населения, есть возможность увлекательных поездок и выбора культурных развлечений и информации, выше зарплата, имеется возможность участия в политике, но в то же время в этой системе имеется проблема безработицы, конечно, мы с вами не на партийном собрании и прекрасно знаем, что есть пособия по безработице, но часто ли безработный получает работу по своей специальности? Сколько ему платят после года — наверное, очень малый процент или вообще прекращают помощь? А если он взял в кредит дом, машину, квартиру? Еще есть и вопрос психологический: как себя чувствуют эти массы людей, когда они год-другой не работают? Мы слышали о стрессах, депрессиях, неуверенности в завтрашнем дне, причем, несмотря на скептическое отношение к нашей (советской) информации, мы не можем все это считать только выдумкой! Есть

данные не только из прессы. Мы также слышали, что на Западе гораздо реже ходят в гости, менее развито чувство товарищества, трудно одинокому, в общем, в глубине души мы смотрим на Запад, как на сказочный, но опасный лес, а смотрим из нашего неказистого поселка, где дома стоят тесно, мы знаем всех соседей, с которыми часто ругаемся и так же часто миримся, из труб наших домов идет дым, кое-где дымно и в доме, но все же тепло, а идти в лес страшно, и холодно, и в одиночку (соседи в последнюю минуту могут отказаться), и опасно». Лет десять назад по всей стране говорили, особенно много в среде рабочих и техников, о том, что на ВАЗе часть рабочих (временно) работает в бригадах с итальянскими инженерами и техниками. Советские рабочие получали высокую зарплату и в конвертах (это слово акцентировалось), но за это нужно было *вкалывать* (на последнем слове тон снижался). Можно привести еще много такого типа примеров, входящих в эту общую установку, и безусловно, что не все в ней говорится прямо, многое — намеками, требует расшифровки. В результате все упирается в отношение к *свободе* и *несвободе*. По моему мнению, у большинства советского населения эти отношения *уравновешены*. В этом и есть главная причина стабильности системы! Консерватизм сознания, сила привычки добавляют некоторый крен в пользу «нашего неказистого поселка». Что же касается активных инакомыслящих, то многие из них, по меткому замечанию Зиновьева, становятся отщепенцами, причем гнев или равнодушие коллег обусловлены не тем, что отщепенцы в принципе не правы, а тем, что хотят быть лучше всех (значит, мы, остальные, — трусы, приспособленцы и т. д., а этого коллектив не прощает!). Вот почему иногда администрация или даже органы(!) вынуждены остановить разъярившихся коллег (много на себя берут, анархия и т. п.). Вся сложность борьбы в том, что, действуя внутри системы,

мы сами частично находимся в другой, и наши методы борьбы также взяты из иной системы отношений и ценностей! В этом трагизм диссидентского движения! Борьба партий, группировок на Западе происходит *по законам и в рамках западной системы*; хотя до революции в России была несколько иная ситуация, чем теперь в странах свободного мира, но она все же гораздо ближе к западной, чем к советской.

Много говорилось об абстрактном и реальном в обществе советского типа, о том, что последнее подменяется первым. Все это правильно, но может ли существовать общество (и стабильное), основанное лишь на абстрактном? Мне кажется, что акцентация на абстрактном, двоемыслии, мифотворчестве (а это безусловно, очень интересные и ценные исследования) прикрыла все же существующую реальность! Реальность удобной несвободы, в чем так или иначе признается советский человек и о чем можно прочесть в официальных текстах (иногда им можно и верить!).

Итак, на ум приходит мысль о достаточно большой поддержке режима гражданами СССР. Эта поддержка осуществляется разными способами, и основной из них — самовключение людей в аппарат власти (общественность). Интересно, что эта общественная власть служит, в основном, не для созидания, а для взаимного контроля, проверок, наказаний. Для служб безопасности такая среда равноценна питательному бульону для бактерий, и поэтому КГБ всесильно не само по себе, а именно в этой системе, где рядовые граждане являются вольными или невольными его помощниками.

Можно спорить о том или ином термине, можно всегда доказать некоторую неточность того или другого, но, как мне кажется, термин «народовластие» наиболее четко отражает советскую систему, причём не ложное народовластие, *а точное и реальное* — другого нет! Правильное понимание этого затрудняют

не только описанные мною тормозящие механизмы, но и то, что в последних десятилетиях в СССР резко увеличился элитарный слой с известными всем привилегиями (какое, мол, народовластие, когда меньшинство имеет все, а народ почти ничего!). Массовые репрессии прошлого также подчеркивают вроде бы явно антинародный характер общества. Сразу же хочу оговориться: перед войной погиб в ГУЛаге мой дед, а после там же отец! Так что мое отношение к этой проблеме не только теоретическое! Но я хочу разобратся хладнокровно и точно, так как уже понял, что эмоции-оценки лишь портят дело (по крайней мере, на этапе исследования).

Кто мне может сказать, что такое *хорошее народовластие*? Было ли оно в мире? Конечно, мне могут наговорить массу басен о «светлом будущем» по Чернышевскому или кому иному, но ведь это то же самое, что «коммунизм» или «социализм с человеческим лицом»! Чем характеризуется понятие народовластия для всех «страждущих о народе»? Властью народа — естественно, при полной национализации. Осуществляют власть выборные — советы. Вот вам и СССР! Да, скажут мне, а как же быть с КПСС? Даже если бы государство типа СССР образовалось без компартии, то в течение очень короткого времени такого типа партия возникла бы автоматически! И это не голословное утверждение — оно основано на серьезном анализе поведения людей в группах десятков ученых-психологов и социологов мира. Часто наиболее точные и понятные примеры можно взять из жизни, но так же часто мы проходим мимо них! Вот и один пример. В СССР можно выделить коллективную работу, не связанную ни с КПСС, ни с государством, — это калымщики. Иногда в таких бригадах назревает острый конфликт. Бригадир критикует работу одного или двух рабочих — как правило, большинство поддерживает его. Иногда появляются грязные сплетни,

наговоры и тому подобные *ложные «доводы»*, подхватываемые, в общем-то, не очень злобными людьми. Мне могут сказать, что из бригады можно уйти или пожаловаться. Кому? Бригадиру? А уйти можно (что и делают в таких ситуациях), ну, а если бригада эта — вся страна? Куда уйти? Вокруг бригадира начинает образовываться круг друзей-прихлебателей — вот вам и сильное ядро, способное на многое, тем более, что бригада *одна* и ядро вроде бы печется о её интересах! Я не хочу акцентировать первичность народовластия и вторичность марксизма и партии (об этом говорил Зиновьев). Здесь скорее иная связь, нерасторжимая; одно вытекает из другого. И лишь тогда, когда в середине XIX века подули первые вихри «восстания масс» — начали появляться крупные заводы и т. д., именно тогда появилась стройная теория Маркса. Ее кажущаяся очевидность и примитивность способствовали ее быстрому распространению, так что и сейчас мы не имеем возможности точно предсказать будущее не только нашей страны, но и всего мира. Своей грозной яркостью эта теория отодвинула на второй план, в тень, свою плоть и кровь — народовластие, вечную мечту толпы и комплексующих либералов, которые даже у себя в семье не смогли установить «власть народа» и равноправие, а замахнулись на страны и континенты.

Опасность, надвигающаяся на мир в наше кризисное и переломное время, ясна — это не только и, быть может, не столько война. Гораздо реальней все увеличивающееся на Западе количество «носорогов» и их влияние. Многие из них уже сейчас готовы сдаться без боя, а другие перед этим лишь хотят немного подкрасить и задобрить «врага» (что уж тут о войне говорить!). В СССР появляется молодая, циничная и хваткая народная «элита», которая перенимает у Запада лишь то, что брал еще Петр I (а осталось ли там другое?). Кстати, безверие этих людей не есть ли еще

одно свидетельство наличия *чего-то другого, кроме идеологии цементирующего общества?* Я имею в виду все то же народовластие, пусть и трансформированное. Именно в такой момент мы должны проверить и, если надо, пересмотреть многие привычные оценки и мнения, а вместо «изобретения велосипеда» не лучше ли попытаться суммировать все яркие и точные наблюдения и выводы, рассыпанные в море научной и художественной литературы. Значительное количество бывших советских людей на Западе (третья эмиграция) позволяет также провести социологические опросы и различные тесты. Естественно, к этому нужно серьезно подготовиться, как и к последующему анализу данных. Такого рода работа может, наконец, дать более или менее точные ответы, на основе которых и возможно будет понять, что же такое система советского типа и что нам делать дальше.

Мне приходилось слышать, что результаты подобного анализа, подхода слишком пессимистичны. Подтекст такого заявления легко понять: у многих опускаются руки (тем более, что и до этого в массе эмиграции не наблюдалось активности), пересмотр оценок и мнений ведет к пересмотру методов, а значит, так или иначе затрагивает конкретных людей, находящихся в центре движения. Некоторые из них могут болезненно отнестись к переменам. Все это надо учитывать, и, быть может, на начальном этапе стоит лишь заниматься теоретическими разработками, количество и уровень которых даст в будущем более легкое понимание и принятие новых выводов. А что касается пессимизма, то мне вспоминается гравюра Дюрера «Рыцарь, Дьявол и Смерть»: не обращая внимания на своих мрачных спутников, рыцарь продолжает свой путь.

ГЛИЕР Игорь — родился в 1945 году в Москве. После службы в Советской армии работал на центральном телевидении помощником, а затем ассистентом режиссера. В 1975 году эмигрировал во Францию.

Э Р МИ Т А Ж

В 1983 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. «Религия и литература». (143 с., статьи)	7.00
АКСЕНОВ, Василий. «Аристофаниана с лягушками». (Пьесы, 380 с.)	11.50
АКСЕНОВ, Василий. «Право на остров». (Рассказы, 180 с.)	6.50
АРАНОВИЧ, Феликс. «Надгробие Антокольского». (180 с., 80 илл.)	9.00
АРМАЛИНСКИЙ, Михаил. «После прошлого». (Стихи, 110 с.)	5.50
БРАКМАН, Рита. «Выбор в аду». (О творч. Солженицына, 144 с.)	7.50
ВАЙЛЬ, Петр. ГЕНИС, Александр. «Современная русская проза». (192 с.)	8.50
ВИНЬКОВЕЦКАЯ, Диана. «Илюшины разговоры». (145 с., 50 илл.)	7.50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. «Стихотворения». (160 стр.)	8.00
ГИРШИН, Марк. «Убийство эмигранта». (Роман, 145 с.)	7.00
ГУБЕРМАН, Игорь. «Бумеранг». (Стихи. 120 с. Рис. Д. Мирецкого)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. «Зона». (Повесть, 128 с.)	7.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. «Мастера». (Сборн. интервью. 15 илл.)	8.00
ЕЛАГИН, Иван. «В зале Вселенной». (Стихи, 212 с.)	7.50
ЕФИМОВ, Игорь. «Архивы Страшного суда». (Роман, 320 с.)	10.50
ЕФИМОВ, Игорь. «Как одна плоть». (Роман, 120 с.)	6.00
ЕФИМОВ, Игорь. «Метаполитика». (250 с.)	7.00
ЕФИМОВ, Игорь. «Практическая метафизика». (340 с.)	8.50
ЗЕРНОВА, Руфь. «Женские рассказы». (160 с.)	7.50
КОГАН, Эмиль. «Соляной столп». (Полит. психология Солженицына.)	14.00
КОРОТЮКОВ, Алексей. «Нелегко быть русским шпионом». (Роман, 140 с.)	8.00
ЛЕЙТМАН, Игорь. «Контурь лучших времен». (128 с.)	7.00
ЛУНГИНА, Татьяна. «Вольф Мессинг — человек-загадка». (270 с., 15 илл.)	12.00
МИХЕЕВ, Дмитрий. «Идеалист». (Роман, 224 с.)	8.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. «О синтезе в искусстве». (Альбом, 60 илл.)	12.00
ОЗЕРНАЯ, Наталия. «Русско-английский разговорник». (170 с.)	9.50
ПАПЕРНО, Дмитрий. «Записки московского пианиста». (208 с., 20 илл.)	8.00
ПОПОВСКИЙ, Марк. «Дело академика Вавилова». (280 с., 20 илл.)	10.00
РЖЕВСКИЙ, Леонид. «Бунт подсолнечника». (Роман, 240 с.)	8.50
СВИРСКИЙ, Георгий. «Прорыв». (Роман, 560 с.)	18.00
СУСЛОВ, Илья. «Рассказы о т. Сталине и других товарищах». (140 с.)	7.50
СУСЛОВ, Илья. «Выход к морю». (Рассказы, 230 с.)	8.50
УЛЬЯНОВ, Николай. «Скрипты». (Статьи, 230 с.)	8.00
ЧЕРТОК, Семен. «Последняя любовь Маяковского». (128 с.)	7.00
ШТУРМАН, Дора. «Земля за холмом». (Статьи, 256 с.)	9.00

Заказы направлять по адресу:

HERMITAGE, 2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

К сумме чека добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке трех и более книг — скидка 20%.

ПАМЯТИ РАЙМОНА АРОНА

Умер наш друг, единомышленник, верный союзник, член редколлегии «Континента» с самого его основания — Раймон Арон.

Прозорливость и трезвость ума — вот что характеризовало его самого, его ученые труды, его публицистику. С самой юности он не поддавался ни одной идеологической иллюзии из тех, что чумой свирепствовали среди французской интеллигенции, делили ее на два лагеря: одних превращали в апологетов нацистского «нового порядка», других, куда более многочисленных, — в певцов благодетелей ГПУ. Своими глазами видевший первые костры из книг на площадях Германии, Раймон Арон, казалось бы, должен был поддаться прокоммунистическому, просоветскому уклону — таков был путь многих западных антифашистов. Но и тогда, и до конца жизни он остался редким примером западного интеллигента, который ни на минуту не принял альтернативу: красный или коричневый тоталитаризм. Ни тот, ни другой. В этом он оказался нам особенно близок.

Раймон Арон — представитель классического либерализма: в философии, в политологии, в политэкономии. Притом, храня лучшие либеральные традиции, он не закосневал в устаревших образцах прошлого века, улавливал дыхание всех перемен, принесенных нынешним столетием. Его независимая мысль всегда шла дальше «партийных» рамок — противники платили ему горячей ненавистью, вчерашние приверженцы — холодным уважением и недоумением, он приводил в бешенство одних и обгонял, оставлял далеко позади себя других. В западном и — уже — французском интеллектуальном мире он был фигурой уникальной. Кстати, и тем, что «связался с отщепенцами», с политэмигрантами из СССР и Восточной Европы, когда еще не наступило краткое поветрие «моды на диссидентов», и остался нам верен, когда мода прошла. Уже смертельно больной, за несколько месяцев до кончины, Раймон Арон вошел в Комитет поддержки Интернационала Сопротивления.

И — последнее, о чем хочется вспомнить, но не последнее по важности: ученый и публицист, он был прекрасным писателем. Столь распространное на его родине красноречие, когда после блестящих речей понимаешь, что говорено много, а не сказано ничего, — было ему как нельзя более чуждо. Каждая его книга, статья, интервью отличались той ясностью слога, которая зримо обнаруживала ясность мысли.

Арон был человеком неверующим, принадлежал к породе скептиков и почти не упоминал о высоких нравственных принципах. Но он им следовал, и его жизнь и труды в этом отношении могут оказаться поучительны для многих, называющих себя верующими.

Встреча с Ароном, продолжавшаяся почти десять лет, останется незабываемой для каждого из нас.

«КОНТИНЕНТ»

Арман Малумян

«АРМЯНСКИЙ ВОПРОС»

Геноцид

Геноцид, термин, составленный из двух корней: греческого (genos — раса) и латинского (caedere — убивать) — был введен в обращение американским профессором польского происхождения Рафаэлем Лемкиным, de facto он нашел применение в Нюрнберге, de jure стал существовать с 9 декабря 1948 года, когда Генеральная Ассамблея ООН выработала Конвенцию о предупреждении и осуждении преступлений против человечества. Эта Конвенция вошла в силу 12 января 1951 года.

Геноцидом считаются все действия, направленные на уничтожение — частичное или полное — национальных, этнических, расовых или религиозных групп, как то: убийство членов групп; репрессии, физические или моральные, против членов групп; создание для групп таких условий жизни, которые могут привести к полному физическому исчезновению всей группы или ее части; навязывание мер по предупреждению рождаемости в группах; насильственное отделение детей от родителей.

Все избиения армян, начиная с XI века, отвечают, по крайней мере, одному из перечисленных пунктов. В 1895 и в 1915 годах было проделано все перечисленное сразу.

Поэтому понятно, что даже через 68 лет после последней резни, которая за несколько месяцев свела в могилу полтора миллиона армян, турецкое правительство не признает факта массовых убийств и протестует против употребления термина «геноцид», когда речь идет об армянах. Термин в ту пору не существовал; к тому же, всякому известно, что в юриспруденции «признание обвиняемого безусловно есть важное начало в сумме доказательств»... И при всяком движении, при всякой попытке с армянской стороны следует вмешательство Турции и налагается вето.

В апреле 1975 года марсельская армянская община хотела в частном владении, т. е. в саду при своей церкви, установить памятник

1.500.000 армян, убитых в 1915 году. Посол Турции выразил протест французскому правительству. Правительство отклонило протест. Посол уехал в Анкару, заявив, что ноги его не будет во Франции до тех пор, пока памятник не снесут.

Памятник по сей день цел. А турецкий посол стал через несколько месяцев... военным министром.

Когда представитель штата Массачусетс предложил на голосование резолюцию в ознаменование памяти трагедии, Государственный Департамент заявил, что «принятие резолюции несвоевременно по соображениям имеющихся с Турцией отношений».

Может показаться, что мир забыл знаменитую фразу Ж. Жореса: «Наступила эпоха, когда человечество не может жить, зная, что в подвале у него труп убитого народа».

Но все же — откуда берется у Турции сила, чтобы оказывать давление на великие державы: ранее на Англию, Россию, Германию и Францию, а теперь на США и СССР? Сила эта — в обладании Босфором. Чтобы сохранить свободу прохода через пролив, Турция даже оказывают экономическую и финансовую помощь.

Впервые в истории речь об «армянском вопросе» идет в Сан-Стефанском договоре (5 марта 1878 г.), но практически он известен на протяжении веков и был причиной немалого числа военных столкновений между Россией и Турцией, Россией и Персией и особенно — войн за независимость в разных европейских «колониях» Оттоманской империи. Во время русско-турецкой войны 1877—1879 гг. была уничтожена большая часть армянского населения в Баязете, Диадине и Алакерт. Турецкие армяне просили великого князя Николая, командовавшего русской армией, оговорить в мирном договоре гарантии армянам. Статья 16-я договора гласит: «Оттоманская Империя обязуется, не откладывая, дать административную автономию, которой требуют местные нужды в областях, населенных армянами, и гарантировать их безопасность от черкесов и курдов...» Обещания Сан-Стефанского договора так никогда и не были выполнены, и, чтобы выработать новые условия договора, был созван конгресс в Берлине.

Берлинский договор (13 июля 1878 года) изменил 16-ю статью Сан-Стефанского договора, которая сделалась теперь 61-й. Несмотря на все свои несовершенства, 61-я статья «законодательно устанавливала права армян, обязывала турок и связывала долгом Европу». Однако все об этом забыли ради собственных интересов: для России — «независимое армянское государство есть помеха нашему проникновению в Малую Азию». Для англичан: «Оттоманская

Империя является крепостным валом между Россией и путем в Индию». Бисмарку Османская Империя нужна была для сооружения железнодорожного пути Берлин — Босфор — Багдат. «Гарантии великих держав» означали, что армяне брошены на произвол судьбы. Как сказал герцог Арджил: «What is everybody's business is nobody's business».

И армяне продолжали страдать. С сентября по декабрь 1895 г. резня прокатилась по всем городам армянских областей. В Рождество 1895 года 3 тысячи армян (преимущественно женщины и дети) были заживо сожжены в армянском соборе в Урфе. Кровавая жертва... С 1894 по 1896 год около 300 тысяч армян погибло в огне, убийствах, пытках, от мучений, голода и холода. К жертвам следует добавить около 50 тысяч насильно обращенных в мусульманство детей, родители которых были замучены. В 1896 г. немецкий миссионер Иоханес Лепсиус дает следующие цифры: «...88.243 армянина убито, 1.293 мусульманина убито, 2.493 деревни разграблено, 568 церквей и 77 монастырей разграблено и разорено, 646 деревень обращены в мусульманство, 328 церквей превращены в мечети, 546.000 человек страдают от голода».

1909 год — бойня в Адане. 20 тысяч жертв. Политика отуречивания всех не-турок империи: палестинских арабов (1910), друзов (1910), македонцев (1911—1912). Лозунг был такой: отуречить арабов, потом курдов и «так или иначе избавиться от армян и греков».

Великие державы (Англия, Россия, Германия, Франция) предлагают проект реформы. Два нейтральных наблюдателя осуществляют контроль в Армении. Но, как только Турция в октябре 1914 г. вступила в войну на стороне Германии, она решила заодно воспользоваться моментом, чтобы раз навсегда решить армянский вопрос, т. е. физически уничтожить всех армян. Организацией этого истребления планомерно занимались трое: Талаат, Энвер и Джемаль. Осуществление намеченного началось 24 апреля 1915 года: были произведены аресты и убийства представителей армянской интеллигенции, в зоне действующей армии были убиты все солдаты и офицеры армянского происхождения, добросовестно служившие в турецкой армии, все армянское население было депортировано в пустыню Месопотамии. Из 2,1 млн. армян полтора миллиона были перебиты так зверски, что и теперь, 68 лет спустя, описания учиненных надругательств вызывают дурноту.

23 мая 1915 г. в Лондоне Англия, Франция и Россия опубликовали совместную декларацию, чтобы обратить внимание так назы-

ваемого цивилизованного мира на происходящее: «Правительства союзников гласно доводят до сведения Оттоманской Империи, что ответственными за названные преступления считают всех членов правительства Оттоманской Империи, а также всех должностных лиц, замешанных в названном избиении». Фраза осталась фразой. В выигрыше оказалась одна Турция: она аннексировала Карс и Армению... в которой не было больше армян. 2 сентября 1915 г. Талаат сказал германскому послу: «Армянского вопроса больше не существует». И по временному закону того же года на все принадлежавшее армянам имущество был наложен арест, затем оно было передано туркам. Таким образом, становилось как бы не бывшим и само преступление, и состав преступления...

Талаат однажды в разговоре заметил американскому послу Моргентау: «Почему вас вообще занимают армяне? Ведь вы еврей, а они христиане». И в другой раз: «После того, что мы им сделали, ни один армянин не может быть нашим другом». И с величайшей простотой Талаат попросил: «Я хотел бы, чтобы вы, через американские страховые компании, составили для меня полный список всех их армянских клиентов, потому что они теперь почти все умерли, не оставив наследников, так что их деньги отходят правительству»... (H. Morgenthau. *Memoires. Vingt-six mois en Turquie*. Франц. перевод. Paris, 1919).

Адольф Гитлер, еще один великий специалист по геноциду, помнил, какой приказ отдал министр внутренних дел Талаат («Правительство решило полностью уничтожить всех проживающих в Турции армян... не исключая женщин, детей и стариков, не прислушиваясь к совести и чувству, какими бы трагическими ни были средства уничтожения»), когда 22 августа 1939 года говорил: «Я приказал специальным частям СС двинуться к польской границе и без жалости убивать мужчин, женщин, детей. *Кто там помнит сегодня об уничтожении армян?*» (Подчеркнуто мною. — А. М.).

К этому досье следует добавить еще три исторических элемента.

1. «...Я знаю также, что она (армянская «раса». — А. М.) не может жить в одной стране с расой турецкой, одной из них необходимо исчезнуть. По правде говоря, я не порицаю использованных турками методов... Нация более слабая должна погибнуть». (Немецкий морской атташе в Константинополе Хуман. — С такой-то фамилией!)

2. Великий визирь Дамад Ферид Паша 17 июня 1919 г. на Парижской мирной конференции отвечал на обвинения французского представителя: «Пока шла война, почти весь цивилизованный мир

волновался рассказами о преступлениях, которые совершили турки. Я далек от мысли приукрашивать злодеяния, природа которых такова, что не перестает потрясать ужасом человеческую совесть. Еще менее входит в мои намерения смягчать степень виновности актеров этой великой драмы».

3. «Нет сомнения, что это преступление было подготовлено и приведено в исполнение по политическим мотивам. Подвернулся случай, чтобы очистить страну от христианской расы, которая мешала турецким устремлениям и даже поддерживала чаяния, могущие быть осуществленными только в ущерб Турции, и которая географически отделяла тюрок от мусульманских народов Кавказа. Турки полагали, что даже если Константинополь падет и Турция проиграет войну, ликвидация армян останется постоянным преимуществом для будущего тюркской расы» (Черчилль. 1929).

Все правительства ФРГ признали преступления III Рейха, и это позволяет утверждать, что не все немцы были нацистами и что нацисты — это не вся Германия.

Почему турки и теперь еще отказываются признать историческую правду?

Ни один турок — ни один, ни левый, ни правый, — не признал за 68 лет (в Турции, открыто, перед лицом всего мира) факта уничтожения армян.

Армяне

Рассеянные по всему миру (60% в СССР и 40% на остальной части земного шара), армяне пережили судьбу всех беженцев, но была в ней и существенная особенность: русские политические эмигранты покидали свою страну с надеждой вернуться, для большинства их это было временное изгнание. Турецкие армяне уходили навсегда, без всякой возможности вернуться, — это и объясняет, почему в 1946—1948 гг. около ста тысяч армян, живших в разных частях света, испытали искушение поехать в советскую Армению.

Исторические лишения и ловкая пропаганда были побуждающими факторами, которые спровоцировали отъезд на «историческую родину».

С 1946 года, в целях внутренней и международной пропаганды, Советский Союз почти повсюду разослал «дипломатов-вербовщиков», чтобы уговаривать армян, русских белоэмигрантов, грузин и украинцев, эмигрировавших на Запад, «вернуться к родине-матери».

Общезвестно, что этот же лозунг (с маленьким дополнением: «Родина-мать простила») был использован в отношении военнопленных, оставшихся на Западе, последствия этой акции — не тайна...

Что до армян, они пропускали мимо ушей определение «советская», навязанное Армении. Подавляющее большинство их не было коммунистами. Они были просто отчаянными патриотами. Советской пропаганде — по крайней мере, поначалу — это было на руку: жители «капиталистических» стран добровольно покидают Запад, предпочитая ему Советский Союз. Там они будут у себя, среди своих, они смогут вернуться к своей религии, к своему языку, в своей республике...

Необходимо еще раз напомнить, что большинство этих армян были выходцами из Турции. Парк им. Ленина в Ереване, где встречались жертвы этой широкой пропагандистской кампании (армяне из Франции, Соединенных Штатов, Греции, Египта, Палестины, Ливана, Сирии, Румынии, Болгарии, Ирана, Китая), стал «садом плача»...

Положение было такое, что многие пытались бежать... в Турцию!

В 1949 году (с 12 по 15 апреля) более 30 тысяч армян были посланы в Сибирь. Значительное число жило до этого в соседних республиках, в Грузии и Азербайджане, но большую часть составляли жившие в Армении репатрианты, им довелось испытать на себе суровую жизнь ссыльно-поселенцев в Барнауле, а также в других «центрах лыжного спорта» Советского Союза.

Лишь в 1954 году некоторое число сосланных смогло вернуться в советскую Армению. С 1956 года многочисленные армяне из Франции стали осаждать ереванский ОВИР заявлениями о выезде...

Терроризм

Я ни в коей степени не оправдываю терроризма.

Я считаю, что для цивилизованных существ ни бомба, ни револьвер не могут быть средством самовыражения. Человек отличается от животного тем, что обладает членораздельной речью, ею и надо пользоваться. Те, кто использует те же средства борьбы, которые применяются противником, не обретают моральной высоты, как раз напротив. Я никогда не смог бы пытать палачей-садистов КГБ, которые в течение 14-ти месяцев пытали меня. И в то же время, в самых крайних случаях, не принимая и осуждая, я могу понять отчаянье молодых людей, которые взялись за оружие.

В каждой армянской семье есть жертвы, которые вызывают к отмщению. Мир на протяжении целых десятилетий остается равнодушным, и это в равной мере разжигает горечь, протест, возмущение, которые толкают молодежь на непоправимые поступки. Что касается меня, например, то мои дедушка и бабушка были распяты живыми, теток и дядей убили, некоторым прибили к подошвам ног подковы, и, по меньшей мере, тридцать человек из моей родни стали жертвами нетерпимости. И если я не чувствую никакой ненависти к нынешним туркам, то уважение к ним смогу обрести только в тот день, когда турецкий народ признает факт уничтожения армян и откроет доступ к архивам и официальным документам (которые пока что закрыты даже для не-армян), создав таким образом почву для возможной договоренности, которая сможет привести к примирению двух народов. И все-таки я боюсь, что это пожелание останется утопией и что реализовано оно может быть не ранее, чем... после 2000 года, когда не будет больше на свете свидетелей уничтожения, что избавит турецкую казну от выплаты законного возмещения родственникам пострадавших (это могло бы совершенно разорить Турцию).

Пока все еще актуально изречение Алексиса де Токвиля: «История — это картинная галерея, в которой имеется несколько оригиналов и множество копий». Я добавил бы — и невероятное количество подделок.

Через шесть лет после резни 1915 года Талаат-паша жил в Берлине. 15 марта 1921 года молодой армянин по имени Самуш Тевлерьян двумя выстрелами убил его. Даже если это и был акт террора, то тут термин «правосудие» может быть употреблен без всяких оговорок, потому что покушение было совершено на прямого организатора бойни. Так и интерпретировал это событие немецкий суд, в июне 1921 года оправдав и отпустив на свободу С. Тевлерьяна, несмотря на неопровержимые доказательства его вины.

Этот процесс стал «процессом Талаата».

Нельзя не признать за членами суда справедливости, гуманизма, понимания, которые заставили их, подчиняясь голосу совести, оправдать убийцу.

В 1923 г. была создана организация под названием «Отмщение и справедливость всем жертвам уничтожения армянского народа». Все армянские политические партии отказались от какого бы то ни было сотрудничества с этой организацией, не признали и осудили ее. Для большинства армян это порицание остается в силе и по

сей день. Если через 8 лет после убийства армян трудно было признать правомерность террора, то совершенно немыслимо искать исторических оправданий мести, выливающейся в терроризм, спустя 68 лет. Но именно это и делают армянские террористические организации — от «Тайной армии Армении» до «Организации 9 июня», не считая разных мелких групп.

Цепляясь за историю, чтобы обелить себя, они расписываются в убийствах, спекулируя жертвами прошлого и историческими договорами. Требования их таковы: освобождение армянских территорий, аннексированных Турцией (от Карса до Ардагана), освобождение курдских областей, входящих в состав Турции, создание Армении (для одних, — социалистической, для других, — христианской), освобождение «бойцов тайной армии» армян и курдов, заключенных за террористические действия в тюрьмы на Западе, а именно: в Швейцарии, где терроризм особенно разгулялся.

Несправедливость и историческая неблагодарность, потому что если в Европе лишь отдельные государственные деятели, писатели, ученые после избиения 1895 года подняли голоса в защиту армян, то одни только швейцарцы предприняли широкую *всенародную* акцию протеста. В 1896 году потрясенные злодеяниями жители Швейцарии подали в Федеративный Совет петицию, *подписанную 433.080 лицами*.

Сценой многочисленных покушений «мстителей» стали Афины. Но если многие страны, нехотя и принимали армян, одни — сопровождая этот прием многочисленными административными придирами, другие — требуя обязательного письменного поручительства, то только Греция приняла их без всяких ограничений и формальностей, несмотря на значительный наплыв собственных своих граждан из Болгарии и Турции, несмотря на шаткое экономическое положение и хроническую бедность, и приняла тепло, предоставив армянам надежное убежище и права, равные правам греческих граждан. Неблагодарность!

Эта историческая беспамятность порождает сомнения в «чистоте программы», иногда забывчивость кажется по меньшей мере странной. Как понять, что в «программе» освобождения Карса и Ардагана пропущена Нахичевань? Ведь в Севре, на мировой конференции в январе 1920 года, договором, который подписан всеми сторонами, в том числе и Турцией, Армения признана всеми как «свободное и независимое государство» (§ 88), площадью в 85.000 км² и с выходом к морю.

Границы Армении были определены 22 ноября президентом Вильсоном, и там значились Карс, Ардаган и Нахичевань (ныне Нахичеванская АССР). Американский сенат отказался ратифицировать договор, выразив недоверие президенту Соединенных Штатов, но это другой вопрос...

Ни в одной листовке, заявлении, ни в одном требовании этих групп не фигурирует освобождение армянских территорий, входящих в состав СССР. Почему?

Разве Армянская ССР не является неотъемлемой частью исторической Армении?

Никогда эти «мстители» не возмущались по поводу арестов соотечественников в Советском Союзе (а арестов там, видит Бог, было много). И что, разве десятки и десятки тысяч армян, погибших в советских лагерях, недостойны их слез?

Поразительным было их молчание, когда Завен Багдасарян, Акоп Степанян и Степан Затилян, якобы совершившие 8 января 1977 года взрыв в московском метро, были 30 января 1979 года расстреляны, и суда над ними (открытого) не было. Ведь виновность этих троих не только не была доказана ясно и неопровержимо, но, по крайней мере, одного из них, Затиляна, как подчеркнул лауреат Нобелевской премии Мира, академик Сахаров, объявивший голодовку в знак протеста против этой чудовищной казни, — по крайней мере, одного из них в этот день просто не было в Москве!*

Не мешает напомнить, что Затилян в 22 года был судим за правозащитную деятельность и 5 лет, с 1967 по 1972, провел в концлагере.

Казнь трех армян — это были первые выстрелы московских Олимпийских игр... кровавое предупреждение.

Как понять молчание «патриотов» по поводу диссидентов Советской Армении? А ведь Национальная освободительная партия отметила 16-ю годовщину своего создания. Нерадостная годовщина. 16 лет жертвенности, героизма и длинный мартиролог. И теперь патриоты Армении подвергаются лагерной пытке. Притом эта организация требует свободного выхода Армении из состава СССР, апеллируя к 17-й статье Конституции, которая предусматривает такую возможность.

* Для сравнения — западные страны отзывали своих послов, когда в Испании за террористические акты было казнено 5 человек. По отношению к СССР — ничего подобного никогда не практиковалось.

Для НОП, как и вообще для демократического движения в Советском Союзе, насилие неприемлемо, террор отвратителен, несовместим с целью движения — добиться уважения к личности человека. Организация настаивает на проведении в Армянской ССР всеобщего опроса и голосования в соответствии со статьей 49 Конституции. Ввиду поставленной цели организация настаивает на праве печатать и распространять листовки, призывающие к проведению национального референдума (с участием армян, живущих за пределами СССР), что предусмотрено статьей 125-й и уже упоминавшейся статьей 49-й. Фактически и по сути НОП гораздо ближе к Национальному фронту, чем любая политическая партия, ибо все армяне, без различия политических и религиозных взглядов, где бы они ни были, могут стать ее членами.

С 1974 года НОП не является больше подпольной организацией, она распространяет газету «Маяк» и другие печатные материалы: «За родину», «Голос НОП», «Молодой армянин». Тиражи колеблются между 3-мя и 10-ю тысячами экземпляров.

В лагерях находятся сотни политзаключенных-армян (даже если приговор они получили по «уголовным» делам — в качестве верующих, за помощь политзаключенным и их семьям, как члены Хельсинкских групп или Комитетов по защите прав человека и т. д.). 5 декабря 1976 года — в День Конституции — политзаключенный Р. Маркосян, опираясь на Конституцию, направил Брежневу из лагеря, где он находился, следующее заявление: «...Тот факт, что сегодня члены НОП находятся за колючей проволокой лагерей или в тюрьмах, позволяет сказать, что в тюрьму заключены статьи 17, 49 и 125 Конституции СССР...»

Неизвестно, сколько армян заключено в психиатрических больницах. Во всяком случае, не меньше 87 членов НОП оказались за оградой «духовного Освенцима», каковым являются эти принудительные заведения...

Создание НОП на десять лет опередило создание других подобных групп в Советском Союзе. Ни по размаху, ни по уровню с ней не может сравниться никакая другая того же типа диссидентская группа в Советском Союзе.

В Мордовском лагере политические заключенные объявляют голодовку в знак солидарности с НОП. Эти политические заключенные — русские, украинцы, литовцы, евреи, такие, как Солда-тов, Осипов, Стус, Попович, Коренблит, Пенсон, Сеник, Шабатура, Стасив, Калынец, Садунайте, Хейфец, Юшкевич, Черновил, Овсиенко — участвуют в борьбе за независимость Армении, держа

голодовку в лагере, где хронический голод и болезни превращают их в полускелеты!.. И ни малейшей реакции со стороны «освободителей».

Второй раз арестовывают режиссера с мировым именем — Параджанова. Новый арест армянского режиссера вызвал демонстрации протеста во многих столицах свободного мира. Гробовое молчание «мстителей»!

Французская секция Международной Амнистии занимается делами двух членов НОП, Азада Аршакаяна и Ашота Навасардяна, вторично арестованных за попытку воспользоваться свободой слова, что ни в коем случае не противоречит международным соглашениям, подписанным Советским Союзом. Международная Амнистия требует у советского правительства их немедленного освобождения. «Освободители» молчат!

Имена армянских патриотов, членов НОП: Хачатурян, Искандерян (умер в тюрьме КГБ в Ереване), Шахвердян, Маргарян, Маркасян, Зограбян, Аракелян, Баладян, Карапетян, Мартиросян (всех не назовешь), — которые томятся в тюрьмах КГБ, ничего, очевидно, не говорят «патриотам», замыкающимся в молчании, когда речь идет об их соотечественниках, и громко протестующим, чтобы добиться... освобождения «политических заключенных» — террористов-курдов и освобождения курдских областей, входящих в состав Турции! Но ведь курды более чем активно участвовали в уничтожении армян!!!

Парадокс, можно было бы сказать, но это лишь мягкий эвфемизм для обозначения темного дела.

Гробовое молчание обо всем, что касается советского коммунизма, не может быть случайно. Я глубоко убежден, что большинство членов террористических организаций — это просто мальчишки, замороженные «благородством священной миссии», ослепленные пагубным чувством мести и не видящие ничего вокруг, кроме «единственного объекта» их злопамятства — Турции. Дерево, за которым не видят леса, «романтика» заговора, обаяние опасности, детская безответственность, беспредельное легкоеверие, бессознательное подражание «герою»-революционеру из кино, слово «правосудие», которым заменяется слово терроризм», — все это сделало из них легкую добычу для профессионалов насилия, которые увлекают их за собой в порочный круг, где одно преступление неизбежно рождает следующее, превращая мальчиков в гнусных преступников. Хотят они того или нет, известно им это или неизвестно, но манипулирует ими через посредников КГБ, в руках которого сосредото-

чены нити дестабилизации Запада и который использует международный терроризм в своих целях.

Возможные последствия

Теперь можно констатировать, что серия покушений — от Лос-Анжелеса до Мельбурна, их было больше сотни, — направленных против принадлежащих Турции зданий или имущества, убийство более чем двадцати турецких дипломатов — все это не могло не вызвать реакцию Анкары. Насилие порождает насилие, теперь армяне стали жертвами репрессий, что можно было предвидеть: в Марселе убит глава армянской общины Диран Хагигян. В Тегеране, с интервалом в два дня, убиты два армянских политических деятеля — Мелкон Эбмехатян и Гаик Халатян. В Бейруте была подложена взрывчатка в машину Антраника Барсамяна, он погиб от взрыва. Взорвалась бомба в Доме культуры в Марселе; была повреждена армянская церковь в Исси-ле-Мулино; была спрятана бомба в Центре благотворительной помощи в Париже. Последним по времени было покушение, направленное против Дома культуры в парижском пригороде — 16 июля 1983 г., на следующий день после взрыва в Орли: шесть человек погибло, 36 получило ранения. И чем больше будет покушений, тем суровее будет расплата, причем ни места, ни времени предугадать будет нельзя. Приходится опасаться, что кульминацией этого кровавого торга станут меры, направленные против 60 тысяч армян, живущих в Турции. Их могут сделать заложниками и будущей мишенью слепой национальной мести. И самое главное — всем «мстителям» это прекрасно известно. Возможно, чтобы отомстить за убийство армян, они хотят, чтобы лилась армянская кровь? Совершенное ослепление... или скрытая цель?

Возникают вопросы: откуда берется оружие, взрывчатка, средства, необходимые для существования террористических групп, фальшивые документы, без которых не обойтись в разъездах по всему свету, которые нужны, чтобы иметь надежную «крышу», кто оплачивает транспортные расходы и выдает «командировочные», кто платит за наем машин? Короче, кто обеспечивает их всем жизненно необходимым? На все эти вопросы ответ один: международный терроризм управляется из Москвы.

Не следует забывать, что в Южном Йемене и Ливане существуют лагеря по подготовке террористов и что они в полном распоряжении всех «национально-освободительных» движений. А в Ли-

ване и Сирии армян около четверти миллиона душ. Вербовщикам не так уж трудно найти в этом рассаднике молодежи, которая годами живет в атмосфере насилия и произвола и с младенческих лет знакома с оружием, подходящих рекрутов и отправить их на обучение в лагерь террористов в Ливане. Инструкторы этих лагерей прошли подготовку в «Академии терроризма» в Крыму или в специальной школе на станции Сходня, неподалеку от Москвы. Разве в ст. 28 советской Конституции не записано черным по белому, что Советский Союз обязан поддерживать и приходить на помощь во всех «национально-освободительных войнах»?

Если чего и не хватает в КГБ и ГРУ, то не офицеров армянского происхождения... и самолеты Аэрофлота регулярно летают из Советского Союза в Сирию.

Рост в мире армянского терроризма, руководимого и направляемого специалистами из КГБ, а вовсе не «любителями», несколько провокаций в самой Турции, подобных покушению в аэропорту Анкары, могут вызвать неизбежную реакцию, результатом которой станет новый армянский погром. Убийства армян в Турции не смогут оставить безучастной Армянскую ССР, а следовательно, и Москву. Такая ситуация позволит Кремлю обратиться к Совету Безопасности и потребовать вмешательства сил ООН, чтобы «оградить безопасность армян и курдов», вновь включив в повестку дня § 88 Договора, заключенного в Севре, и требуя, во исполнение его, создания нейтральной зоны между Турцией и Советским Союзом, под контролем ООН, и в случае необходимости... угрожая тем, что они не могут удержать советских армян от оказания помощи преследуемым братьям.

Именно к этой цели Москва и подбирается... Это и есть козырь в дипломатической игре... и особенно козырь для армии.

Все это только гипотеза, и я никак не меньше других хочу, чтобы она таковой и осталась. Цель этого «досье» состояла в том, чтобы ознакомить читателя с «армянским вопросом», но, кроме того, мне хотелось воззвать к разуму моих молодых единоверцев: не помогайте разжигать пожар, последствия которого невозможно предвидеть. Не проливайте кровь невинных. Сложите оружие, пока не поздно. Откажитесь от насилия, прежде чем вы сами не стали его жертвами. Образумьтесь.

Не делайтесь убийцами ваших братьев по крови, будучи инструментом советской экспансионистской политики.

Я обращаю свой призыв также и к туркам.

И последний, главный вопрос: кому выгодно преступление, как не обитателям Кремля?

27 июля 1983

ВЕЧЕР «КОНТИНЕНТА» В НЬЮ-ЙОРКЕ

18 сентября 1983 года в Нью-Йорке состоялся творческий вечер нашего журнала. В этом вечере приняли участие главный редактор журнала писатель Владимир Максимов, Иосиф Бродский, Петр и Зинаида Григоренко, Эрнст Неизвестный. Председательствовал на вечере главный редактор «Нового русского слова» писатель Андрей Седых. Вечер собрал многочисленных читателей и поклонников «Континента» (по сообщениям газет, примерно около восьмиста человек). Не смовшие прибыть на вечер Василий Аксенов, а также Галина Вишневская и Мстислав Ростропович прислали участникам следующие телеграммы:

Телефонограмма Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.
Париж, 18. 9. 1983

Дорогие друзья,

Крайняя концертная занятость не позволяет нам присутствовать на вечере нашего друга замечательного писателя Владимира Максимова.

Мы все-таки просим считать нас участниками этого вечера.

Вместе с вами мы рады чествовать на американской земле прекрасного писателя, требовательного редактора крупнейшего журнала русского Зарубежья, — и нашего близкого друга.

Мы признательны Володе не только за его замечательные книги, но и за создание его детища, журнала «Континент», существование которого вот уже 10 лет дает возможность подлинным писателям, артистам, художникам, как живущим на родине, так и оказавшимся в изгнании, вести диалог со своими друзьями и единомышленниками за Железным Занавесом.

Желаем тебе, дорогой Володя, еще больших успехов в твоём нелегком благородном деле.

Мстислав Ростропович, Галина Вишневская

Телефонограмма Василия Аксенова.
Вашингтон, 17. 9. 1983

Дорогие друзья,

Я очень жалею, что из-за срочной работы не могу присоединиться к вам, чтобы приветствовать Максимова.

Мы с Володей не только принадлежим к одному литературному поколению, но и немало вместе каши съели.

Кто думал тогда, под морозными московскими лунами, в окрестностях ресторана «Звездочка», у Преображенской заставы, что Максимов будет завезать к Аксенову в Вашингтон по дороге из Рио-де-Жанейро в Париж?

Мне нравится ощущать в книгах Максимова радость одинокого и вдохновенного романиста.

Радость романа поднимается над горечью нашего изгнания.

«КОНТИНЕНТ» — это тоже огромный максимовский роман. Дай Бог нам всем увидеть его на книжных полках России.

Василий Аксенов

Запад — Восток

Валерий В а л ю с

НЕСКОЛЬКО ПЕРЕПЛЕТЕННЫХ ТЕМ

Темы вполне житейские: куда податься, чем платить, к кому прислониться, как развернуться.

Для эмигрантов из СССР они (в западных вариациях) начинаются прямо с Вены, с аэропорта или какого-нибудь пансиона, где запах бульона и объявление на русском языке: «Господа, курей на кухне не варить!»

Темы длятся сначала по недоразумению, казалось бы, а потом оказывается, что они не только не оканчиваются, но и не могут окончиться, потому что это и есть жизнь на Западе, не вся, конечно, но, тем не менее, вполне фундаментальные ее части. Вот так, весомо и даже как бы торжественно, однако в соответствии с житейскими, названными выше: национализм, благосостояние, демократия, свобода.

Они тесно связаны между собой, и, чтобы получилась мало-мальски цельная картина, приходится браться сразу за все вместе. Я эмигрант и пишу с позиции эмигранта, приземленной или возвышенной, уж как выходит. О самом себе писать тоже буду — для краткости и ясности, чтобы показать угол зрения, под которым отчетливо увидел, о чем рассказываю. Хотя ни моя позиция, ни сам я в этих описаниях не важны — это просто прием подачи материала, так мне сподручнее.

На научность, историчность и, разумеется, полноту описания не претендую. Просто информация: об очевидном, банальном дальше некуда для эмигрантов на Западе, но я обо всем этом понятия не имел, когда

выскакивал в свободный мир, — в Союзе это, мягко говоря, известно мало.

Новостями последних лет, с тех пор как эмигрировал, я здесь и ограничиваюсь. Тем самым откровенно отказываюсь постоянно сравнивать Запад с Востоком: какие здесь колбаски — какая там весна, какая здесь тоска — какой там режим, например. Я не кидаю на весы: «ехать или не ехать» — уже уехал.

Вообще-то сравнивать необходимо. И выводы делать. Пропаганда — общественно полезная работа, уважаемая как здесь, так и там, но я о другом пишу — тоже можно. Пропаганда ведь касается не всех тем, у нее свои цели, и две пропаганды (восточная и западная), и двадцать две (добавьте Китай, Албанию, Аргентину..., что хотите) со всеми их мощными средствами информации остаются всего лишь самими собой: рядом находятся темы, для них не подходящие, которые в пропаганду не помещаются и потому просто оставлены.

Я не рассчитываю, что эти описания вызовут у кого-либо «эффект присутствия», — увы, сам привык здесь как-то обходиться без этого эффекта.

Прием в страну

Часто, только приехав на Запад по израильской визе, эмигрант узнает, что существует проблема приема в страну. В СССР он познакомился с проблемой выпуска. На Западе ее нет. Но в Вене (так было раньше) или Риме (теперь) он минимум несколько месяцев живет без права на постоянное пребывание и без права на работу. Ждет, когда страна, в которую он подал документы, разрешит ему въезд. Или не разрешит. Исключение — Израиль. Он принимает быстро и всех желающих. Почему это так, разъяснять сейчас не берусь.

Существует, правда, другая проблема — посылка вызова из Израиля в СССР. Скажем, приходит эмигрант в Вене в Сохнут, видит ящик, на котором написано «Для вызовов», достает из кармана, предположим, 20 адресов, которые ему дали знакомые (дали по секрету от окружающих, чтобы сократить нелегкое время, когда уже известно о намерении человека уехать, а визы у него еще нет). Эти адреса эмигрант каким-то образом провез через границу, например, выучив наизусть, зашифровав в записной книжке или просто так — повезло. Но перед тем, как опустить адреса в ящик, он немного медлит, сознавая, какие последствия в жизни доверившихся ему людей этот простой жест может иметь, и на всякий случай спрашивает: «Это действительно ящик для вызовов?» И знающий человек (подобные тонкости узнаются быстро, и знающих людей полно в набитом коридоре) отвечает: «Да, для вызовов. С тем же успехом вы можете опустить их в мусорную корзину. Вы хоть на еврейские фамилии хотите вызовы послать? Хотя это не важно. Ведь вы сами не в Израиль едете. Иначе вы сидели бы в сохнутовской гостинице и ждали отправки, а не толклись бы здесь». Человек все же опускает адреса в ящик, хотя с тем же успехом он мог бы опустить их в мусорную корзину.

Вызов должен, как правило, устроить через Сохнут кто-то из живущих в Израиле и, как правило — поскольку большинства выезжающих направляются сейчас не туда, — сопроводить ложью: «Да, точно в Израиль». Советские трудности начинаются уже потом: вызовы не доходят, сбор документов, увольнение с работы, подача, отказ и т. п. Национальное и правозащитное движения в СССР, у которых одна из целей — свобода выезда, Израиль рассматривает далеко не всегда как своих союзников. Пресса в Израиле часто горячо обсуждает вопросы «отъезжанты и диссиденты», «почему люди едут мимо» и т. п.

Горячность, правда, не означает откровенности. Хотя выражений неприкрытой или слабо прикрытой ненависти к тем, кто едет мимо, сколько угодно. В СССР израильскую прессу, естественно, читать не могут. И проблема выглядит так: «Уже год как просил прислать вызов. Пять раз заказывал. Не доходят и все. Гебисты на почте работают». Гебисты на почте работают, конечно. Но вовсе не исключено, что заказанные вызовы не дошли даже до них.

Проблема приема, существующая в других странах Запада, относится не только к выехавшим из СССР. Это проблема и иностранных рабочих, если они захотят вдруг остаться в стране, куда приехали на заработки, или захотят привезти с собой семью, и беженцев из стран Третьего мира. И не беженцев, а обычных жителей бывших колоний, которые захотели перебраться в метрополию. И граждан стран самого Запада, желающих поменять страну. Эмигранты из восточного блока имеют даже привилегии по сравнению с иностранцами других категорий: различные фонды поддерживают их, пока они ждут разрешения ехать дальше (оплачивают жилье и дают деньги на еду), в течение 2-х лет после выезда из СССР* эмигранты находятся в статусе беженца из восточного блока, который существенно повышает шансы такое разрешение получить, и в случае отсутствия работы их не высылают обратно в СССР, а оказывают им социальную помощь (в тех странах, где она есть)**.

Какие учреждения участвуют в выдаче разрешения на въезд и какими признаками они руководствуются, эмигранты толком не знают. Важные признаки: профессия и национальность.

* Так было несколько лет назад, какой сейчас срок — я не знаю.

** Те же права имеют, согласно Международной конвенции 1951 г., политические беженцы из всех стран мира — не только из коммунистических. Особого статуса «беженца из восточного блока» не существует. — Р е д.

(Если бы знать, с какой профессией в какую страну берут, можно было бы подготовиться заранее, не может ведь спрос быть только на очень сложные профессии. А если их у человека несколько, то какую указать? Все? Главное — указать профессию, с которой принимают, или не указать ту, с которой не принимают? Страны ведь не одинаковые, не совсем все равно, в какую ехать. Помните географию? Климаты в них отличаются. История тоже, языки бывают разные. В одной уже живут ваши друзья, в другой нет никого. Когда-нибудь потом сделать правильный выбор может стать очень не просто. Планировать новую эмиграцию, не закончив одной, не хочется. И как угадать, в какой стране какое ждет будущее? Решаете не только вы, но и за вас при неизвестной конъюнктуре.)

Национальность в данной ситуации — это наличие у человека крови гражданина страны, в которую он направляется, и страна, из которой он приехал. Если из СССР — неважно, еврей вы или литовец, — статус один (фонды могут быть разные); докажете, скажем, что у вас есть немецкая кровь, — путь в Германию открыт. В Германию можно попасть из Австрии, нелегально перейдя границу*. Если у вас нет других документов, кроме визы в Израиль, то обратно в Вену не отправят. Нелегально перешедшим границу даже легче получить право на пребывание в Германии, чем человеку, получившему австрийский документ и приехавшему в Германию по приглашению. Эта благодатная несогласованность закона: границу переходить запрещено, обратно не высылают — давняя традиция. Недавно читал у Шолом-Алейхема в повести «Мальчик Мотл» историю еврейской семьи, эмигрировавшей на Запад. Начало века. То же самое: нелегальный переход границы, обратно не выслали. Правда, в этой

* Перебазировка различных фондов из Вены в Рим — отчасти мера пресечения этой возможности.

истории семья сначала пересекла границу России, что в настоящее время для них было бы исключено, а в последних главах книги описано, как они из Германии перебрались в Англию. Сейчас это было бы тоже вряд ли осуществимо.

Национальность, как страна, из которой вы приехали, также важна. Вот сцена, свидетелем которой я случайно был во французском консульстве в Штутгарте. Приходит турецкая семья за визой, хотят ехать во Францию. Ответ: «Туркам визы не даем, есть новая инструкция». — «А если бы мы были из Ирана, тогда дали бы?» — «Тогда да». Выходя, турки сильно хлопнули дверью.

Эта ситуация касается и эмигрантов из СССР. Довольно многие, приехав в Израиль, не прижились там и хотят уехать. Выехать, как правило, удастся, например, туристом. Рассказывают, правда, что это не всегда просто, но я, честно говоря, не знаю почему. Настоящая проблема — получить право на работу и пребывание в другой стране. (Приобретено гражданство Израиля, и статус беженца автоматически потерян.) Если вы не знаменитый профессор или незаменимый специалист в вашей узкой области и вас не ждет работа, так называемый «гарант», а вы обычный человек, то эта проблема, как правило, неразрешимая.

Израильтяне, желающие уехать в другую страну, часто с тоской рассказывают о тайном сговоре правительства Израиля с правительствами других стран, чтобы людей с израильскими паспортами на работу не брали. Ничего конкретного они, правда, о сговоре не знают. Я думаю, что какого-либо особого сговора просто не существует. Если и есть тут что-то особое в отношении израильтян, так это, главным образом, их неинформированность о западных порядках. Израильтяне просто оказываются в статусе любого европейца. Немцы, например, довольно много ездят. Все мои немецкие знакомые, пожившие несколько месяцев

или даже лет в Греции, Индии или США, рассказывали, что требовалось продлевать туристическую визу, что это не всегда просто формальность, а если они и работали там, то «налево», как здесь говорят — «почерному», без права на работу. Или это была обычная последовательность: сначала поиск работы, «гаранта», потом поездка. До тех пор, пока длилась работа.

Я рассказал как-то своей здешней знакомой, что в Москве ради получения московской прописки, так сказать, нетуристического права на пребывание в столице, люди устраиваются на лимитную, пусть даже не соответствующую их склонностям и способностям работу или женятся по расчету, фиктивно или даже реально. Она удивилась: «Я думала, это только у нас бывает».

Национализм Европы — «исторического центра цивилизации» — был для меня шоком. Я был как бы заморожен словом «цивилизация», будто упакованы в это понятие все лучшие достижения человечества, а все, что творилось в истории, к текущему времени как-то кончилось.

До эмиграции отношение к национализму было у меня простым и отрицательным: или это зло, причем временами активное, или если с претензией на усвоение буддистской либо какой-нибудь другой мудрости, что зло есть лишь тень добра, нехватка света, то национализм — невежество, узость взглядов, косность. Это отношение сформировалось в детстве: мальчишеской случалось драться. Удар кулаком, полученный, например, по носу, способствует формированию представления о том, что в мире существует зло, причем как активное начало. Это уже фундаментальное открытие. Да я и сам дрался со злостью, так что собственные переживания это открытие подтверждали. Когда драки сопровождаются антисемитской руганью, то вырабатывается просто павловский рефлекс: анти-

семитизм — проявление зла. Поскольку драки частенько были нечестные — один против нескольких, то добавляется новое свойство: зло — это не только больно, но и несправедливо. Тем более, что в отличие от кулаков, ругань относилась уже не только ко мне, но и к моим родным.

Я не думаю, что требуется особая интеллектуальная изощренность, чтобы признать, что антисемитизм не есть нечто абсолютно исключительное, что другие виды национальной вражды не лучше. Правда, это все же интеллектуальное заключение, не столь быстро и безотказно действующее, как условный рефлекс на антисемитизм. Добавлю еще, что я не только еврей, во мне смешано несколько кровей. Националисты редко одобряют смешанные браки. А я вот одобряю и то, что мой папа женился когда-то на моей маме (и брак бабушки с бабушкой, кстати, тоже одобряю), и то, что я родился от этого брака, как бы разные националисты к этому не относились. И мой собственный брак с женщиной любой национальности уже никак не может быть не смешанным.

Этим, в общем-то, исчерпывалось мое отношение к национальному вопросу. Я прожил бы с ним, наверное, до конца дней. Но эмиграция заставила взглянуть на национализм с новых сторон. Непосредственное знакомство в «центре цивилизации» с государственным, бюрократизированным национализмом не потребовало изменения отношения к национализму. Вполне достаточно оказалось изменить отношение к цивилизации. На уровне условного рефлекса изменения уже заметнее. Просто при знакомстве, услышав с первых слов, что немецким я владею далеко не в совершенстве, собеседник практически всегда задает серию вопросов: «Из какой вы страны? Как выехали? Были ли в Израиле?» Расценивать эти вопросы можно по-разному. Например, что для европейцев важно идентифицировать человека по национальному признаку (что в об-

щем-то верно), или как искренний интерес к моей судьбе, или как поиск общей темы разговора. Но это происходит так часто, что каждый раз внутренне подтягиваться, как в СССР при аналогичном, хотя бы даже и вежливом вопросе: «А вы, простите, какой национальности?» — просто невозможно. К тому же, наверное, расслабляет общее чувство безопасности жизни здесь, нет уже былой формы.

Попав на Запад, где другой ландшафт, климат, другие леса, реки, другая архитектура городов и деревень, другие законы, деньги, привычки, воспитание, язык, даже внешний облик людей, я остро ощутил себя русским. Наверное, впервые. Существует наследие неотъемлемое, и часть его можно назвать национальным. Русский писатель в Израиле пишет: «Мы — поколение коммунальных квартир», — или другой: «Мой мир — русский язык». Понятно и близко. Землей, например, как частной собственностью, передаваемой по наследству, нынешний эмигрант из СССР никогда не обладал, и, тем не менее, земля, на которой он жил, — часть этого наследия. Она в его языке, привычках, строе мыслей, памяти.

В Германии часто приходится слышать сожаление о «потерянной национальной идентичности немцев». Это немцы говорят о самих себе. Звучит не слишком понятно, а объяснения и того туманнее, в случаях, когда не сводятся к безоглядному обвинению американцев во всех недостатках Германии.

Американцев ругают часто, по поводу и без, такие здесь обычаи, обосновано, нет ли — не знаю. Звучит примерно так: это они, американцы, поставили промышленность Германии на ноги, т. е. на рельсы, дали направление, и теперь катится она куда-то сильно не туда, кока-кола повсеместно — это же просто яд, Мак-Дональд (ресторан по американскому образцу) и кетчуп, в то время как намного полезнее есть чеснок и

т. д., с повторами, конечно, но для слушателей, видимо, всегда освежающе.

Разговоры о потерянной «идентичности» немцев богаты оттенками: признание, воспоминание, раздумье, поиск. И в первую очередь — намек на простой, но болезненный факт. Во времена Гитлера был отчетливо сформулирован немецкий тип — в какой мере он был вызван к жизни режимом Третьего Рейха и в какой степени существовал независимо, судить не берусь. Но огнем, кровью, насилием — короче, войной он был впечатан в сознание других народов. Опять же не знаю, какие душевные процессы у немцев это прошлое сейчас вызывает. Но когда они путешествуют, то видят, что отношение к ним в значительной степени определяется их национальностью. Например: «Немцы — фашисты». Бывает, правда, и так: «Немцы? Здорово. Молодцы. Хайль Гитлер!» Или у них предполагаются черты характера, который обычно определяют словом «авторитарный». В явном виде о фашизме при этом может и не говориться. Но немцы в таких случаях, как правило, чувствительны и знают, что разговор может получиться неприятным. Термином «авторитарный характер» пользовался Эрих Фромм (может быть, он и ввел этот термин, я не знаю), когда анализировал желаемый тип личности в системе воспитания при нацизме*. «Потерянная национальная идентичность» означает не потерю, а малую привлекательность, в частности, для самих немцев представлений о них. Ни французы, к примеру, ни англичане, ни даже жители маленького Люксембурга о потерянной национальной «идентичности» не говорят. Недоуменно спрашивают: «А что это такое?»

Как бы ни обстояло сейчас дело с фашизмом, считать его частью национального наследия немцев или нет, считать его уничтоженным, или тлеющим и жду-

* Э. Фромм. Страх свободы.

щим своего часа, или только программой небольших существующих ныне групп экстремистов, политически бессильных, — он был попыткой радикальным образом утвердить немцев привилегированной нацией. А системы привилегий, как правило, сложные, существовали испокон веков и существуют ныне повсеместно. Некоторые привилегии естественны и справедливы, другие — не очень или совсем ни естественны, ни справедливы. Язык, например, — естественная национальная привилегия. Незнание или плохое знание языка резко ограничивают возможности. Привилегии, которые дает человеку хорошее владение языком, приобрести взрослому эмигранту довольно сложно: нужно много работать — учить его. Но есть привилегии, добиться которых и воспользоваться которыми, казалось бы, намного проще. Например, деньги.

Что такое шиллинг?

Высокий уровень жизни на Западе общеизвестен. Не только по западной пропаганде. Он очевиден каждому туристу. Изобилие продуктов и товаров, причем по доступным, в общем-то, ценам, поражает, а иногда даже подавляет — хочется купить все, а это, увы, невозможно. И когда кто-либо из местных знакомых приглашает в гости, то разница в достатке по сравнению с СССР тоже очень заметна. И, тем не менее, эмигрантов тут ждут ошарашивающие неожиданности: острая нехватка денег и утеkanie их сквозь пальцы, намного более непонятные, чем в СССР. Зная, что такое шиллинг, вы примерно знаете, что такое марка, франк, доллар или фунт. Но, зная, что такое рубль, вы не знаете, что такое шиллинг, марка и т. п. Система цен здесь совсем иная. Значительная часть разговоров в эмигрантских гостиницах и пансионах в Вене — о деньгах: что же такое шиллинг. Вплоть до недоумения: кого же выпускают из Союза, как мельчают люди,

попав на Запад, — они оставили там все, а здесь со страстью обсуждают гроши. Но, что такое шиллинг, долгое время действительно непонятно, а знать необходимо, просто чтобы выжить.

Прикинем, какие представления о зарработке на Западе может иметь человек в СССР. Возьмем умеренный заработок. Например, чернорабочим в фирме, где я работал, в основном, вместе с другими иностранцами, поскольку немцы не очень-то льстятся на такой заработок, я получал 1400 марок в месяц, чистыми, после вычитания налогов, страховок, всего, что здесь положено, пусть известно, что налоги большие, хотя в СССР это неизвестно. Официальный курс, скажем: 1 марка равна 30 копейкам. Множим, получаем 420 рублей в месяц. Цифра впечатляет, особенно человека, который, как я, должен покопаться в памяти, чтобы припомнить периоды, когда получал в СССР более 150 рублей в месяц. А ведь я не был там бедным. Но это официальный курс — надо полагать, советское государство себя не обижает, меняя туристам деньги. Какова же в рублях реальная стоимость предметов, которые привозят с Запада? Курс «черного рынка»: 1 марка — от 2 до 3 рублей. Умножаем и получаем месячную зарплату чернорабочего минимум 2800 рублей. Мыслимо ли это? Какая там безработица? Пусть я буду 90% времени безработным, а не 5 или 10% в среднем, как статистика говорит, и то дай Бог каждому так жить.

Дело в том, что этот расчет неверен. Точнее, он верен в случаях валютных операций: для фирм, торгующих с Советским Союзом, для туристов, привозящих в Союз барахлишко. Приблизительно верен для иностранных рабочих, зарабатывающих деньги в одной стране, а расходующих в другой. Но для жителей Германии или Австрии, так же, как для эмигрантов, приехавших в эти страны жить, расчет неверен.

Для одного специфического случая я попробую дать объяснение. Люди, отпущенные из СССР в эмиграцию, часто хотят перед отъездом поменять нелегально рубли на марки, чтобы на первое время там, в незнакомом мире, были деньги. Это пытаются делать не обязательно только богатые люди, при эмиграции распродается практически все имущество, и родные в таких случаях стараются помочь, и, хотя стоимость выезда сама по себе не маленькая, ко времени выезда часто бывают деньги сверх того. Сам обмен сравнительно безопасен: перед отъездом отдают рубли знакомому, а знакомый этого знакомого, скажем, его родственник, который уже находится за границей достаточно давно и устроен, отдает деньги — марки или доллары — выехавшему человеку. Деньги при этом меняют по курсу черного рынка. Люди, отдающие рубли, рискуют, радуются удаче, но не сознают, что разоряются или разоряют близких, давших деньги. Дело в том, что на Западе до тысячи марок на человека в месяц уходит без излишков на оплату жилья, еды, телефона, почты и самых необходимых перевозок или поездок. (Пересчитайте по курсу «черного рынка»!) Это обычный эмигрантский уровень, который надолго. Ниже спускаться можно, но это означает, что кто-то (организация или человек) дал вам бесплатный кров или бесплатно кормит и поит, а фактически уровень существования остался прежним — сравнивая с СССР, где-то около 150 рублей в месяц. Со всеми оговорками, что куры тут дешевле трески, а апельсины дешевле картошки, или, выражая то же самое иначе, треска дороже кур, а картошка дороже апельсинов, и что все тут есть, и без очереди, и свежее, и красивое, но, с другой стороны, нет возможности эмигранту где-то постоять и взять намного дешевле, пусть и не так красиво вымытое, а жилье тут стоит — не только платить, думать об этом обидно, и билет на трамвай — 2 марки и т. д., на

эмигрантском уровне 1 марка равна 15 копейкам от силы. У марок, которые сверх тысячи в месяц, эквивалент совсем другой — скажем, рубль: автомобили, туристические поездки, цветные телевизоры, прочая электроника, одежда, обувь и т. п. здесь дешевы, а если покупать те предметы, которые туристы возят в Союз, то и того больше. Потому их туристы и возят.

Но рано или поздно и эмигранты выходят обычно на некоторый западный уровень жизни, который выше, чем в СССР. И убеждаются в том, что жить, как ни странно, туго. Объяснить, почему это так, тем, кто остался в СССР, невозможно. Вот он пишет на родину: купил подержанный автомобиль — ну, разбогател фантастически. С интервалом в месяц совсем неожиданно: неделю не мог отправить писем, не было денег на почтовые марки, или: надо менять жилье, нечем платить — так он нищенствует. Съездил в Париж — шикарно живет. Не смог позвонить, поздравить с праздником, долги, понимаете, — неужели деньги так испортили человека, ведь раньше он не был скупым, неужели так может измениться характер? И, я думаю, каждому эмигранту временами приходит в голову мысль: «Может быть, характер действительно изменился?»

Он сознает, что через его руки проходят огромные в пересчете на рубли деньги, а живет он, тем не менее, трудно. В письмах в Россию он может объяснить, что автомобиль, мол, — это на самом деле не автомобиль, а последние штаны, просто они так выглядят — с колесами, мотором, мягкими сидениями, если их не будет, то останется голым, на работу не на чем будет доехать (в США это часто действительно так) или без машины просто уволят, никуда успевать не будет. Но уже писать о том, что скромно поужинал с девушкой в кабачке и заплатил всего 50 марок, он будет только, чтобы пустить пыль в глаза — загулял, братцы, вовсю. Пусть там ахнут. Но скорее всего пи-

сать не будет, постыдится своей сытости. Ведь и он мог бы жить здесь на самом низком уровне, который, правда, сократил бы и так немногочисленные контакты с людьми: ни поехать куда-нибудь вместе, ни в кино сходить, ни в пивной посидеть. Мог бы беречь деньги и жить, как живут миллионы иностранных рабочих, как живет знакомый грек в надежде проработать несколько лет в Германии и тогда купить в Греции собственный дом, или итальянец, которого ждет невеста, и через полгода он поедет к ней не просто восьмым сыном из бедной сицилианской семьи, а на новенькой собственной машине ярко-красного цвета, или даже как немец, который вкалывает здесь вместе с женой из Чили, чтобы уехать на ее родину, купить там ранчо и не возвращаться. Нынешние эмигранты из СССР не сидят на чемоданах в ожидании, что там изменится режим и они вернутся, как ожидали некоторые эмигранты в прошлом. Возможности материально помочь оставшимся в России узкие, ну, можно послать джинсы со знакомым туристом, ну, две пары, ну, десять, это уже где-то на пределе пропускной способности «каналов». И такая помощь рискованна для тех, кому предназначена, — могут посадить.

Да и сами эмигранты уехали не для того, чтобы как можно больше вещей посылать в Россию. Если бы их так заботило только материальное благополучие оставшихся близких, то, наверное, проще было бы не уезжать навсегда. Виделись бы, по крайней мере.

Торговлю с Советским Союзом без всякого страха быть посаженными вполне официально и широко ведут западные фирмы.

Давным-давно, как повествует сказка «1001 ночи», приехал купец на остров, где не было кошек и было много мышей. Он очень выгодно продал корабельную кошку. С той кошки дела у него пошли в гору, пока не приключилось какое-то очередное несчастье. И Миклухо-Маклай, когда поплыл в Полинезию, взял с собой

много стеклянных бус и железных топоров. Для обмена на бананы и для завязывания дружеских отношений. Я часто слышал мнение, что «высокоразвитым» странам Запада выгоднее торговать со странами подобными им, чем со «слаборазвитыми». И при этом выгоднее, если в стране демократический режим, а не диктатура. Иногда объясняли это с цифрами в руках: товарооборот Германии с Францией, например, больше, чем с Турцией. Или ошарашивали сообщением, вроде: «Экономисты подсчитали, что американским рабочим невыгодно, когда где-то есть несвобода»*. Я не знаю, что считали эти экономисты и каким образом из их расчетов выпала история колониализма. И работорговля, например. Наверняка некоторые фирмы не могут торговать со слаборазвитыми странами, тем не нужны сложные машины или нечем платить за них. Но зато другие фирмы могут дешево купить кусок земли на берегу океана и построить отель; или использовать дешевый труд местных рабочих, привезя свое оборудование. Невыгодно может быть также банкам, когда страна не в состоянии выплачивать проценты по предоставленным кредитам. Но это уже перекося, финансовый просчет. Сами кредиты банки предоставляли из вполне экономических соображений. Пусть даже товарооборот небольшой, но кто же из экономических соображений откажется с небольшими деньгами, вложенными в дело, получать большие доходы просто из-за разницы в системах цен. А на тот случай, если разница в ценах вызвана и поддерживается тоталитарным режимом, существуют соглашения о невмешательстве во внутренние дела.

Советский Союз и развит не слабо, и цены там совсем другие, чем на Западе, так что торговать с ним как можно шире заинтересовано очень много фирм.

* Этот лозунг привел мне в качестве аргумента служащий американских профсоюзов. Поэтому тут рабочие — американские.

Недавно в Германии прошли выборы. В предвыборной кампании ни одна из пяти крупных партий не ставила под вопрос торговлю с СССР. Иногда подчеркивали, что в планах партии нет контроля так называемых «девизов» — внешней торговли по безналичному расчету (топоры на бананы). Одним из самых острых вопросов в этой же кампании был вопрос о вооружении, разоружении, гонке вооружений, установке в Германии американских ракет, борьбе за мир — не знаю, как назвать. Связь между торговлей с СССР и ростом советской военной мощи не обсуждалась. Невозможно представить, что эта связь неизвестна. На протяжении многих лет она определяла отношения с СССР — в период «холодной войны». Но в средствах действительно массовой информации на эту тему было полное молчание. В телевизионных интервью с ведущими политиками всех крупных партий — ни звука. Как будто существуют запретные темы, провалы в общественном сознании, цензура средств массовой информации. Я не знаю механизмов этого явления, Главлита ведь здесь нет — может быть, это финансовая заинтересованность, конъюнктура, интрига, круговая порука, борьба за место под солнцем. Но что в средствах массовой информации освещается борьба далеко не всех идей — это точно. Может быть, у каждой темы есть своя история взлета и падения. Как в голливудском фильме о том, как молодая, красивая, талантливая статистика, одна из тысячи, становится кинозвездой. Только в кино от начала до конца два часа максимум и хэппи энд к тому ж.

В малотиражных изданиях обсуждают иногда связь торговли с СССР и гонки вооружений, называют какую-нибудь фирму, продавшую СССР что-нибудь уж совсем военное. Или кто-нибудь из известных диссидентов из Союза скажет вдруг во всеуслышание бестактность в адрес Запада. До предвыборной кампании даже в телевизионной передаче, посвященной газопро-

воду из СССР, этой темы коснулись, но характерным образом. Выступал профессор, специалист, наверное, историк — он процитировал слова Ленина. О том, что капиталисты продадут СССР веревку, чтобы Советскому Союзу было чем их удушить. Выступавший не разделял мнения Ильича, причем сомневался не в том, что продадут веревку, а в том, что удастся удушить.

В обыденных разговорах случается услышать: «Мы продаем им детские игрушки, а они делают из них ракеты». Более сведущие люди, скажем, переводчики на русский (подавляющее большинство переводов — технические), знают, что эти игрушки — современные станки и машины, поточные линии, иногда целые заводы, к которым вполне подходит термин «стратегическое оборудование». Конкуренция среди переводчиков огромная. Среди фирм, видимо, не меньшая. Платят хорошо. Эмигрант, когда-либо что-то делавший руками, подолгу простаивает перед витринами магазинов с инструментами, дивится разнообразию, прикидывает свои возможности и знает, что даже горсть гвоздей здесь довольно дорогая. Что же говорить о станках-автоматах.

Я хочу пояснить смысл слова «конкуренция». Мысленно полемизируя с моим другом, который говорит, что немцы зажрались колбасой, что у них ее 150 сортов, но им мало, им нужен 151 сорт и для этого они торгуют с СССР, я воспользуюсь его примером. Если я получил технический перевод — скажем, описание станка, который рассверливает оружейные стволы (т. е. не обязательно стволы, но может рассверливать и их) и уже упакован для отправки в СССР, напрямую в Тулу*, то я действительно могу себе позволить любой из 150 сортов колбасы. Если перевод описания

* В Туле делают знаменитые самовары. Может быть, на Оружейной улице или на Пушечной, в этом городе большая часть улиц названа подобным образом.

станка достался другому, то с голода я, конечно, не умру, есть социальное обеспечение. Но это и не означает, что я вынужден буду довольствоваться 149 сортами. В моем распоряжении в таком случае будет только один сорт, правда, разнообразный — колбасные обрезки. Или как люди, кушающие именно этот сорт, деликатно между собой его называют «ассорти колбасное».

К тем, кто побогаче, это тоже относится. Скажем, к президенту США. Например, санкции Рейгана на поставки оборудования для газопровода СССР — Западная Европа привели к тому, что заказ на поставки СССР турбин перехватили у Америки фирмы других стран. При этом две американские фирмы сразу потеряли много миллионов, а президенту пришлось свои санкции отменить (я перечисляю события, а не цитирую опубликованные в газетах объяснения причин отмены санкций). Выбор у Советского Союза есть, ключик от свободной конкуренции в значительной степени в его руках, он может не только торговать, но и воспитывать, даже президентов, пусть не непосредственно, так через фирмы, шум в прессе, реакцию политиков в других странах. Рейган — президент необычный. Все же он вводил санкции. Поведение политиков европейских стран было несравненно типичнее.

В личном плане эмигранты, как правило, заинтересованы в «разрядке», считают, что она — к лучшему. Такая точка зрения была у них сформирована еще в СССР, и сейчас она совпадает с политической концепцией Запада. Даже многотысячные демонстрации за одностороннее разоружение Запада их скорее удивляют, чем тревожат: речь идет о ракетах, направленных на их родину, там остались родные и близкие — странно, если бы они хотели увеличения числа этих ракет. Туризм, сопутствующий «разрядке», дает шанс передать привет в Россию, обменяться неподцензурными письмами или послать подарок. Иногда и рабо-

та перепадает, например, перевод на русский. Насколько трудно, если не невозможно, осуществлять принцип «не работать на советскую власть», даже если человек хочет его придерживаться, они знают по жизни в СССР. И на Западе они это делают в меньшей мере, чем там.

Осуждают торговлю Запада с СССР единицы. Запад, со всевозможными страховками, интенсивным рабочим временем, пресыщенностью любым шумом, привычкой к абстрактной игре словами, скукой и огромным рынком удовольствий, оставляет без ответа их моральные суждения и предсказания конца света. Политикой здесь, конечно, интересуются, но главным образом отношениями между партиями внутри страны.

Местная экзотика

Где здесь «лево», а где «право», эмигранту приходится учиться. Не то что бы это определяло отношения с людьми или выбор друзей. Слава Богу, это не так. Неожиданную помощь случается получать как со стороны «левее» некуда, так и совсем «справа». Точно так же, как подножку от тех, кто близок, в обидном, оскорбительном, отвратительном согласии с правилами конкурентной борьбы (какая тема!). Но знаменитая местная экзотика — демократия, в которой есть «левые» и «правые» силы, интересна и не всегда понятна. Например, «разрядка» — это оказывается и «справа» и «слева», «американцы — вон!» — это больше «слева», а «иностранцы — вон!» — это, видимо, «справа».

По смыслу демократия — «народовластие». Западная Европа не оставляет в этом сомнений. С тем, что нужно подавляющему большинству, дело обстоит поразительно хорошо. (Как же они «умеют жить»! Есть, пить, одеваться, раздеваться, обставлять жилье, подстригать газоны, ездить на машинах, растить розы, кататься на горных лыжах, играть в теннис, ле-

жать на пляже, фотографироваться у памятников и так далее без конца. И застрахованы со всех сторон как только можно.) Приоритет общечеловеческих — банальных — потребностей очевиден. Но есть в жизни проблемы, по которым мнения у людей заметным образом разделяются. Пусть таких проблем 10. Я перечислю, к примеру, чтобы убедиться, что их 10 и больше: 1. оборона, 2. налоги, 3. капиталовложения, 4. социальное обеспечение, 5. жилье, 6. энергетические ресурсы, 7. профсоюзное движение, 8. рабочая сила, 9. защита окружающей среды, 10. общественный порядок, 11. иностранцы, 12. военная или экономическая помощь... Пусть по каждой проблеме возможны только два мнения: да, нет. Скажем, вооружаться — разоружаться, повышать налоги или снижать и т. д. На самом деле даже по одной проблеме мнений добрая сотня, они распадаются на множество конкретных вопросов, но возьмем по минимуму — 2 мнения. Итого различных отношений к 10 проблемам $2^{10} = 1024$. А конкурентноспособных партий 4. Причем каждая из них определила в общих чертах свою позицию по каждой из проблем, иначе как бы партия могла претендовать на лидерство. Я бы не был так занудно дотошен с этой арифметикой, если бы не встречал здесь часто людей, уверенных, что разнообразие возможных мнений совпадает с разнообразием партий или близко к нему. (Да и сам, когда приехал, предполагал подобное.)

На самом деле, выбор партии, пусть даже только при голосовании, производится по одной, от силы двум проблемам. Об остальных восьми и более в такой ситуации нужно не думать, иначе ничего не выберете, и они превращаются в опознавательные знаки, «партийные пароли», как их тут называют: с нами или нет. Не нравится — оставайтесь сами по себе, ищите свою компанию, 2-3 друзей, вряд ли найдете больше. Будете горячиться, убеждать собеседника,

ведь мнения существуют не только для того, чтобы ими обмениваться в легкой беседе, — сочтет за настырность, отойдет в сторону, оставит одного.

В «левых» эмигрантов — ну, скажем, меня — многое привлекает. Среди них попадаются общительные люди, можно увидеть красивые оживленные лица. Сознательное противостояние обществу потребления не только высвобождает время, но и определяет их быт, часто они действительно бедны. Нелюбовь к полицейским, чиновникам, бизнесменам, политикам, военным довольно точно описывается выражением «не любят начальства». Для эмигранта из СССР ничего удивительного или сомнительного в такой нелюбви нет. Сомнителен скорее человек, который начальство любит. Даже презрение к американцам в этом плане понятнее. Американцы в Германии — часто начальство. Убеждение, что крупные предприятия и учреждения в своей работе дают «побочные», не контролируемые эффекты, противоречащие смыслу их собственной деятельности и опасные, на мой взгляд, просто верно.

(Это направление общественной мысли разработано, многопланово, в значительной мере определяет само понятие «левый», не влезает ни в одну из пропаганд и в Советском Союзе известно лишь отрывочно. Букет «левых», в западном смысле, идей для человека в СССР или из СССР, скажем, нового и даже не совсем нового эмигранта, выглядит очень странным набором. Например: «Рост обороноспособности страны ведет к гонке вооружений и грозит стране гибелью», — ясно, это из советской газеты. «Развитие индустрии ведет к истощению ресурсов Земли и загрязнению среды», — тема несколько рискованная, известная, конечно, хотя и не в полном масштабе. «Государственная безопасность опасна для граждан этого государства», — антисоветское высказывание. Но если вы скажете: «Медицина порождает болезни, школа по-

рождает невежество, а наука — бессилие», — то к вам скорее всего отнесутся с сочувствием. Подумают: «То ли с ума сошел, то ли исповедуется невражд».)

Но вот разговор заходит о Советском Союзе и — как будто в лицо вам выплевывают разжеванную в комки передовицу «Правды». А если не «Правда» идет в ход, так разъясняют вам смысл Свободы, Равенства и Братства. И даже если слышите резкую критику в адрес Советского Союза, не спешите с выводами. Через 5 минут может выясниться, что ваш собеседник — маоист, или он начнет объяснять, вычерчивая на салфетке схемы, что коммунизм — светлая, незамутненная идея, еще не осуществленная, а то, что полмира коммунистическая и половина его собственной страны, так это не в счет, он не то имел в виду. Многие мероприятия «левых», например, многочисленные демонстрации с самыми разными требованиями, производят впечатление спланированных с оглядкой на Советский Союз. В его пользу. Но не все. Какая, например, выгода для СССР в том, что «левые» захватывают пустующую жилплощадь? Или участвуют в колоссальных демонстрациях велосипедистов против засилия на дорогах автотранспорта? А оккупацию Чехословакии или ввод военного положения в Польше они осуждают почти все.

Я редко встречал эмигрантов из СССР, которые стали «левыми». А когда эмигрант становится «правым», то это заметно и тоже странновато. Например, писатель-эмигрант сетует в своей книге на забастовки в Париже. И притом наверняка сочувствует польской «Солидарности». Как он совмещает два отношения к забастовочному движению, я не знаю. Наверное, в одних случаях руководствуется идейными соображениями, а в других житейскими. Или другой писатель критикует социальное обеспечение Запада: мол, плодит оно паразитов. Видимо, он не бывал в СССР без работы, не боялся наказания за «тунеядство», и в эми-

грации, наверное, сложилось удачно, обошелся без социальной помощи и пособия по безработице. Ну, а с друзьями-то он как же? Не у всех, наверное, так гладко.

Среди «левых» бытует твердая уверенность, что «правые» хотят очистить Германию от иностранцев. Я не берусь сейчас судить о том, в какой мере интернационализм «левых» и национализм «правых» являются убеждениями и в какой — «партийными паролями», просто так, за компанию. Но что лозунг «Германию — немцам» из арсенала «правых» — видимо, верно. И сколь бы «правых» убеждений ни придерживался эмигрант, трудно ожидать, что он разделяет и это мнение. Сам-то он кто? Тем не менее, в убеждении, что число мнений совпадает с числом партий, лепят им, бывает, и такие ярлыки. Выступал мой друг перед «левой» аудиторией. На вопрос, как он относится к молодому Марксу, ответил в таком духе, что он не знает — может быть, у молодого Маркса было человеческое лицо, а может, бесчеловечское, но нельзя сейчас при оценке его работ игнорировать страдания миллионов людей, он причастен к этим страданиям. Упомянул, наверное, 140 миллионов погибших при осуществлении Марксовых идей. Это умеренная и малоизвестная оценка для всего мира, а не только по СССР, мой друг вообще человек глобально мыслящий. И получил он на это такое возражение: «Ну, как же можно, пусть они простые рабочие, пусть турки, они ведь тоже люди, их нельзя просто так гнать вон». Особых причин для недоумения нет, просто партийное мышление: отрицательно относится к Марксу — конечно, не «левый» — конечно, «правый» — конечно, националист.

Специфически «правое» недовольство эмигрантами, оседающими в Германии, может быть, связано с вопросом о социальном обеспечении. Наверное, по статистике выходит, что эмигранты чаще прочих пользуются социальной помощью, все же иностранцы,

непривычные, и приезжают на новое место заметно налегке. Сам я, к примеру, такую статистику никак не улучшаю.

Ну, а иностранные рабочие, «гастарбайтеры»? Мнение на этот счет безусловно «справа» довелось недавно услышать в телевизионной передаче — правда, в африканском варианте. Диктатор Нигерии объяснил, если это можно назвать объяснением, почему он выслал из страны миллионы иностранных рабочих: «Среди них много уголовных преступников и контрабандистов». Контрабанда тоже является уголовным преступлением, но он ее выделил особо. В Западной Европе подобных выселений сейчас не происходит. Но о приложимости «африканских» аргументов можно подумать. Нелюбовь к уголовным преступникам не есть специфика «правых». Кроме того, трудно представить более смиренный простой рабочий класс, чем иностранцы. Они и рабочим местом дорожат больше прочих, от него зависит пребывание в стране, и возможностей «качать права» у них меньше: плохое знание языка, законов, всяких «ходов-выходов». В контрабанде тоже нет необходимости. Иностранный рабочий едет на родину, меняет заработанные деньги в банке и получает в обмен денег намного больше, чем если бы он ту же работу выполнял дома. Может быть, в этом дело? Может быть раздражают «правых» иностранные рабочие именно тем, что смеют жить бедно, копят деньги, а тратят их в своей настоящей жизни на родине, где другие цены. Фактически они конкуренты в международной торговле. Много их, много миллионов маленьких конкурентов, которые сами используют разницы в ценах и тем их выравнивают, сбивают при этом товарообмен по безналичному расчету тоже, не ведая того.

До сих пор я старался писать о многих, а сейчас хочу рассказать о некоторых и даже очень редко встречающихся людях, о художниках в широком смысле, как говорил о них Лесков, — о людях с идеями*. Точнее даже не о самих художниках, а о ситуации, в которой они оказываются. Когда-то, в моей прежней жизни там, случилось мне беседовать с соседом, писателем Абрамом Рувимовичем Палеем. Книги у него издавались со странной закономерностью — раз в 25 лет. Ко времени наших бесед издавали его в Союзе уже трижды. И однажды он рассказал, что в молодости жил в Берлине, снимал меблированную комнату. Он писал тогда стихи и даже издал сборник. Абрам Рувимович подошел к шкафу со стеклянными дверцами, взял из стопки одинаковых тонких книжечек одну и подарил мне. «Юношеские, конечно, стихи, — сказал он, — но, понимаете, я просто пошел в типографию и заказал. Никаких проблем». Я его понимал. Но сейчас отмечаю ускользнувшие от меня тогда детали: книгу он издал на свои деньги, тираж, естественно, был маленький, более полвека спустя у него оставались экземпляры — читателя не было, издание, разумеется, не окупилось. Как много, оказывается, я знал о Западе еще в России, но не думал, не обращал внимания, не верил.

Не в том дело, что стихи юношеские и, может, ничего иного не заслуживают. А в том, что в жизни каждого художника подобных примеров много: вынужденная локальность действия, отсутствие зрителя, нерентабельность — этим они мечены. Особенно если идея сильная, глубокая, еще и прозрачная — понятная с первого взгляда во всем охвате и глубине, — она же задевает многих, не дай Бог, подвинуться попросят.

* Лесков. Тупейный художник.

Профессионалы, от которых зависит успех, очень быстро схватив суть и взвесив шансы собственного выигрыша и проигрыша, превращаются, как правило, во врагов: вежливых, занятых, «незаинтересованных» лиц.

Признание и свобода — разные понятия. Если в Советском Союзе идея художника не признается, потому что там нет свободы, то это вовсе не означает, что на свободном Западе его идею допустят за версту к тому месту, которого она заслуживает. Нету на свободе свободных мест, заняты места и загорожены. Свобода здесь, в первую очередь, означает безопасность. Разница с СССР действительно разительна. Если же в таком виде свобода кажется вам скучноватой, то можете добирать острые ощущения мотоспортом или альпинизмом в самых что ни на есть настоящих Альпах. Чем-нибудь, что тут принято.

Запросы широкой публики — уже давнчо и наука, и индустрия. Посредничество — широко распространенная и часто высококвалифицированная профессия, защищенная от посяганий непричастных. Пропускная способность человеческого восприятия изучается и загружается как только можно. Человека убеждают в важности его выбора. Вот он листает рекламные проспекты и размышляет: этот шкаф или тот, нужен ли вообще, вроде пора сменить машину. Продолжать ли жить с Христианой или уйти к Барбаре. Поехать осенью в Индию или лучше в Скандинавию. Или тоньше: какую пластинку я хочу сейчас слушать, в какой бокал налить вино, зажечь две свечи или три, испытываю я сейчас к Бригитте нежность или злобу, пожалуй, злобу, надо пойти в дискотеку, до четырех утра, как в прошлый раз, в танце моя агрессивность находит выход. Или еще тоньше: чего же я хочу? Но это уже перехлест, «сверх-модерн». Тут и изучать почти нечего, и предлагать трудно.

Недавно я посмотрел два фильма, так получилось, что оба об актерах. Один о женщине, которая сначала мыкалась без работы, а потом переделалась мужчиной и добилась признания. Другой о мужчине, тоже мыкался, потом переделся женщиной и тоже добился успеха. Но не всякий художник готов в поиске зрителей налеплять своей идее женские груди или навешивать мужской член. А если даже готов — дошел до последнего, то просто не может: или идея не выдерживает украшений, перестает быть самой собой, или делает он это слишком неумело, где ему соревноваться, не его специальность.

На этом закончу — так, несколько переплетенных тем: о национализме, о деньгах, о западной свободе и совсем немного о тоске, даже не по родине, а просто. Впрочем, мне везло: встречал художников.

Мюнхен, 1983

С глубокой скорбью и верой в будущую жизнь
извещаю о смерти друга и брата

**Вадима Михайловича
ШАВРОВА**

известного церковного писателя, историка русской Церкви и апологета, храброго воина и заключенного сталинских лагерей.

Смерть последовала в Москве, 18-го сентября 1983 г., после тяжелой болезни.

Верующие! Молитесь о нем!

А. Левитин-Краснов

Факты и свидетельства

Борис Каменецкий,
Александра Александрова

ИСПОВЕДЬ ЖЕНЩИНЫ

(Из серии «Избранные»)

Со словом «исповедь» привыкли связывать нечто сокровенное, глубоко интимное, которое, однако, зачастую, преднамеренно или случайно, становится достоянием гласности.

Так в свое время, перед великим революционным взрывом во Франции, потрясла умы неслыханной смелостью и предельной откровенностью «Исповедь» Руссо. Впервые человек не в тиши исповедальни, наедине с духовником, а перед всем миром вывернул наизнанку свою душу со всеми ее страстями, пороками, стремлениями и сомнениями. А затем пришла в литературу мода: сыновья и дочери века без особой щепетильности исповедовались в своих мыслях и поступках, далеко не всегда благовидных.

Исповедь, о которой мы хотим рассказать, несколько отличается от общепринятого понятия. Это исповедь женщины, находившейся на краю гибели, исповедь, продиктованная отчаянием и стремлением заслужить помилование ценой откровения и предательства своих сообщников.

Женщина эта была вознесена так высоко на ступеньки государственной лестницы СССР, что остальные смертные ее сестры вынуждены были высоко задирать головы, чтобы узреть ее. И поэтому ее откровения — это не рассказ о личных грехах и поступках, а раскрытие сущности государственной системы.

Ядгар Насритдинова была председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, затем возглавляла Совет Национальностей Верховного Совета СССР и неизменно оставалась человеком, близким к Кремлю.

Случилось это, когда зашатался один из глиняных столпов, поддерживающих советский режим и именуемый «дружба народов».

Название центрального ташкентского стадиона «Пахтакор», где во время футбольной встречи узбекской и русской команд произошли массовые националистические и антисоветские выступления, стало символом протеста против национальной политики государства. Это была не стихийная вспышка, а заранее спланированная акция. Сотни антирусских и антисоветских плакатов и лозунгов, написанных тушью и красками, одновременно взметнулись в разных концах стадиона. Началось избиение русских зрителей, и тут оказалось, что узбекская молодежь вооружена не только кастетами, но и огнестрельным оружием. Беспорядки охватили всю республику и получили громкий резонанс по всей стране, и не только среди мусульманской части населения, потому что события того памятного дня затронули многих граждан из разных слоев.

Для усмирения беспорядков понадобилось пятнадцать тысяч милицейских и армейских сил. Стадион и его окрестности напоминали поле боя — десятки раненых и убитых.

Вечером того же дня было созвано срочное внеочередное заседание Бюро ЦК КП Узбекистана. Решено было создать партийно-правительственную комиссию по расследованию «пахтакоровских» событий. Председателем комиссии была утверждена председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Насритдинова. «Расследование» же велось фактически не комиссией, а органами КГБ, МВД и прокуратурой

Республики под непосредственным руководством зав. отделом административных органов ЦК КП Узбекистана Владимира Кадырова.

Ежечасно докладывая комиссии о ходе расследования, Кадыров прекрасно знал истинные пожелания правящей верхушки и представлял факты в соответствующем освещении. В результате, комиссия представила на Бюро ЦК КП Узбекистана «справку», в которой «пахтакоровские» события трактовались как переросшие в драку ссоры и споры болельщиков футбола, как обычные футбольные страсти и отдельные хулиганские выходки несознательной части молодежи. Для отвода глаз был возбужден ряд дел об административной и уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и убийства. Но никакой политической окраски. Так и решено было доложить Москве.

Один лишь генерал Киселев, председатель КГБ Республики, отказался подписать «справку» в подобной интерпретации. Он требовал правдивого освещения событий. Однако Бюро ЦК КП Узбекистана утвердило выводы комиссии, а в отношении Киселева был поставлен вопрос об его откомандировании в Центр как человека, «не имеющего достаточного опыта работы в национальной республике и не сумевшего разобраться в сущности пахтакоровских событий». Принятию такого решения усиленно способствовал наместник Москвы — второй секретарь ЦК КП Узбекистана Ломоносов, имевший немалые основания опасаться раскрытия истины.

Между тем не только республика, но многие города и края России продолжали бурлить. В Москву шел поток жалоб от русских граждан, пострадавших во время «пахтакоровских» событий, и от их родственников — со всех концов страны. Но, главное, генерал Киселев, обиженный руководителями респуб-

лики, направил в Кремль обстоятельный доклад об истинном положении вещей.

В предчувствии грозы заметались в панике члены комиссии по расследованию. Умер от инфаркта фактически возглавлявший «расследование» Кадыров.

Решающим толчком для вмешательства Москвы послужила телеграмма, посланная в Кремль рабочими вагоноремонтного завода — бывших ташкентских железнодорожных мастерских, предприятия с революционными традициями, сыгравшего в свое время решающую роль в победе Советской власти в Узбекистане. Большинство рабочих на заводе составляли русские. В телеграмме указывалась подлинная антисоветская суть «пахтакоровских» событий. Это был голос русского рабочего класса, игнорировать его было невозможно.

Кремлевское руководство занялось «пахтакоровскими» событиями непосредственно. Дело взял в свои руки главный идеолог — Суслов. В результате пересмотра работы узбекской комиссии по расследованию, Насритдинова была выведена из состава ЦК КПСС и освобождена от занимаемой к тому времени должности председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР.

Невесело праздновали в том году пятидесятилетие образования Узбекской ССР. Сразу же после «торжеств» в Ташкент прибыла следственная группа во главе с зам. Генерального прокурора СССР Гусевым. В эту группу вошло около пятисот лучших следователей органов КГБ, МВД, Прокуратуры СССР, РСФСР, Украины и Белоруссии. Эта «сборная», по существу, заново произвела тщательное расследование.

Наряду со студентами, участниками событий, были арестованы многие преподаватели и руководители высших учебных заведений в разных городах Узбекистана. Они знали об организованных поездках студентов на футбольный матч и о цели этих поездок.

Начал разматываться клубок, и потянулись «следственные ниточки», и тянулись они все вверх и вверх, пока не привели к отдельным руководителям республики. Были арестованы и привлечены к уголовной ответственности за антисоветскую агитацию и пропаганду, за клевету на государственный и общественный строй и организацию «пахтакоровских событий» многие идеологические, советско-партийные и судебно-следственные работники во главе с председателем Совета министров Узбекской ССР Курбановым, председателем Верховного Суда республики Пулатходжаевым и секретарем Хорезмского обкома партии Рахмановым.

Они готовили и возглавляли целую группу советско-партийных чиновников, которые должны были руководить событиями. Курбанов, например, непосредственно ведал организационной стороной: составлял списки, в которых указывалось, сколько студентов из какого города, из каких вузов приедет на матч, занимался их размещением в Ташкенте.

Рахманов подготовил напечатанные типографским способом листовки, которые во множестве распространялись на стадионе во время игры.

Когда Москва предприняла расследование, Курбанов, используя свое служебное положение, подслушивал телефонные разговоры специально присланных сотрудников КГБ о мерах по выявлению участников «пахтакоровских событий». При этом он пытался принимать свои контрмеры, но это ему не только не помогло, а ускорило его падение.

Кремль незамедлительно санкционировал арест Пулатходжаева, Рахманова и Курбанова.

Тучи сгустились над головой Насридтиновой. Ей грозило не только лишение всех титулов, но, как Курбанову и другим, — лишение свободы на долгие сроки. Она хорошо знала: ее высокие кремлевские покровители могут смотреть сквозь пальцы на явления корруп-

ции, моральную нечистоплотность, злоупотребление положением (сами тоже, небось, не святые), но жестоко карают за малейшее «отклонение от линии», за мышление не по шаблону, за все, что грозит подточить фундамент их власти и личного благополучия. Ведь то, что в других странах советская пропаганда характеризует как пробуждение национального самосознания, национально-освободительную борьбу, у себя дома трактуется как антисоветчина.

Казалось, не было для Насритдиновой выхода: пути следствия привели к ней. И тут неожиданно пришло спасение. Ее ангелом-спасителем оказался один из ответственных сотрудников Президиума Верховного Совета СССР Юрий Багдасаров.

За несколько лет до описываемых событий Багдасаров занимал в Узбекистане пост зав. юридическим отделом Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, председателем которого тогда была Насритдинова. Он имел неосторожность заполучить могущественного врага в лице первого секретаря ЦК КП Узбекистана Рашидова. В результате сложных интриг Багдасаров был снят с должности и остался не у дел.

На помощь ему пришла Насритдинова. Используя свое влияние в Москве и личные дружеские отношения с Брежневым, она сумела добиться для Багдасарова перевода в Москву на ответственный пост в Президиуме Верховного Совета СССР.

Багдасаров не оказался неблагодарным и не забыл оказанной ему некогда услуги. В силу своего служебного положения он находился в самой гуще проводившихся в ЦК КПСС работ по подготовке обвинительных материалов против Насритдиновой. Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, Багдасаров подал Насритдиновой мысль об «исповеди». И это сыграло немаловажную, пожалуй, даже решающую роль в ее дальнейшей судьбе.

Исповедь, признание своих ошибок, чистосердечное раскаяние подчиненных — ничто так не тешит душу стоящих на вершине власти. Это биение себя в грудь перед непогрешимыми правителями любезно их сердцу. Оно подтверждает их могущество, избранность посвященных в таинство, ибо только они знают, что правильно и что неправильно, как надо и как не надо (большой частью, задним числом) с точки зрения «передовой теории».

Партия охотно принимает покаянные вопли своих сынов, хоть это не всегда спасало их от гибели. Иные умирали, славословя своих палачей.

Но Насритдинова спаслась.

То, о чем она рассказала, те темные дебри, которые раскрыла, исповедуясь, высокопоставленная дама, потрясли даже бывалых «исповедников» из Политбюро. Перед ними встали картины глубокого нравственного падения, коррупции, грязного разврата и политического перерождения как норма жизни и поведения узбекских сатрапов. Спасая себя, Насритдинова не пощадила никого, включая первого секретаря ЦК КП Узбекистана Рашидова. Это был парад моральных уродств, примеры глубочайшего падения и низких пороков. Крупные партийные и государственные деятели Республики, работники суда и прокуратуры, органов МВД и КГБ, ставленники Москвы — все нашли свое место в «исповеди».

Понимая, что неприглядный моральный облик руководителей республики никого особенно в Кремле не взволнует, Насритдинова хитро и умело связала нравственную нечистоплотность правителей Узбекистана с возрастающими антирусскими настроениями среди узбекского населения, особенно среди интеллигенции и молодежи. Она доказывала, что поведение и поступки высокопоставленных товарищей, став достоянием гласности, не могли не вызвать волну возмущения.

Вспышку националистических и антисоветских настроений в Республике Насритдинова объясняла как протест широких масс.

Таким образом, выгораживая себя и умаляя свою роль в подстрекательстве против Москвы, Насритдинова сваливала всю вину на своих соратников. Она также доказывала, что возникновению националистических выступлений немало способствовала грубая шовинистическая политика ставленников Москвы — вторых секретарей ЦК КП Узбекистана Мельникова и Титова, секретаря ЦК комсомола Узбекистана Бродовой.

В свое время Мельников добился смещения первого секретаря ЦК КП Узбекистана Сабира Камалова и первого секретаря Самаркандского обкома Нора Якубова, вина которых, в основном, состояла в том, что, вопреки установке Москвы, ими были назначены на должности начальника областного управления КГБ и директора Ташкентского текстильного комбината лица узбекской национальности. С позиций грубого, неприкрытого великодержавного шовинизма вела себя с узбекской молодежью Анна Бродова. Необходимо было замять дело уличенной в недопустимом поведении Бродовой. С этой целью Мельников срочно перевел ее на должность секретаря Ташкентского обкома партии по идеологии.

Однажды ночью перед приемным покоем ташкентской психиатрической больницы остановилась машина для перевозки больных. Оттуда вышла молодая женщина в сопровождении двух дюжих санитаров. Она была растеряна и подавлена.

— Это ошибка, — без конца повторяла она, — здесь какое-то недоразумение, я совершенно здорова...

Врачи понимающе улыбались и кивали головами. Женщина осталась в палате с решетками на окнах, где вскоре умерла.

Это была жена Мельникова. Всемогуший супруг упрятал ее в больницу для умалишенных, чтобы она не мешала его сожительству с Бродовой.

Сменивший затем Мельникова Титов, следуя велению времени, содействовал созданию в Республике ташкентского «дела Бейлиса», зачинщиками которого были начальник КГБ Узбекистана Киселев и первый заместитель прокурора Республики Зотов. В результате этой, не очень оригинальной, но всегда безотказно действующей провокационной выдумки были жестоко избиты сотни ни в чем не повинных людей.

Рассказывают, что когда Сталину стало известно о сексуальных похождениях Берии, он сказал: «Тот, кто так много работает, имеет право хорошо отдыхать». Этим «великим» афоризмом и руководствовались, по-видимому, тяжко трудившиеся на благо своего народа партийные и правительственные деятели Узбекистана.

Был создан, под видом санатория, подпольный публичный дом, предназначавшийся для высокопоставленных лиц. Туда со всех концов Республики завозились тончайшие деликатесы и лучшие вина.

Одним из частных посетителей этого правительственного притона был секретарь ЦК КП Узбекистана Мартынов, присланный Москвой. Свою семью он предусмотрительно оставил в Москве. У себя дома Мартынов тоже основал целый гарем, преимущественно из стюардесс, которым щедрой рукой раздавал лучшие в городе квартиры, тогда как десятки тысяч людей в ожидании своей очереди на квартиру многие годы ютились в подвалах и бараках.

Имея трех жен, услугами правительственного притона пользовался и бывший первый секретарь ЦК КП Узбекистана, а затем секретарь ЦК КПСС и посол в Сирии Нурутдин Мухитдинов. Он часто бывал в любимившемся ему доме отдыха «Джубга» около Сочи. Туда же ему доставляли девиц из притона.

Был случай, когда понадобилось мобилизовать чуть ли не всю милицию города Кисловодска во главе с полковником Пантюховым, чтобы разыскать и утихомирить «загулявшего» Ломоносова, второго секретаря ЦК КП Узбекистана. Его нашли в обществе специально доставленных ему из Ташкента «дам». Но при этом пришлось еще разыскивать утерянные им в пьянке совершенно секретные документы.

Безнаказанным остался председатель узбекских профсоюзов Нурутдинов, который в пьяном виде пытался изнасиловать родную дочь, нанеся ей тяжкие телесные повреждения.

Уличенный в растлении малолетних, застрелился заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР Иргашев.

Покончил жизнь самоубийством секретарь ЦК КП Узбекистана Малик Абдуразаков, когда широкой общественности стало известно, что он совратил жену своего сына и молодая женщина, не вынеся позора, утопилась.

Как в трагических хрониках Шекспира — трупы, грязь, кровь, злодейство...

Только у действующих лиц — партбилеты в нагрудных карманах да чуть больше лицемерия, ханжества, демагогии.

По инициативе органов КГБ Республики и в согласии с Рашидовым, «для пользы дела» подпольное «веселое заведение» включило в свои обязанности «обработку» иностранных дипломатов. Среди них попался один, американский дипломат, крепкий орешек. Он умел много пить, не пьянея, и не поддавался чарам «правительственных гурий». Его трудно было удивить. На этот ответственный участок «невидимого фронта» была привлечена девушка редкой красоты, студентка-комсомолка Тамара Казакова. Путем шантажа, уговоров («партия велит») и угроз ее заставили заняться американцем. Успех превзошел все ожидания,

и еще недавно скромная и порядочная девушка пошла по скользкому пути. Ее ценили, и она получила руководство не только упомянутым заведением, но и его филиалом, предназначенным только для Рашидова. Филиал этот, для пущей конспирации, был размещен в одном из зданий ташкентского желудочно-кишечного санатория, в котором Рашидов регулярно лечился от болезни печени. Через бывшего первого секретаря ЦК комсомола, ныне министра энергетики, личного друга Рашидова Азиза Хамидова Тамара отбирала и поставляла девушек для «самого». Поистине: комсомол — помощник партии.

Насритдинова рассказала также, как племянник Рашидова, заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР Сарвар Азимов многие годы занимался присвоением государственных средств путем получения авансов по фиктивным договорам с издательствами за якобы написанные им сценарии кинофильмов. Кто посмел бы перечить племяннику верховного властителя республики? Но, когда его жульнические махинации все же выплыли наружу, Азимов в срочном порядке был послан в специальное учебное заведение, готовящее дипломатов, после чего его назначили послом в Ливан, а затем — в Пакистан.

В настоящее время (влекущая сила искусства!) он возглавляет Союз писателей Узбекистана.

Родной брат Рашидова — Сахаб Рашидов, находясь на должности прокурора Бухарской области, беззастенчиво, почти в открытую, брал взятки. После того как, пьяный за рулем, он стал виновником гибели целой семьи, Сахаб был переведен в Ташкент в качестве заместителя председателя Комитета народного контроля Узбекской ССР. Эту должность он занимает по сей день. Чем не мафия, чем не «семья»?

«За признание — полнаказания». Исповедь Насритдиновой была принята благосклонно, а саму Насритдинову помиловали в уголовном порядке. В отноше-

нии нее ограничились лишь ранее принятыми мерами: снятием с поста председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР и выводом из состава ЦК КПСС.

В результате, к партийной и уголовной ответственности были привлечены многие «соратники» Насритдиновой.

Лишь один Рашидов не понес никакого наказания и остался «невинным». Эту милость Кремля он заслужил своим многолетним холопским раболепием перед московскими хозяевами. А кроме того, по-видимому, не нашлось среди партийной верхушки более чисто-плотного кандидата на его должность.

А архивы обогатились еще одним бесценным памятником, призванным свидетельствовать перед грядущими поколениями о неусыпной заботе партии и правительства о своей пастве, еще одним постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической и политико-воспитательной работы»...

Май 1983

СНОВА В ПРОДАЖЕ РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ

Сборник статей под редакцией
В. Желягина и Н. Рутыча.

1983

408 с.

28 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M. - 80

ИСТОРИЯ

Мира Блинкова

ВОЛХОНКА, 14 — ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА, 19

От автора

Годы, проведенные среди подданных Королевства Общественных наук, привели меня к убеждению: чем прочнее связан человек с идеологической службой, тем неизбежнее для него феномен личностной раздвоенности, несовпадение субъективной нравственной нормы и социального поведения. Об этом сказано уже много и в самых различных жанрах, по существу ничего нового у меня нет. Единственным оправданием этих замечаний мне представляется их жизненная конкретность, достоверность. Но именно это меня смущает: ведь речь пойдет о людях, с которыми я долго и прочно общалась, некоторых из них считала друзьями, других — добрыми знакомыми, а бывало и так, что не очень близкие мне люди разрешали себе пооткровенничать со мной. Пользоваться этим, по-моему, граничит с доносом, и я этого избегаю. Поэтому мне трудно воссоздавать образы людей во всей полноте и объемности.

Заменить имена... Это не спасет; если я справлюсь с задачей, моих героев узнают.

Есть в этой главе — лучше я сама об этом скажу — один дефект: ей не хватает соавтора — профессионального, объективного историка. Без него я не смогу показать, к каким головоломным ухищрениям вынуждены прибегать специалисты, чтобы прилажи-

вать марксистские догмы к конъюнктурным потребам дня; как образованные и способные люди призывали стесывать многообразие мира топором господствующей идеологии; каких усилий стоило найти лазейку, чтобы через нее мог пробиться лучик истины.

По всем этим причинам я была готова отказаться от своей затеи — рассказать о некоторых людях из Института истории и о некоторых событиях, происходивших в нем. Но неожиданно у меня появился — не соавтор, нет, но собеседник — книга-жизнеописание А. М. Некрича «Отрешись от страха».

Собеседник мне симпатичен — прежде всего, минимальной дозой эгоцентризма, потому что он с профессиональной точностью вписывает свой личный путь в жизнь страны и эпохи. Затем — своей смелостью: ничто не может быть для историка трагичнее и смелее, чем отречение от идеологии, в которой он был воспитан и которой служил долго, убежденно и успешно.

Как всегда бывает, когда разговор касается общих знакомых или известных обоим собеседникам событий, что-то принимаешь целиком, с чем-то не соглашаешься, что-то хочется дополнить.

Рассказанное А. М. Некричем расщепляется в моем восприятии на два пласта: основной, связанный с отказом автора от марксизма, и более поверхностный — отношение автора к людям, с которыми его свела профессиональная судьба. В этой сфере повествования точка отсчета сдвигается и не соответствует новому, внемарксистскому мировосприятию автора. Оголтелым карьеристам, невежественным, наглым, вынесенным на поверхность грязными волнами сталинизма и антисемитизма, противопоставлены настоящие ученые, люди образованные и интеллигентные. Одни из них были друзьями автора, к другим он просто относился с уважением. О глубоком уважении автора к

«положительным героям» его мемуаров часто свидетельствуют такого рода сведения:

«Образованнейший русский марксист» (А. М. Деборин).

«Племянник легендарного комиссара Венгерской коммуны» (Тибор Самюэли-младший).

«Убежденный марксист, вдумчивый и глубокий» (М. Я. Гефтер).

«Профессиональный революционер, бессребреник» (Е. С. Варга).

И тому подобные...

Наступил час, когда поступки некоторых представителей этого ряда удивили и огорчили А. М. Некрича. Для меня же ничего неожиданного в этих поступках не было; наверное, я раньше задумалась над двойной жизненной бухгалтерией, которая была им присуща.

Книга «Отрешись от страха» дала толчок для многих воспоминаний, размышлений и ассоциаций. Кроме того, она помогла мне отрешиться от сомнений и неуверенности и приняться за эти очерки.

ЮБИЛЕЙ ИСТОРИКА

— Посмотрите на него, на нашего Витю! — патетически воскликнула профессор Генкина, любовно оглядывая юбиляра. — Кто поверит, что ему сегодня семьдесят? Ведь это тот же комсомолец Витя Далин, что и пятьдесят лет назад!

Люди, сидевшие передо мной, переглянулись и вздохнули: «В том-то и дело...»

Я не удержалась и тронула одного из них за плечо: «Это Далин — тот же? После всего?..»

Объяснять ничего не приходилось. Все знали, что почти двадцать лет юбиляр провел в тюрьмах и лагерях, а в перерывах между арестами, лишенный права

жить в Москве, прятался по чужим квартирам. Было известно, как преданно он любил своих близких и как страдал, зная о нищете и бесчестье, выпавших на их долю — родных «врага народа». На его глазах следователь сжигал подготовленную к печати книгу, поясняя: «Это вам уже никогда не понадобится». А страхи после низвержения Хрущева и радостного оживления в сталинистских кругах?

После всего этого — тот же?

...В зале было много народа; кроме своих, институтских — сотрудники Института Маркса-Энгельса-Ленина, представители родственных институтов и учреждений. Эти сидели напряженно, держась за дерматиновые папки с поздравительными адресами. В первых рядах несколько мест заблаговременно заняли явно чужие здесь люди. В отличие от большинства присутствующих, не очень хорошо одетые, почти все — покалеченные, примерно того же возраста, что юбиляр. Это пришли на праздник старого друга многие из уцелевших его соратников по одесскому революционному подполью. Большинство их было перебито в конце 30-х годов.

Яркие весенние цветы украшают длинный стол на сцене. В середине его, как принято на юбилеях, сидят «именинник» с женой, по обе стороны от них — директор Института, его заместители, секретарь парткома и другие ответственные лица. Они благожелательно посматривают на собравшихся в зале, ласково и умиленно — на юбиляра, растроганные собственным вниманием к старому человеку, жертве необоснованных репрессий времен культа личности.

В размягченном, а отчасти и восторженном состоянии духа находятся многие из присутствующих в зале. Виктор Моисеевич для них — не просто известный историк и симпатичный человек, а олицетворение истинного коммуниста — образ, в поклонении которо-

му было воспитано несколько поколений советских людей.

Плохо сидящий костюм, несвежие рубашки (не сегодня, нет, сегодня он, на своем юбилее, аккуратен и наряден), книги и рукописи, завернутые в газету (портфеля он не признавал), чуть прихрамывающая походка — все это прочно ассоциируется с партмаксимумом, бессуетностью, истинным бескорыстием. Этот человек отдал молодость великому делу революции, потом долго и безвинно страдал. Зато сегодня — его день, его праздник, все же иногда справедливость побеждает, вопреки злой воле сталинистов и антисемитов. Это согревает душу и укрепляет надежды...

* *

Каждого, вернувшегося в середине пятидесятых годов из лагеря или ссылки, мы «за муки полюбили». Наделяли их в воображении самыми высокими человеческими качествами. Возможно, что, кроме того, где-то в тайниках души копошилось чувство вины, стыд за свое — пусть жалкое и непрочное — но все же благополучие. Вернувшиеся немного облегчали эту тяжесть.

* *

...Зал полон народа, папки с поздравительными адресами, цветы, подарки, речи — короткие, длинные, скучные, остроумные, официальные, сердечные. Говорят о замечательной профессиональной памяти юбиляра, о его поразительной трудоспособности, о бесконечной преданности марксистскому учению, постоянстве его научных интересов. И непременно — о его от-

звивчивости, подлинно большевистской скромности, бескорыстии.

Вот и А. М. Некрич пишет о нем: «бессребреник»... Мне не вполне понятно, что означает это слово применительно к человеку, получающему немалую (разумеется, по советским меркам) зарплату и время от времени гонорары. И о своем научном престиже В. М. Далин тоже заботился: восстановился в звании кандидата наук, затем, сравнительно скоро, защитил докторскую диссертацию.

...Пожалуй, больше всего говорят на юбилее именно о скромности и бескорыстии юбиляра — таких славных, таких импонирующих всем чертах настоящего коммуниста. Слушаю, и мне невольно вспоминается...

Сектор готовился к празднованию докторской защиты Далина. По институтской традиции, как только соискателя поздравят все, присутствовавшие на защите, его уводили в свой сектор, и после короткой прочувствованной речи, которую произносил кто-нибудь из самых уважаемых сотрудников, вручался подарок. Хотя обычно у виновника торжества заранее выясняли, что ему желательно получить, но он разыгрывал радостное удивление, бурно благодарил, а затем приглашал на банкет — после докторской обычно в ресторан. Приглашались все — от заведующего сектором до секретаря; а «со стороны» — уже по-разному.

Молодежь сектора сбилась с ног, разыскивая подарок для Виктора Моисеевича: часы, портфель, многие другие предметы, которые в таких случаях преподносятся, он не признавал со времен своей мятежной и аскетической молодости. У кого-то возникла идея потратить часть собранных денег на угощение и самим устроить нечто вроде банкета — потрепанные костюмы нашего соискателя и очевидная скудость карманных денег наводили на предположения о ка-

ких-то особых финансовых обстоятельствах в его семье. Но его ближайшие друзья заверили, что он несколько не беднее остальных сотрудников его ранга и все должно происходить, как положено при докторских защитах.

Не помню уже, что ему подарили, но хорошо запомнилось, как состоялось вручение.

«Именинник», не взглянув на подарок, сунул его под мышку и, бормоча что-то, неловко отступал к двери, которую уже несколько раз приоткрывал его сын, в отличие от отца — красивый и элегантный молодой человек. Я заметила, что во время защиты он подходил к членам Ученого совета и оппонентам и о чем-то говорил с ними. Виктор Моисеевич махнул ему рукой и торопливо вышел. Из коридора донесся голос сына: «Неудобно... Внизу уже все собрались, ждут...»

Первым изменил традиции равенства и товарищества в свой праздник старый комсомолец, верный ленинец, бессребреник Виктор Моисеевич Далин.

* *

Юбиляр сияет. После всех бед он не только дожил до семидесяти, но успешно работает, добился признания и уважения. И не предлагают ему перейти на «заслуженный отдых», на который он имеет безрадостное право уже десять лет.

Он работает интенсивнее и успешнее многих со-рокалетних, но, думаю, не в этом причина благосклонного отношения к нему начальства: весь его облик, одного из уже редких участников революционного подполья, к тому же подвергавшегося «необоснованным репрессиям», хорошо вписывается в кадровую картину Института, как бы олицетворяя собой связь партийных поколений. Есть даже нечто импозантное в

наличии такой устаревшей человеческой модели на фоне подтянутых представителей современной формации. Так московские модники украшают свои квартиры, втиснув какой-нибудь допотопный комод среди предметов рижского или румынского гарнитура.

...Выступает друг юбиляра, один из лучших ораторов в среде советских историков, — Альберт Захарович Манфред. Со свойственным ему блеском рассказывает о жизненном пути и научных заслугах Далина, год за годом. Убедителен и впечатляющ в докладе путь юбиляра от одесского комсомольского подполья к занятиям историей, к глубокому, на всю жизнь, интересу к Французской революции. Но вот рассказ приближается к середине тридцатых. Многие настораживаются: теперь не принято говорить о «необоснованных...»

— А потом наступила пауза, — произносит Манфред своим глубоким бархатным басом, не дрогнув ни единым мускулом лица. — К своей плодотворной научной деятельности Виктор Моисеевич вернулся в 1955 году.

Не упоминал о своих бедах и герой торжества, не желая, видимо, нарушать благолепия собрания. Поколеблено оно было Алексеем Яковлевичем Каплером, киносценаристом, популярным в то время не своими фильмами, а телевизионной программой «Кинопанорама», которую вел остроумно и смело.

— Я познакомился с Виктором Моисеевичем в самых страшных условиях, в какие только может попасть человек, — так он начал.

И дальше рассказал, как Далин поддерживал товарищей по несчастью, какой удачей для себя считает он, Каплер, что судьба, пусть даже при таких обстоятельствах, но свела его с этим замечательным человеком. Не знаю, что в его словах было правдой, а что — юбилейным преувеличением, но он говорил о

советской каторге, и это было воспринято частью присутствующих с молчаливым одобрением.

На заседаниях сектора, так сказать, в своем кругу, Далин вспоминал о годах заключения довольно часто. Почти всегда в его рассказах звучал один мотив: если бы не взаимоподдержка коммунистов — ему бы не уцелеть, ни физически, ни морально.

Современное человечество он вообще делил на четкие категории: коммунисты (не теперешние, а настоящие, те, которые в массе своей были уничтожены) — и все прочие. Сидевшие — и нет. Из тех, кто не сидел: помогавшие его семье в трудные времена и ему, когда он незаконно проживал в Москве, — и нет. Разумеется, его отношение к людям определялось этими критериями. Иногда он проявлял симпатию и к тем, кто не входил ни в одну из названных категорий, но это бывало нечасто. С теми, к кому он не был расположен и в ком не был заинтересован, держался откровенно недружелюбно. Тем, кого признавал, прощал все — грубость, наглый карьеризм, невежество, плохую работу.

Выступая на заседаниях сектора, он часто вспоминал о каком-нибудь известном в свое время государственном или общественном деятеле, убитом в годы террора. При этом голос его срывался, делался мучительно тонким, слезный ком застревал в горле. Он махал рукой и садился. Иногда, под особое настроение, он рассказывал о самом счастливом дне своей жизни — когда ему довелось увидеть Ленина, в 1920 году, на III съезде комсомола.

...Заканчивая выступление на своем юбилее, Виктор Моисеевич прокричал знакомым нам тонким, срывающимся голосом:

— Това-ищи (он не выговаривал букву «р»)! Давайте кончим прекрасный сегодняшний вечер как во времена моей незабываемой молодости! Встанем и споем наш партийный гимн «Интернационал»!

Переглядываясь и пряча улыбки, все встали.

А. М. Некрича предложение юбиляра навело на мысли о том, что «кровавая река» течет и «даже те, кому чудом удалось выбраться из нее, теряют память, забывают о прошлом...» Марк Поповский (который, если не ошибаюсь, на этом торжестве не был) в своей развернутой аннотации книги Некрича («Новое Русское Слово», 23/XI, 1979), добавил к краткой информации автора («все встали и запели») некоторые впечатляющие подробности: «Люди очень старательно выводили куплет за куплетом. И старый профессор-лагерник воодушевленно махал руками, дирижируя залом».

В действительности ничего этого не было: ни «куплета за куплетом», ни дирижерских телодвижений Далина. А было вот что: все поднялись и кое-как пропели первый куплет и припев. Затем опять затянули первый куплет — оказалось, что большинство присутствующих просто не знает слов гимна. Несколько раз повторили первый куплет с припевом, боясь взглянуть друг на друга, чтобы не расхохотаться, а затем кто-то догадался вытянуть с пафосом последний звук припева, чтобы кончить с этим спектаклем.

Бывший комсомолец прочел миллионы книжных и газетных строк, стал высокообразованным человеком. Проварился в самом страшном котле современного ада. Каждое утро проводит в спецхране одной из богатейших библиотек страны и, просматривая прессу на четырех языках, знакомится со всем, что делается на свете... И не нашёл мужества ума освободиться от губительной веры, которую принял в своей далекой, глупой молодости. Не пожелал думать о символическом смысле рифмованных строк — гимна государства, вся история которого — энциклопедия преступлений; а то, что с 1944 года, когда был сочинен другой марш для данной надобности, и поныне вирши эти —

гимн партии, которая направляла и направляет эти преступления, — тоже ничего не сдвинуло в душе старого комсомольца.

Не менее многозначительным представляется мне тот факт, что большинство присутствовавших в зале гуманитариев не знает текста партийного гимна. Никто из них давно уже не верит ни в какие идеи, ни в какие гимны, и никакой «Интернационал» для их социального восхождения уже не нужен.

* *
*

Перебираю книги Виктора Моисеевича, подаренные мне с добрыми надписями, вспоминаю, с каким участием разговаривал он со мной, когда мне приходилось трудно, какие давал удачные советы по работе, как вообще хорошо было работать с ним — точным, обязательным, знающим все на свете. Моя привязанность к нему выдержала много испытаний: и его скрытое за ложной демократичностью высокомерие, и умение в критические моменты оставаться в стороне, и выборочное, по собственной шкале, отношение к людям, которое иногда приводило к благоволению подонкам. Для всего я без труда находила объяснения — извинения. И даже этот его «Интернационал» вызвал у меня ассоциации не с потоками крови, как у Некрича, а просто — со стариковской сентиментальностью, проявившейся нелепо и комично.

Не знаю, решилась ли бы я на это — рассказать о Викторе Моисеевиче, если бы не тот его поступок, о котором с горестным недоумением пишет А. М. Некрич. Я имею в виду выступление Далина на институтском активе, специально созданном для осуждения Некрича за решение уехать из Советского Союза. Далин осудил Некрича прочувствованно и с пафосом.

Чтобы не совершить прямой подлости, активной, в том случае требовалось немного: сказать больным и остаться дома. Так сделали те сотрудники Института, у которых не хватало духа выступить с протестом против этой акции, но хотелось избежать участия в ней.

Допускаю, что руководство Института предварительно договорилось с Далиным о его выступлении: он, с его репутацией «бессребреника», «подлинного ленинца», да к тому же простившего родине 20 лет тюрьмы и каторги, да к тому же еврея с неистребимо одесскими интонациями, являл собой самую подходящую фигуру для исполнения одной из ведущих ролей в этом подлом фарсе. А его делал особенно покорным зловещий призрак «заслуженного отдыха».

...Перед двумя историками стояла одна и та же проблема: продлить свой творческий век. Одному для этого пришлось расстаться с налаженной жизнью, друзьями, родиной и ринуться в неизвестность. Другой — на двадцать лет старше! — для этого сделал то, к чему привык, — в очередной раз подчинился «партийной дисциплине».

Так и воспрял род людской.

С «Интернационалом».

ХРАНИТЕЛИ ТАЙНЫ И ВЕРЫ

Ко времени, когда судьба ввела меня в гуманитарную академическую среду, я в какой-то мере еще находилась во власти сатанинской силы — гипноза и д е и. Возможно, что это состояние было особенно длительным у тех, чье детство пришлось на первую половину 30-х годов.

Все, что творилось в стране во второй половине 30-х годов и в сороковые, простодушно считала

контрреволюцией, захватом власти авантюристической бандой во главе с восточным гением зла.

Самым стойким фантомом моего сознания был образ настоящего марксиста, бескорыстного служителя идеи равенства и справедливости. От этих последних иллюзий я избавилась благодаря длительному общению с настоящими, убежденными марксистами. О представителях трех поколений этого вымирающего племени поэтому и решилась рассказать.

I

По заснеженному двору-саду в центре Москвы гулял старичок. На нем была ушанка из меха настолько вытертого, что угадать животное, давшее этому меху название, было невозможно. Воротник пальто сохранял какие-то признаки бобра, а крой пальто и материал, полностью утративший первоначальный цвет, наводили на предположения, что носится оно, по крайней мере, со времен первой мировой войны. Очки в овальной золотой оправе сидели на середине носа, и старичку приходилось сильно задирать голову, чтобы смотреть сквозь стекла.

В это время, от двух до трех дня, он всегда выходил на прогулку. В особенно сильный мороз или в проливной дождь одевался как на улицу и гулял на лестничной площадке.

Тот день был ясный, солнечный, ему захотелось выйти за пределы обычного маршрута, осмотреть как следует свой двор. Постукивая палкой и задирая голову, он добрал до незнакомого тупичка. Здесь его внимание привлекла вывеска, и он, заслонив глаза ладонью от яркого солнца, прочел: «Переплетная мастерская».

Не без труда одолев три ступеньки вверх, старик зашел в темноватое помещение и спросил мастера,

не зайдет ли тот к нему домой осмотреть книги, нуждающиеся в реставрации. Мастер пренебрежительно взглянул на неказистого клиента и приподнял брови, когда тот с неожиданной твердостью в голосе попросил записать номер подъезда и квартиры и прийти, если он, мастер, может, точно в четыре, не опаздывая.

В назначенное время переплетчик, полноватый человек лет сорока, в добротной шубе с огромным каракулевым воротником шалью, важно вдвинулся в дверь. Взгляд на обстановку передней сразу убедил его, что в квартире живет только одна семья, и можно было заметить, что это его озадачило: в те годы (самое начало пятидесятых) отдельная квартира в центре была редкостью. Хозяин похвалил его за точность: «Это у теперешних молодых людей не так часто встречается», — и ввел в комнату, три стены которой от пола до потолка были уставлены книгами.

— О! — вежливо удивился переплетчик и почтиительно осведомился: — Профессор? (он произнес «профЭссор»)

Старичок пожал плечами:

— Академик...

— Очэн приятно! — воодушевился переплетчик и интимно понизил голос, — а ид?*

Академик растерялся:

— Был когда-то...

Я вспомнила этот эпизод, встретив имя академика Ротштейна в словнике «Иудаики» — еврейской энциклопедии на русском языке, выпускаемой Еврейским университетом в Иерусалиме.

Разрешим ли вопрос — кого считать евреем?

Редколлегия «Иудаики», видимо, придерживается привычного нам «паспортного» принципа, отводя место для выдающихся евреев независимо от их национального самоощущения. Академик же В. П. Вол-

* Еврей? (идиш)

гин — в прощальном слове на панихиде по Ф. А. Ротштейну — причислил его к русской интеллигенции, к тому ее крылу, для которого занятия наукой были неразрывно связаны с общественной и революционной деятельностью.

...С 18 до пятидесяти с лишним лет Ф. А. Ротштейн прожил за границей, в основном, в Англии. В последнюю треть того века случалось, что люди уезжали из России в Европу или Америку и надолго оседали там. У будущего академика это произошло таким образом. Проучившись один семестр в полтавском медицинском институте, он оказался замешанным в студенческих беспорядках. К его отцу, уважаемому фармацевту, пришел главный жандармский чин города и сказал:

— Мой вам совет, господин Ротштейн, — отправили бы сынка за границу. От греха.

За границей молодой Ротштейн занялся журналистикой и историей. Языками овладевал так быстро и совершенно, что, на каком бы из основных европейских он ни писал, читатели не сомневались, что именно этот язык — его родной. Сам составил себе программу занятий, и библиотека Британского музея была его «университетами».

Свои анкеты он заполнял так:

Ученая степень — доктор исторических наук, доктор экономических наук.

Ученое звание — действительный член Академии наук СССР по отделению исторических наук, действительный член Академии наук СССР по отделению экономических наук.

Образование — среднее.

* * *

Не от хорошей жизни стала я референтом академика Ротштейна. Был тот славный период в истории советского общества, когда евреев почти повсюду гнали с ра-

боты. Не избежала этого и я. А моя семейно-финансовая ситуация была таковой, что хоть самый мизерный, но регулярный заработок был необходим и статус работающего человека — тоже. Все попытки устроиться ни к чему не приводили. Моя русская фамилия, национально невыраженная внешность, московские интонации вводили в заблуждение, и меня повсюду встречали с распростертыми объятиями, радостно давали заполнить анкету и просили позвонить на следующий день, чтобы точно узнать, когда надо «выходить». Завтра же оказывалось, что «еще не утрясены вопросы со штатами», нет необходимой «единицы» и так далее.

В те годы несколько человек были спасены от безработицы академиками, которые имели право сами выбирать себе референтов, а тех уже автоматически оформляли в штате Института — того, где числился данный академик. Ф. А. Ротштейн соображениями альтруизма не руководствовался: он устроил мне своего рода экзамен, объяснив предварительно, что сам институт референтов считает вздором, это пусть на Тарле работает целое ателье, он же никому не доверит составление для него самой простой справки. А нужно ему, чтобы читали вслух, потому что у него плохо со зрением. Но чтение должно быть приличным, без этих современных искажений и вульгарных интонаций. Дал мне прочесть отрывки из газет — русской, немецкой и английской. Прослушав, велел брать уроки английского, специально для исправления произношения; педагога он назначит сам: здесь учат языкам бывшие гувернантки, потому все так безобразно говорят по-английски. (Пришлось мне отдавать часть мизерной зарплаты, чтобы не потерять эту работу.) Второе условие — никаких кандидатских минимумов, никаких диссертаций. Я его успокоила: я не историк, а по своей специальности минимум сдала и диссертацию написала. Защитить ее теперь не могу, потому

что мой научный руководитель арестован. Ротштейн подумал немного и попросил никому не рассказывать о моем руководителе.

...Все было тогда одно к одному: аресты, аресты кругом, раскаленная расовой ненавистью улица, ожидание каких-то страшных решений и — унылое высиживание по шесть часов ежедневно (в два приема, что совершенно разбивало день) наедине с очень старым человеком, в прокуренной комнате, обставленной посеревшей, обшарпанной мебелью. В моей собственной жизни потери и беды шли тогда одна за другой, и всех моих душевных, нервных, да и физических сил еле хватало, чтобы справляться с самым поверхностно необходимым: читать вслух, писать под диктовку, брать по спискам книги в библиотеке.

Вникать в научные интересы и заботы моего шефа (тем более, что со школьных лет у меня было стойкое отвращение к науке истории) и, главное, внимательно выслушивать его рассказы — на это меня уже не хватало. Как только он пускался в воспоминания — а у него, видно, была такая потребность, сродни склонности старых людей писать мемуары, — я полностью отключалась, погружаясь в собственные тревоги и горести. Может быть, он это заметил и потому разрешал себе говорить свободно — эта догадка пришла мне много позднее.

Будь на моем месте спокойный и любознательный человек, сколько интересного рассказал бы он потом! Какой достоверный источник интереснейших сведений проплыл возле меня и мимо, как много он мог дать для восстановления правды — умело, упорно и последовательно скрываемой от людей!

Кое-что все же мне запомнилось — в основном, из рассказов о Ленине, которого Ротштейн любил нежнейше, но не обожествлял. Вследствие этого последнего обстоятельства некоторые выступления Ротштейна потом воспроизводились как анекдоты. Он

мог начать так: «Однажды Владимир Ильич попросил у меня разрешения зайти, чтобы посоветоваться по такому-то вопросу. Я был очень занят, но провел с ним целый вечер...» Выступая на защите диссертации, между прочим заявил, что диссертант ссылается на положение Ленина, а оно неправильное: «Я ему указывал на это, но он, к сожалению, отнесся к моим замечаниям недостаточно внимательно».

(Думаю, что человек из нормального общества ничего смешного во всем этом не усмотрел бы, но для сотрудников Института не было образца чудачеств более необычных и отчаянных.)

Когда подходила какая-нибудь революционная дата, в Институте вспоминали, что в доступной близости находится человек, лично общавшийся с вождем мирового пролетариата. После некоторого сопротивления — старик терпеть не мог нарушения своего режима — он соглашался принять «интервьюэра». В назначенный час являлся замерзший и смущенный аспирант, благоговейно присаживался на краешек стула и вытаскивал блокнот. После первых же фраз Федора Ароновича он скисал и скоро переставал делать пометки. На моей памяти в институтских стенных выпусках ни разу не появлялись воспоминания единственного личного знакомого Ленина из сотрудников Института.

Из немногого, что запомнила, самым интересным мне представляется разговор Ротштейна с Лениным, когда он, Ротштейн, был полномочным представителем Советского Союза в Иране (1921—1922). Приехав в Москву в отпуск, он в своем отчете Ленину упомянул о разбойничьих шайках, которые во множестве бродят по дорогам Ирана. У Ленина «этак азартно блеснули глазки (эти слова Ротштейна помню абсолютно точно) и он подмигивает: а что, если...», и здесь Федор Аронович воспроизвел жест Ленина, обо-

значающий: сплотить все шайки в одну и — вперед, к мировой революции!

— Я ему в ответ — тогда уж посылайте Буденного!

Еще помню: по поручению Ленина Ротштейн организовал пересылку шоколадных конфет, из которых была вынута начинка и заменена бриллиантами. К сожалению, кому их посылали и куда — не помню. Просто остались в памяти конфеты, начиненные бриллиантами и переправляемые куда-то с революционными целями.

Как-то наши вечерние занятия были отменены из-за визита М. М. Литвинова. Ротштейну не часто приводилось общаться с людьми своего поколения и схожего жизненного пути — их повымело из жизни. Полный приятных впечатлений от встречи со старым другом, он на следующий день пересказывал мне кое-что из их разговора: «Я его спрашиваю: — Скажите, Максим Максимович, вы когда-нибудь раньше слышали об (на лице — выражение брезгливого недоумения) ...этом? Он только пожал плечами: — Кто его вообще знал? Откуда он взялся, вы не знаете?».

Мне было нелегко ориентироваться в поведении старика со мной; иногда он сам говорил вещи, по тем временам опаснейшие, как, например, пересказ этого разговора с Литвиновым, но меня резко обрывал, если я делала попытки коснуться каких-нибудь острых вопросов. Очень рассердился, когда (в конце 1952 года) я рассказала об аресте врачей: откуда я набираюсь этих вздорных слухов? Видимо, я недостаточно осмотрительна в выборе знакомых. Он уже не раз замечал, что я повторяю — совершенно некритически — какие-то нелепости, и это грозит неприятностями не только ему, но и мне... Через несколько дней смущенно заметил, что мои сведения, увы, были правильны... Но откуда у меня такая осведомленность?

То, что Ротштейн уцелел, было чудом. Член партии с самого ее основания, человек, близкий к Ленину, один из основателей английской компартии, работал за границей — по любому из этих обстоятельств ему не полагалось быть на свободе. Объяснения этому феномену находили самые разные, но я думаю, что это чистая случайность. По сведениям Ротштейна, «этот» считал его английским шпионом и сокрушался, что все не доходят руки заняться им.

Два раза Федор Аронович просил меня отвезти деньги каким-то людям, намекнув, что не хочет поручать это своему шоферу. Один раз я нашла по данному мне адресу старую женщину в комнате при кухне. Она лежала на топчане, укрытая несколькими рваными пальто. Когда я вошла, не встала, не поздоровалась и за деньги не поблагодарила.

В другой раз я попала в семью, состоящую из старушки, ее красивой, породистой дочери и внука — приветливого мальчика лет тринадцати. Они жили в глубине большого двора, в странном флигеле — с невероятно высокими, сводчатыми потолками. Вход в их комнату был прямо со двора. Между собой они говорили по-английски. Встретили меня приветливо, но от денег отказались, просили передать, что дочь уже работает.

Мне хотелось разузнать обо всех этих людях, но Федор Аронович пресек мои попытки завести о них разговор. И вообще он явно избегал разговоров о репрессиях. Правда, он диктовал мне для записей в специальном толстеньком блокноте в добротном кожаном переплете самые зубодробительные отрывки из самых мракобесных статей того периода (1949—1953). Сам по себе подбор этих выдержек был весьма выразителен и не безопасен. Старик говорил, что хочет оставить блокнот сыну, известному английскому историку-коммунисту. Никаких комментариев по ходу записей он не делал, но было очевидно, что вел их с

определенной целью — продемонстрировать искажение великих идей, циничное пренебрежение ими.

В Институте истории Ф. А. Ротштейн занимал всего лишь должность старшего научного сотрудника; рукописи на рецензию присылали ему, как правило, уже после их обсуждения, и то самый слепой, четвертый экземпляр; его не приглашали на ответственные заседания, не выбирали в представительные общественные комиссии или редакционные коллегии. Книга, над которой он трудился больше, чем над всеми остальными, считая ее итогом своей творческой деятельности, готовая к печати уже лет 15 назад, не была опубликована. История ее не издания геометрически четко отражает зигзаги внутренней и внешней политики Советского Союза с середины 30-х до начала 50-х годов. Увидела свет она только в 1960 году, через семь лет после смерти автора.

И все же — при всем этом Федор Аронович представлялся мне баловнем судьбы: скорее всего, в какой-то момент он просто выпал из поля зрения тех, кто решал, оставлять ли людей в живых, иначе разделил бы участь почти всех своих соратников. Сам же он часто сокрушался о потере своего влияния, о своей бедности («я — самый бедный академик в стране»). Обида его была за себя: не за свое поколение, не вообще за людей — ни даже за идею, которую, надо думать, он не мог не считать преданной, а только — за себя.

Трудно определить, что в поведении восьмидесятилетнего человека является результатом возрастной деформации личности, что — реакцией на прессу современной жизни, а что связано с прочными характерологическими чертами, закрепленными всем личным опытом. В смысле интеллектуальном Ротштейн не вызывал сомнений в своей абсолютной сохранности и полноценности. Память его была гениальна, острота восприятия — безупречна; и то и другое от-

носились не только к прежде изученному и пережитому, но и к тому, с чем он знакомился при мне. Реакции его были четкими и мгновенными. Работал он, не зная черновиков, — мысль сразу обретала законченную форму.

В отличие от большинства мужчин, а особенно ученых, он был полновластным хозяином в своем доме и вел семейный корабль твердой рукой по раз навсегда установленному курсу. Это касалось и распорядка дня, и питания, и финансового режима, и отбора впускаемых в дом людей, и всего остального, что составляет семейный порядок.

Короче — объяснять особенности поведения Ротштейна мусорными наносами возраста не было никаких оснований, и именно поэтому оно часто давало мне пищу для размышлений. Хотя к тем годам идея равенства уже давно изжила себя, мне все же было странно, что человек, принимавший определенное — пусть теоретическое — участие в борьбе за строй, декларировавший эту идею, так прочно ощущал свое право на многое, чего большинство людей было лишено. Эта особенность его мировосприятия в сочетании с неукоснительным соблюдением «коммунистических» принципов иногда давала весьма комический эффект. Так, скажем, к одежде и обстановке квартиры полагалось относиться с максимальным пренебрежением, и случалось, что когда академик появлялся в институтском вестибюле, то гардеробщики, не знавшие его, взирали на него с великим недоумением — до того непригляден был его вид. Следуя тем же принципам, он здоровался за руку с этими гардеробщиками и с лифтерами, что тоже немало озадачивало их. Зато шофёра могли часами гонять по городу в поисках того сорта мяса, который годился для ростбифа. Вообще привычки относительно еды, приобретенные за долгие годы жизни в Англии, обрели смысл закона, которому все должно было подчиняться, чего бы это

ни стоило. Чернослив должен был быть доставлен только определенного сорта, обед из Дома ученых возвращался с резолюцией: «Мясо такое жирное, что даже кот отказывается его есть!»

Из-за принципиального отрицания частной собственности академик — старый большевик отказался от полагающегося ему коттеджа в академическом поселке. Но взамен он вытребовал себе право проживать каждое лето по три месяца всей семьей в академическом санатории «Узкое», где на 60 отдыхающих приходилось 300 человек обслуживающего персонала, а путевка на месяц для простого смертного стоила примерно пять месячных зарплат врача или инженера.

Приезд Ротштейнов в «Узкое» воспринимался персоналом как бедствие. «Приехали...» — вздыхали врачи, уборщицы, диетсестры, с тоской наблюдая, как шофер с московским дворником втаскивают в нарядный трехкомнатный номер немыслимые дерюжные мешки. Поскольку академик был твердо убежден, что все вокруг воруют, то самое ценное из презренной собственности: серебро, посуду, белье — зашивали в мешки и на все лето увозили с собой. Одна из комнат обращалась в кладовую. Персонал знал, что с приездом этого семейства, такого скромного, демократичного на первый взгляд, его ждут бесконечные недоразумения из-за еды, лекарств, распорядка дня и прочего.

Шофер, прикрепленный к Ротштейну, привозил меня в «Узкое» на 2-2,5 часа в день. При этом мне раз и навсегда было велено сразу же по окончании работы уезжать и ни с кем не входить в общение. Не могло быть и речи о том, чтобы после занятий погулять по чудесному старинному парку или в жаркий день выкупаться в пруду. Дело было даже не столько в том, что мне не полагалось приобщаться к благам, рассчитанным на избранных, как в опасениях старика, что я могу завести нежелательные для него знаком-

ства. Пожалуй, за всю жизнь я не встречала человека, более недоверчивого и подозрительного. До общения с Ротштейном представление о коммунистической безупречности было для меня связано с синдромом доверия, переходящим даже в некоторое чудачество. Только потом я догадалась, что подозрительность старика, граничащая с манией, — следствие страха, естественного для человека, случайно оставшегося в живых, реакция на атмосферу доноительства и предательства, которые определяли всю нашу жизнь.

Но реакция эта приняла у него весьма своеобразный характер. Почти в каждом человеке он видел вора, а обкрадывали именно его. Ученые тащат у него сноски, научный аппарат из неопубликованной работы, пока она находится в разных инстанциях, референты — писчебумажные принадлежности, домработница — посуду и вообще то, что плохо лежит. Я пыталась ему втолковать, что его работа написана на основе изданных источников, широко доступных, — и слушать не хотел. Как-то спросила, а что я у него украла. Ответил без запинки: карандаш с «позолотой» на конце. Долго я покупала всякие карандаши, спрашивая «такой?», пока он согласился принять какой-то. Однажды у него пропала пепельница — покоробленная, зелено-оранжевая металлическая посудинка, покрытая изнутри слоями слежавшегося пепла. Он был уверен, что ее украла приходящая домработница — спокойная, респектабельная старушка. На мое недоумение, зачем ей это старье, твердо отвечал: «Для хозяйственных надобностей, ставить утюг!» Позже эту ценность нашли за книгами на книжной полке, куда сам ее и поставил, сбрасывая пепел во время поисков каких-то книг.

Возможно, что Ротштейн был, действительно, самым бедным из академиков: кроме пяти тысяч («тех», дореформенных) рублей, которые он получал за звание академика пожизненно, ему причитались

еще всего лишь четыре тысячи — как доктору наук, старшему научному сотруднику. Прекрасное питание семья получала из Дома ученых за символическую плату, транспорт и летний отдых были бесплатными. Я предлагала Федору Ароновичу, когда он сокрушался по поводу своей бедности, сравнить собственное финансово-бытовое устройство с обычным для большинства советских граждан. В ответ он лишь пожимал плечами.

Суровый финансовый режим, введенный Федором Ароновичем в доме, имел цель: оставить дочери денежное наследство. Впервые я услышала слово *наследство* как нечто, имеющее конкретное значение, от Ротштейна, старого большевика, убежденного марксиста. Для моего поколения слова такого ряда: богатство, наследство — так же, как обручение, свадьба, приданое, — очень долго звучали совершенно абстрактно, как не имеющие никакого отношения к реальности нашей жизни.

Разумеется, все эти слова во всей полноте своего смысла вернулись к жизни, но то, что я впервые именно в таком качестве услышала их в доме старого коммуниста, представляется мне многозначительным.

Последние полгода жизни Ротштейна были счастливыми: он пережил Сталина на шесть месяцев. Все, что происходило в это время, он воспринимал с восторгом. Потрясая газетой с сообщением о какой-либо мере нового правительства, радостно объявлял: «Возвращаемся к ленинским принципам!»

II

3. Р.* родилась довольно давно в одной из европейских стран в семье известного деятеля социали-

* Инициалы вымышленные.

стического движения. Из-за стойкой антипатии Сталина к социал-демократам об отце З. Р. долго помалкивали и стали вспоминать — все чаще и все уважительнее — в одном потоке с воскрешаемыми именами коммунистов, уничтоженных во время «культа». Это сразу как бы приблизило З. Р. к среде реабилитированных высокого ранга, европейского масштаба.

В те годы я и познакомилась с ней — в середине 50-х годов, когда каждый день кто-то возвращался с каторги, когда москвичи передавали друг другу запись выступления Паустовского на обсуждении романа В. Дудинцева — гневное и правдивое слово о правящих кругах, когда на сценах, на экране стали появляться кусочки правды, ошеломлявшие и вселявшие великие надежды, когда работников литературы и искусства веселили ослепительно остроумные выступления ансамбля «Верстка и правка» под руководством З. Паперного.

З. Р., тогда еще доцент московского университета, приходила к нам в сектор на заседания. Маленькая, быстрая, черноглазая, она подбегала то к одному, то к другому, тихо, но — это было заметно и издали — темпераментно рассказывала что-то, горячо откликалась на то, что сообщали ей. Выступала она редко, слушала не очень внимательно и непременно опаздывала.

У нас с ней было несколько общих знакомых, обе мы принимали близко к сердцу происходящее — это нас сблизило. Вскоре она перешла на работу в наш Институт, и я, при более близком общении с ней, надолго подпала под чары ее живого, открытого характера. Многое в ней располагало — гостеприимство, широта интересов, постоянная забота о своих учениках, чьи не только научные, но и личные дела она горячо переживала; возвращаясь из-за границы (она время от времени ездила на свою родину), привозила милые, продуманные подарки, хотя денег в поездке у

нее было немного. Русский язык, к которому приобщи-лась почти взрослой, З. Р. знала превосходно, отлично владела и основными европейскими.

В самый разгар нашей с ней дружбы меня остано-вила в коридоре старенькая профессор Р. А., сла-вившаяся у нас своей беспредельной добротой в жизни и кровожадными критериями в оценке исторических событий. Запинаясь, смущенно оглядываясь, она вы-давила:

— Как-то неловко мне говорить это... Надеюсь, вы поймете меня правильно... Одним словом, будьте осторожны с З. Р. И вообще — держитесь от нее по-дальше!

Я решила, что заботливая Р. А. рекомендует мне избегать совместной с З. Р. работы: к тому времени многие уже знали, что деловое общение с ней весьма тягостно, и его стремились избегать даже ее ученики, часто ценой потери не только дружбы, но и просто нормальных отношений. И все же я верила, что с чело-веком, так радующимся всякому просвету справедливости, так ненавидящим все задубело сталинское, нельзя не найти общий язык и в работе.

Совсем немного времени понадобилось, чтобы я горько пожалела о пренебрежении добрым советом. Невероятная общительность З. Р., непреодолимая, патологическая страсть к бесконечным разговорам, неусидчивость, неорганизованность — все это никак не способствовало ни ее творческим успехам, ни свое-временному исполнению прочих служебных дел. Из года в год откладывалось написание монографии — самого ее ответственного институтского задания; это держало ее в постоянном нервном возбуждении; оты-грывалась же на подчиненных, создавая вокруг себя тягостную, истерическую атмосферу. Чтобы компен-сировать свое прегрешение, она постоянно, затевала разного рода конференции, коллоквиумы, «встречи», издания всевозможных сборников и т. п. Утомитель-

ная работа по проведению всех этих мероприятий валилась на сотрудников, лишая их возможности заниматься научной работой. Своей маленькой властью она пользовалась деспотически и бесцеремонно, могла и оскорбить, и ударить в больное место, используя для этого то, что было ей доверено в период дружбы и откровенности.

* *
*

...Как-то в кабинет, где я в тот день работала одна, зашел мой давний приятель, занимавший в институте весьма ответственный пост. Не помню, с чего начался наш разговор, возможно, я посетовала на возрождение сталинизма. Он, человек способный и циничный, откровенный карьерист, на правах нашей старой дружбы счел возможным разъяснить мне ситуацию. Не знаю, делился ли он собственными умо-заклечениями или повторял то, что слышал в низах аппарата ЦК, куда был вхож. Начал с того, что жизнь доказала несостоятельность теории. Загибая один палец за другим, наставительно перечислял:

— Производительность труда много ниже, чем в любой капиталистической стране.

— Уровень жизни — один из самых низких в мире.

— Расцвет культуры? Обман, питаемся западными обьедками.

— Уничтожение различия между городом и деревней... Уничтожение деревни, а не различия. Россия, в компании с Украиной и всей черноземной полосой, постоянно на грани голода; без американской и канадской пшеницы давно была бы вторая ленинградская блокада по всей стране. И это — в России!

— «Дружба народов»? Да такого национального антагонизма Российская империя никогда не знала!

— Все расплзается, все опоры покосились. Но не бежать же обратно, нет туда хода, а государство должно на чем-то держаться. Вот и остается — палка, порядок, никаких разглагольствований, никаких «альтернатив», иначе все полетит к чёртовой матери! Усатый это понимал, знал, что делает. Теперь ситуация посложней, народ разболтался, разбаловался!

...Если бы все это сказал человек, не столь близкий к влиятельным партийным кругам.

...Если бы вывод, изложенный им без всяких эвфемизмов, не был так откровенно циничен.

...Если бы итоги советского опыта подвел человек «с другой стороны баррикад»...

Оставшись одна, я долго не могла прийти в себя. Такой, совершенно растерянной, меня застала З. Р.

К тому времени у меня уже не было никаких иллюзий относительно ее личных «бытовых» качеств, но, что касается главного, сомнений не было — с в о я. Иногда она, дивясь на себя, наивную дуру, рассказывала, как бегала когда-то в партком за разъяснениями, если ей казалось, что кто-то в чем-то неправ. Я знала многих таких энтузиастов и до сих пор верю, что они не считали эти поступки своеобразным доношением. Впоследствии они часто с горячностью осуждали себя, и обычно чем безоговорочнее была их прошлая в е р а, тем глубже раскаяние и чувство стыда за себя — тогдашних. К такой категории «пересмотревших» я относила и З. Р. А как иначе можно было относиться к ней, с ее восторгами по поводу смелых выступлений, негодованием по адресу сталинистов, горячим интересом ко всему свежему, справедливому? А эти таинственные листки папиросной бумаги, которые скрытно передавались избранным? А неизменные вопросы о новых сотрудниках и знакомых — можно ли при них «говорить», можно ли им доверять?

...Я пересказала ей разговор со своим старым знакомым. Она вскинулась:

— И вы не пошли в партком?

Не присаживаясь, она заговорила одновременно доверительно и безапелляционно:

— Мы все — я, вы, наши друзья — настроены критически. Естественно, многое переосмысливаем. Но есть для всех нас нечто главное, и оно незыблемо! Мы же не отказываемся от марксизма, от революции. Мы боремся, чтобы освободить их от грязи и извращений. Человеку, который придерживается таких взглядов, нельзя доверять, нельзя этого так оставить!

...Будьте с ней осторожны — с тревогой вспомнила я.

— Наверное, я просто неправильно поняла его, — сказала я, придавая голосу дебилские интонации, — и никого при этом не было, и выяснить подробнее не у кого...

* *

А в вольномыслящих московских интеллигентских домах ей по-прежнему бывали рады — ничто не отражалось на ее репутации смелого, прогрессивно мыслящего человека. Мало того, среди своих многочисленных неинститутских знакомых она слыла жертвой, которой администрация Института мстит за независимый нрав и неконформизм. О том, что память об ее отце и ее связи с руководством компартии той страны, откуда она родом, подстраховывают ее в Институте, она, разумеется, умалчивала... И о том, что, за исключением молодчиков, попавших в Институт из ВПШ и АОН, такое долгое невыполнение основного задания никому не сошло бы, тоже помалкивала...

В конце концов она вымучила свою монографию и защитила ее как докторскую диссертацию.

В начале 50-х годов возник цикл тем, связанных с утверждением приоритета России во всех сферах. Мощная генерация советских историков обогатилась учеными степенями на этом Клондайке: «Русская революция 1905 года и рабочее движение в Германии (Франции, Англии, Италии, Австрии, Румынии, Греции, Швеции и т. д.)», «Великая Октябрьская Социалистическая революция и революционное движение в Германии (Франции, Англии, Италии, Австрии, Румынии, Греции, Швеции и т. д.)». И т. п.

Одному из этих вариантов и была посвящена вся собственно научная жизнь З. Р. Можно считать, что и в данном случае она не изменила настоящему марксизму-ленинизму. Во всяком случае, обнаружить в ее поведении какие-либо признаки недовольства собой, думаю, не удалось никому.

III

Ко времени величайшей победы З. Р. — защиты докторской — в Институте осталось совсем немного людей, которые относились бы к ней с симпатией и доверием. Для административно-партийной верхушки она всегда была чужой — все же иностранка; к тому же из-за нее приходилось считаться не с родной номенклатурой, а с заморской, а мало ли чего можно ждать от тех, от еврокоммунистов! Рядовые сотрудники уже давно имели полное представление о ее человеческой ненадежности и непривлекательности. Низко пала репутация З. Р. как научного руководителя среди молодежи, развеялся и ореол вольнодумства, который сравнительно недавно привлекал к ней «левых», «прогрессивных», короче — антисталински настроенных сотрудников Института. Дольше других

сохранял к ней добрые чувства Ш. Ф.* — личность, среди историков известная.

Не знаю никого, кто относился бы к Ш. Ф. равнодушно или хотя бы ровно. Одни считали его великим умом, человеком кристальной честности и редкостного благородства, другие — жуликом и даже разбойником. Его немногочисленные ученики и последователи готовы были следом за ним подняться на Голгофу, а были и такие историки, которые уверяли всех, что он стукач, профессиональный лизоблюд, а руководимый им сектор — учреждение зубатовского толка.

Расположены к Ш. Ф. преимущественно были те, кто тяготел к различного рода пересмотрам внутри исторической науки: ее аналитических приемов, датировок, концепций — и при этом утверждали, что именно их концепция марксистски самая безупречная. Из ученых старшего поколения одобрительно (если не сказать восторженно) относился к Ш. Ф. профессор Поршнев, великий концептуалист («если факты не подтверждают концепцию — тем хуже для фактов»), ученый, интересы которого простирались от приматологии до актуальных проблем Новой истории.

Молодые люди, которые еще верили и надеялись на победу истины в науке, а то и в жизни, никогда с Ш. Ф. не расставались. Надо сказать, на свою беду, потому что под его влиянием забирались в такие дебри пересмотров и «альтернатив», что выбраться из них на прямой тракт защиты диссертации и обычной карьеры им уже было трудно.

Мало выдавал печатной продукции и сам Ш. Ф. И по этому поводу было несколько точек зрения; одни считали, что по доброте и бескорыстию он попросту разбазаривает идеи, которыми полон его творческий мозг; другие — что по своему темпераменту он больше приспособлен для научно-административной

* Инициалы вымышленные.

работы; недруги посмеивались — мол, только болтать и умеет... Мне представляется, что главной причиной малого числа его выступлений в печати является его научная щепетильность. Историческая фактура и марксистская идеология не всегда гармонически сочетаются, а особенно сложно их совместить, если относиться к тому и другому с той энтузиастической серьезностью, которая свойственна этому человеку. Много, что сходило ему в устных выступлениях, было бы непроходимо в печати.

* *

*

Много было их, в наши с Ш. Ф. школьные и вузовские годы, таких еврейских мальчиков — способных, деятельных, непрременных членов пионерских и комсомольских комитетов; к увлечению историей они часто приходили от своей общественной активности, с которой еще долго, и во взрослые годы, не могли расстаться. Вернувшись с фронта и возобновив занятия, часто уже в аспирантуре, они должны были заново осмыслить свое место в жизни. То, что происходило в стране во второй половине 30-х, они воспринимали, как правило, сквозь гипноз, освободиться от которого дано было немногим. Политический климат второй половины 40-х годов поставил многих в тупик — ведь они были уже значительно старше и годами, и настоящим жизненным опытом. И все же на многих еще продолжал действовать угар их пионерско-комсомольского энтузиазма, не всем удалось прорваться сквозь него на чистый воздух. Большинство — и не пытались, заслонялись привычными щитами: значит, т а к н а д о. На такой позиции укрепился тогда и Ш. Ф.

По активности же своего характера, все, что делал, делал горячо, от души... И именно тогда для

многих, более трезвых, он потерял лицо, и никакие дальнейшие трансформации его мировоззрения и поведения не могли поколебать у тех стойкое недоверие к нему, часто смешанное с отвращением.

В Институт он попал с помощью своего научного руководителя, человека образованного, но мракобеса по убеждениям и поведения самого бандитского. Вскоре Ш. Ф. стал сотрудничать в секторе по редактированию «Всемирной истории». Здесь его кипучая энергия, обширные знания и трудолюбие были полностью реализованы. Он брал на себя самую тяжелую и неблагодарную работу, вмешивался в дела, которых ему не поручали, — без всякой корысти, по привычке чувствовать себя ответственным за все, что делается рядом. К товарищам по работе относился безупречно, заботливо, никогда ни в чем не подчеркивая своего превосходства.

Со временем те, с кем Ш. Ф. начинал научную карьеру, защитили докторские, стали авторами солидных монографий, а он все еще оставался кандидатом, и даже статьи под его именем появлялись не слишком часто.

Энергия, серьезная эрудиция, умение привлекать к себе людей, особенно молодежь, — делали его незаменимым помощником любого крупного научного администратора. Когда закончилась работа над первыми десятью томами «Всемирной истории», ему поручили руководство группой, состоявшей непосредственно при директоре. Это, разумеется, не уменьшило настороженности тех, кто относился к нему с антипатией с университетских времен.

По мере накопления знаний, житейских впечатлений и опыта, Ш. Ф. все глубже погружался в изучение марксизма, чтобы в его пределах найти выход из социального тупика, который он достаточно четко осознал. Многие люди и его поколения, и моложе, и старше — я имею в виду тех, кто так же напряженно,

как он, искали путей к спасению, — сумели преодолеть фантомы молодости, разорвать плену.

Почему не справился с этим он — человек вдумчивый и бескорыстный?

Однажды мне показалось, что я близка к разгадке. Раздраженная особо безобразной, откровенно предательской выходкой З. Р., я рассказала о ней Ш. Ф., который всегда славился у нас своей справедливостью и искренностью. Его реакция ошеломила меня:

— Знаете что, — ласково произнес он своим мягким, слегка картавым голосом, — давайте считать, что вы мне этого не говорили. Я не хочу плохо думать о человеке, которого привык любить. Мне это было бы больно. Не рассказывайте мне таких вещей, пожалуйста. Я вам полностью верю, но не надо, договорились?

Этот эпизод объяснил мне многое: ведь это программа, и нравственная и мировоззренческая...

А жилось ему все хуже и хуже. Те, кто четверть века назад невзлюбили его за оголтелость, сами потихонечку приспособились и аккуратно ползли по академическим ступенькам вверх. Обычные разочарованные, но здравомыслящие советские гуманитарии посмеивались над мудрствованиями этого «последнего марксиста» (ведь уже все ясно, так чего уж там...).

Начальство до поры до времени терпело. Вот этот период, пока оно терпело, был, по моему разумению, звездным часом Ш. Ф. в Институте. Он руководил тогда методологическим семинаром и привлекал к участиям в его заседаниях самых серьезных историков, социологов и философов Москвы. Эти заседания посещались многими людьми, не только из Института. Языки развязывались, мысль кипела. Напряженнейшая работа ума, сложнейшие логические хитросплетения были направлены на попытки вцементировать логику и фактуру действительности в прокрустово ложе учения, доказать недоказуемое, оправдать

то, чему оправдания нет. Проследить за всеми кульбитами этой философской акробатики было практически невозможно. О себе уже и не говорю, но люди моложе и с более основательной историко-философской подготовкой признавались, что «через 15 минут в голове все путается...» А Ш. Ф. сиял, счастливо потирал руки, давал высказываться всем, кому хотелось, — заседания эти длились бесконечно. Именно этот семинар, прославившийся на всю Москву, ненавистники Ш. Ф. называли: зубатовским. Иногда на этих радениях можно было заметить каких-то молчаливых посетителей, пристраивающихся где-нибудь сбоку или в задних рядах и сонно посматривающих вокруг.

Терпение начальства иссякло, когда вышел сборник, в котором изложение «альтернатив» представилось высшим инстанциям чуть ли не ревизией основ. Пришел конец семинару, постепенно стала закатываться и звезда Ш. Ф. Не дождавшись служебного права на пенсию, он использовал свое право инвалида войны и ушел из Института.

* * *

Мы жили с ним в одном районе. Странно и грустно было видеть этого человека по дороге в молочную, за творогом...

А теперь мне за него спокойнее: он не ушел ни в неизвестность, ни в интеллектуальное небытие. От прежней, привычной жизни — плотный круг читателей и учеников, учащенное дыхание, засученные рукава; от новой — обыски, аресты друзей, передачи, публикации в русском зарубежье.

Верю, что в этом опасном и подлинном бытии он окончательно переборет инерцию веры и сам скажет о себе в прошедшем времени — последний марксист.

ФИЛОСОФИЯ

Вацлав Белоградский

БЕГСТВО ИЗ ПТИДЭПЭ¹

«...единообразие мироздания никогда не было и не будет Божьей заповедью».

Франтишек Палацкий²

«Человек перемещается с места на место весьма быстро, но эти перемещения имеют весьма медленный смысл».

Сильвия Рихтерова. Возвращения и прочие упущения. Торонто, 1978.

Мальчишкой, проводя школьные каникулы в пограничье, я любил рыться в заброшенных домах выселенных немцев. Мое воображение поражало множество оставшихся там непонятных вещей: странных фотографий, шляп, книг с готическим шрифтом. Позже, не попав с первого захода на философский факультет Карлова университета, я отрабатывал год на ударной комсомольской стройке в Кралупах, за что и получил путевку на поездку в Польшу. В мемориале Освенцимского концлагеря я увидел выставленные для обозрения, громоздящиеся под потолок горы очков, оставшихся после евреев, выселенных в газовые камеры.

¹ Птидэпэ — вымышленный бюрократический язык, которым объясняются персонажи одной из пьес Вацлава Гавела нач. 60-х гг. Термин стал в Чехословакии общеупотребительным как характеристика коммунистического «суконного языка», «новоречи». — Ред. Далее все примечания принадлежат переводчику.

² Ф. Палацкий (1798-1876) — крупнейший чешский историк и философ XIX в.

Как я недавно узнал, Иржи Коларж³ именно в Освенциме осознал значение слова «assemblage». Студентом университета я был потрясен чтением книг, содержащих идеи мыслителей, выселенных под поверхность современности. Мы открывали их для себя в частных библиотеках, потом в букинистических лавках, выносили из спецхрана университетской библиотеки.

Пожалуй, самым глубинным переживанием моего поколения было именно такое извлечение на Божий свет затоптанных вещей, книг и былей, сохранившихся лишь в виде следов, оставшихся от выселенных людей и выселенной эпохи. Современность нашего детства соперничала с непосредственно предшествовавшей ей современностью в своих амбициях стать «окончательным решением» социальных антагонизмов, началом тотально иной эпохи. Вацлав Гавел⁴ говорит о «картировании грунтовых вод»: книги авторов, исчезнувших «подо льдом времени», означали для него всё — «правду, подлинную культуру и источник вдохновения» — и долго оставались тем единственным, что имело для него сокровенный смысл. Любое «окончательное решение» начинается с выселения определенных категорий авторов и их произведений за горизонт действительности, чтобы они не мешали становлению нового порядка. Но выселение определенных категорий людей постепенно оборачивается выселением всех людей, а следовательно, выселением самой действительности. Поколение, появившееся на свет в местах, откуда была выселена действительность, вынуждено снова открывать ее по оставшимся следам.

Святой Августин утверждал, что не бывает прош-

³ И. Коларж — чешский художник-коллажист и поэт.

⁴ Знаменитый чешский драматург и публицист, видный активист пражского движения.

лого, настоящего и будущего как таковых; есть только присутствие прошлого, присутствие настоящего и присутствие будущего. Следы прошлого, окликающие нас из все более далекого далека, и есть присутствие прошлого и в этом смысле являются составной частью общечеловеческого опыта, естественного мира, о котором с такой глубиной рассуждал Паточка⁵ на склоне своих дней. Дед в форме чешского legionера постепенно выцветает в нашей памяти, вместе со своими фотографиями и воспоминаниями о российском походе, на фоне нарастающей и безапелляционной действительности. Естественное отмирание старого мира происходит таким образом на фоне наступающей реальности, в то время как в нашем детстве старый мир был погребен под чем-то нереальным, под фикцией. Вследствие этого современность все сильнее бледнела на фоне следов старого мира, который хотя и был старым, но все же отнюдь не был просто декорацией, наподобие окружавшей нас действительности, со всеми ее парадами и победной риторикой.

Вычеркивание имен из наших школьных учебников представляется мне парадигматическим: всесильная партия может выселить из истории персонажи и события, но в перечеркнутых абзацах учебников они остаются в виде следов. Уже очень скоро «быть мыслящим человеком» для нас стало означать способность распознать реальность по оставленным ею следам.

Детство моего поколения проходило внутри беснующейся фикции, сквозь которую лишь слабо просвечивала действительность. На основании этого опыта в нас развилось чувство реальности как пугливого зверька, которого мы знаем по его следам, которого

⁵ Ян Паточка — крупнейший чешский философ-феноменолог, один из первых представителей «Хартии-77». Скончался в марте 1977 года после допросов в органах госбезопасности.

можно лишь мельком увидеть в определенных местах, но которого нельзя наблюдать когда и сколько угодно. В то же время научное, объективное наблюдение по определению требует от своего предмета некоторой неподвижности: наблюдаемое животное должно находиться в клетке, чтобы в любой момент быть на глазах у наблюдателя. В современной просветительской традиции действительность понимается как животное в клетке, которое можно в любой момент заставить ходить на задних лапках. Тогда действительность объективна и у всех на глазах. Жизнь моего поколения проходила под знаком действительности, подверженной выселению; она улавливалась ухом лишь в виде отдаленного и все более слабеющего эхо. Выселенная из эпицентра времени, где удобно устроилась победоносная революция, действительность нашла приют на периферии истории, в пересказах и воспоминаниях, в книгах, оставшихся после вселенского потопа. Люди, сохранившие память о ней, поддаются выселению, поэтому вполне возможно, что действительность никогда не откроется нам и мы будем вынуждены всю свою жизнь провести внутри фикции.

Коммунисты, однако же, лишь довели до логического конца то, что уходит корнями в само европейское понимание реальности и чем мечена вся наша цивилизация: реальна лишь *идея*, только она имеет быть, а весь мир нашей жизни — нереален, ибо непостоянен и переменчив во времени. Познания достойны лишь идеи; мир нашей жизни может быть от силы предметом суждений (*doxa*). Современная наука все более властно продвигает такое силовое понимание мира, поэтому носители суждений и былей неотвратимо смещаются в сторону помойки истории, откуда и взирают на нас снизу вверх подобно грабалавским⁷ героям.

⁷ Богумил Грабал — выдающийся современный чешский писатель, работающий в русле «остраненной» прозы.

Выдержат на этой помойке, но не позволить объективной реальности истории загнать себя в стадо — вот карта, на которую поставило мое поколение. Быть на стороне того, что вроде есть и вроде бы нету, что, конечно же, не может быть предметом объективного познания, но лишь темой умствований, сочувствия и воспоминаний; положить в основу своего существования неповторимое суждение, предпочтя его объективному познанию, способному представить нам реальность в виде дрессированного бобика. Быть на стороне были, а не истории, вторгающейся в нашу личную жизнь как анонимная необходимость, вне категорий Добра и Зла.

Я хочу сказать, что мое поколение отличается от предыдущих именно опытом действительности, рассеянной по лавкам букинистов, сохранившейся уже только в памяти современников, в их рассказах. Ни одно поколение до нас не могло пережить этого, так как ни один режим в прошлом не располагал такими техническими возможностями для тотального выселения действительности. Известные нам по учебникам тираны были не в силах выселить миллионы душ вместе с их внутренним миром — у них попросту не было достаточно точного учета граждан и грузовиков. И только «экзистенциально иная власть» (Прейснер⁸), власть современного тоталитарного государства достаточно хорошо технически оснащена для того, чтобы организовать выселение людей и действительности с целью «окончательного решения» классовых (или расовых) противоречий.

Гвиждяла⁹ в своем «Отчете о постепенной ликвидации чешского народа» рассказывает о советских сол-

⁸ Рио Прейснер — чешский философ и литератор, проживает в Канаде.

⁹ Карел Гвиждяла — пражский журналист, в 1978 году эмигрировал на Запад, живет в ФРГ.

датах, которые разбили лагерь в саду у его дома. Со всех окрестных огородов они снесли в одно место гипсовые фигурки садовых гномов. После их ухода гномы так и остались стоять плотной массой, став для Гвиждялы символом советского метода: выселить реальных людей, а на их место поставить гипсовых гномов. Эта аллегория имеет и более общий смысл. Современная техника, используемая для управления обществом, привела к появлению идеологии, согласно которой любого человека можно посадить на любое административное место и он там будет исправно функционировать, независимо от личных свойств. Достаточно убрать из человека все личное и накинуть на оставшийся костяк новую, освобождающую рациональность. Выселение личных суждений становится, таким образом, основой современной эсхатологии, так как, согласно учению, в результате такого выселения рождается новая нейтральность, свободный от субъективизма взгляд и как следствие — вечный мир во всем мире. Но практика показывает, что даже между гномами, функционирующими на месте выселенных людей, нет и не будет мира, ибо в основе такого обезличенного понимания действительности лежит война.

Новое время, на которое пришлось наше детство, заявило о себе тем, что в наш мир вторглись товарищи, вооруженные научным мировоззрением, повсюду расставили декорации новой действительности, а среди них разместили гномов. Вместо скаутов появились туристские отряды пионерской организации, место директоров промышленных предприятий заняли администраторы с рабочим происхождением. Бывало и так, что реальный, но выселенный человек и человек в должности гнома оставались друзьями и вместе дивились тому, какие абсурдные роли навязала им жизнь. Мы быстро научились воспринимать действительность как нечто выселенное, но оставившее по себе след. И пока гномы дряхлели и рассыпались в прах, действи-

тельность возвращалась к нам по своему следу. Наверное, одним из самых ярких прозаических произведений моего поколения стал «Вопросник» Иржи Груши¹⁰ именно потому, что там действительность понимается как поиск следа.

Попытаюсь объяснить свою мысль метафорой более общего свойства. Одним из самых сильных сюжетов современной живописи стал «Урок анатомии», или, если хотите, вскрытие. В этой теме нас интригует переплетение таких категорий, как научная истина и смерть. Для ученого даже смерть становится самоочевидным полем поиска истины: в человека вперяется холодный и строгий, разоблачительно-сверлящий взгляд, который абстрагируется от изменчивого, проходящего и недоказуемого мира жизни. Э. Радл¹¹ в своей книге «Утешение философией» приводит такой эпизод: на уроке патологоанатомии вскрываемое тело вдруг открыло глаза и уставилось на ученого, склонившегося над ним. Бедняга потом совершил паломничество в Каноссу, где молился за отпущение содеянного им греха — надругательства над телом. Радл задается вопросом: «А куда побредем пилигримами мы?», когда вскрываемая нами Вселенная вдруг откроет глаза и посмотрит нам в лицо. Этот холодный взгляд загипнотизировал общественные науки в XVIII-XIX вв.: научный социализм, плановая экономика, исторический материализм, историческая необходимость, промышленный рост, государственные интересы — всё это различные аспекты того патологоанатомического взгляда, который общественные науки вперили в людской мир в конце XIX века. Все, чего не регистрирует этот взгляд, отныне выселяется за гра-

¹⁰ Иржи Груша — современный чешский прозаик и поэт, с 1981 года проживает в Западной Германии. За роман «Вопросник» был арестован и несколько месяцев провел в следственной тюрьме.

¹¹ Эмануэль Радл (1873-1942) — чешский философ, видный представитель школы масариковского «философского реализма».

ницы действительности как досадный предрассудок, пережиток, представление, частное убеждение, личное мнение, от которого следует освободиться. Если «мое детство сливается в одно целое со Сталиным и его эпохой» (Рихтерова¹²), то это значит, что товарищ, вооруженный научным мировоззрением и диалектической методологией, устался на нас таким патологоанатомическим взглядом, который холодил душу.

Я привел здесь радловскую метафору для того, чтобы иметь возможность сказать: наше культурное самосознание и явилось таким ответным поднятием глаз на изучавшего нас товарища. Правда, в этом поднятии глаз не было ничего резкого, мы смотрели как бы прищурясь, веки порой снова опускались, но теперь уже ненадолго.

В коммунизме, с самого начала его победоносного шествия, меня всегда особенно удручала его безграничная вера в силу «правильного метода». Песни типа «Дождю и ветру мы прикажем, когда им вейть, когда лить», снегозадержание и ветрозащита, травопольная система, стахановцы и изобретатели, свинарники-гиганты, Мичурин, разводящий в Сибири клубнику величиной с яблоко, Днепрострой и новые русла рек — короче, новый человек по-новому работает. У него метод. В «Человеке из мрамора» Вайда анализирует эту самоубийственную абстрактность безграничной экспансии методического мышления в области человеческого труда. Труд — это ведь не только средство для достижения все лучших результатов, но и составная часть естественного мира, природного порядка, который нельзя менять, можно только открывать и чтить. Всевластие методичности содержит в себе элемент уничтожающего произвола. С помощью методи-

¹² Сильвия Рихтерова — молодая чешская писательница, доктор философских наук, с 73-го года профессор Института славянской филологии Римского университета.

ческого познания всё новые сферы мира оказываются в нашей власти, мы становимся им судьями. По Гадамеру, кардинальной проблемой нашего времени является взаимоотношение между господствующим в мире методическим познанием и познанием, открывающим в мире порядок, которым нельзя манипулировать, но который можно почитать. Мы чувствовали, что научное мировоззрение и мичуринские методы — лишь насильственное выселение действительности, о порядке которой можно догадываться только по оставшимся от нее следам. Методически воспитываемый ребенок — кандидат в психи, город, строящийся по утвержденному в центре плану, лишен человеческого масштаба, а новый человек — гвиждяловский гном, поддерживающий в «самопроизвольном движении» нежилую фикцию. Аналитическое эссе Шимечки¹³ «Восстановление порядка» трагично уже хотя бы потому, что слово «порядок» здесь окончательно перестает употребляться в одном из своих первейших значений — в значении «гармония». Словно бы к концу нашего столетия порядок возникал лишь в результате действий вооруженных сил, под грохот танков и бронетранспортеров. Человек, осознавший, что в жизни есть вещи поважней, чем наживать добро и делать карьеру, открывает для себя определенный высший порядок, гармоничную систему, внутри которой его поведение становится упорядоченным: порядок в поведении соотнобразуется с высшим порядком, гармонией мира. Коммунисты — строители порядка без гармонии, порядка по произволу, навязанного вооруженной силой и охраняемого колючей проволокой. Такой порядок не поддерживается из уважения к гармонии мироздания. А без такого уважения настоящий порядок

¹³ Милан Шимечка — современный чешский философ и публицист, живущий в Словакии. За правозащитную деятельность подвергался репрессиям.

невозможен, возможен только страх и вырастающее из него гробовое молчание. Категория «права человека» в конечном счете зиждется на понимании того, что в человеке и его мире существует естественный порядок, который нельзя по собственному усмотрению методически перевоспитывать. Ощущение того, что существует порядок, неподвластный методу, я разделял с друзьями как знамение поколения. Отвращение моего поколения к идее перевоспитания коренится в предчувствии того, что «порядок» всегда будет выливаться в «нормализацию», если не будет вырастать из уважения к естественному миру. Отсюда и наш скепсис по отношению к западным прогрессистам, желающим любой ценой освободить человека от пережитков прошлого. Наше сознание по-человечески консервативно. Прогрессисты изобретают все новые и новые методы освобождения человека от его предрасудков; но существует еще и освобождающее понимание порядка действительности, который нужно защищать от произвола интеллектуалов и диалектики политруков. В этом смысле следы действительности оказываются прежде всего осознанием своих обязательств и личных нравственных норм, которые нельзя диалектически низвести до уровня простых пережитков, не нарушив самой основы человеческого бытия.

Там, где методическое познание проникает в политику, государственный или партийный интерес ценится выше обыкновенной человеческой совести, выше личного понимания добра и зла — их необъективность делает их бесполезными. Подчиненное положение человеческой совести придает политике черту такой бесчеловечности, такой глухоты к человеческим интересам, какой раньше никто не мог себе представить. В произволе разбушевавшегося тирана есть все же нечто человеческое: ненависть, алчность, страх. В безразличии к человеческому миру, скрывающемся за научным мировоззрением, дает себя знать описанная Прейсне-

ром «экзистенциально иная власть». Никто глубже Солженицына не осознал общую черту любого революционерства: выселение личной совести куда-то в анонимную область идеологии. Человек при этом становится «способным на все», он не знает угрызений совести или сочувствия. Часто можно слышать лживые утверждения, будто Солженицын не понимает Запада, его скептического рационального духа, оставаясь всецело в плену у русских антизападных предрассудков. Но что, собственно, значит выражение «понимать Запад»? Выходит, Гитлер отлично понимал Запад, раз ему удалось оттяпать большую часть Европы при попустительстве скептических и рациональных перестраховщиков Западной Европы? И кто уж тогда понимал Запад лучше Сталина, которому удалось отторгнуть от тела Европы добрую треть в качестве вознаграждения за его вклад в дело спасения европейской скептической и рациональной культуры? Разве не абсурдно и не оскорбительно для мыслящего человека видеть, как западные политики и интеллектуалы отказываются признать тот простой факт, что Советский Союз в своей политике не может всерьез стремиться к «миру», так как вся его внутренняя организация основана на перманентной войне с классовым врагом? Именно такое объективистское попустительство насилию имел в виду Солженицын, когда, выступая по английскому радио и говоря о Мюнхенском сговоре, он подчеркивал, что всегда разумней руководствоваться нравственным убеждением, чем расчетом или очередной рациональной теорией исторической необходимости. Но разве не стало отличительной чертой современной Европы выселение нравственных категорий за границы объективной реальности, где сиюминутная экономическая прибыль значит больше, чем обязательства, вытекающие из общей нравственной и культурной традиции европейских народов? Именно под таким углом зрения реагировали французские «новые

философы» на диссидентскую культуру: для них «дис-сент» — не что иное, как возврат к выселенной действительности. В отношении моего поколения к Западу должен быть восстановлен этот полемический мотив, труднодоступный для понимания многих эмигрантов, которых приводит в экстаз перспектива отпуска в Испании, стабильность немецкой марки или новая машина.

Наше поколение росло «параллельно» исторической необходимости, на которую ссылалась новая эпоха. Термин «параллельный полис», которым охотно оперирует Вацлав Бенда¹⁴, следует понимать в более общем значении: это ситуация людей, оставшихся верными своему личному убеждению и мнению, в мире, где господствует объективная необходимость, навязываемая анонимными аппаратами. Личный опыт, естественный мир и нравственное убеждение оказались на задворках нашего века: хотя «андерграунд»¹⁵ и чужд моему скептическому поколению, мне нравится его обостренное понимание неизбежной параллельности любого «осознания действительности». Р. Прейснер доказывает, что христианская культура вообще возможна только как культура параллельная. Ниже я попытаюсь наметить три основных источника параллельности моего поколения.

В первую очередь, речь идет о параллельности истин — настолько истинных, что неизбежно преданалитичных, оказывающихся поэтому «истинными пред-рассудками», которые не в силах преодолеть никакая диалектика. Когда мне впервые — уже эмигрантом —

¹⁴ Молодой евангелический пастор, один из теоретиков чешского «андерграунда» и активист Хартии-77.

¹⁵ «Андерграунд» в ЧССР: общественно-культурное движение, в основном в среде рабочей молодежи, сложившееся первоначально вокруг неофициальных рок-ансамблей. Судебный процесс над бардами «андерграунда» в 1976 году явился толчком к объединению всех оппозиционных сил в рамках Хартии-77.

пришлось столкнуться с радикальной идеологией западного университетского «истэблшмента», меня потрясло то обстоятельство, что ее адепты воспринимают как смешные предрассудки те истины, которые значили для нас так много, что ничем иным, кроме как предрассудками, и быть не могли. Помню свой немой ужас, когда одна профессорша социологии, излагая о сталинизме и Солженицыне, изрекла на полном серьезе: «Все это слишком сентиментально. Пора перестать распускать сопли над каждым человечком, принесенным в жертву, — это не более, чем выражение наших индивидуалистических предрассудков. Ведь по статистике в Советском Союзе дела идут гораздо лучше, чем до революции». Примерно в таком же духе один армейский политрук наставлял меня, когда я должен был вместо него сделать какой-то доклад: «Никаких индивидуалистических предрассудков, товарищ, — мыслить надо политически!»

Слово «предрассудок» звучит здесь в значении, отличном от того, которое придал ему просветительский рационализм. «Этот ничтожный плод незнания, который овладевает разумом, чтобы ослепить и заточить его» («Энциклопедия», статья «Préjugé» — «Предрассудок»). «Преступления и предрассудки — родные братья» — добавляет Гельвеций. Наша эпоха, однако, знает и такие преступления, которые были родными братьями отсутствия всяческих предрассудков. В современном просветительском смысле слово «предрассудок» означает познание, к которому мы пришли не с помощью рационального метода, а через авторитет традиции или образцовой личности. Просветительский рационализм развил картезианское сомнение до той степени, когда любое познание, предшествующее методическому сомнению, стало для него неприемлемым предрассудком. Разум таким образом вступил в конфликт с категориями «авторитет» и «традиция». Человек свободен, лишь освободившись от своих пред-

рассудков и действуя исключительно по разумению: предрассудки могут быть нравственные, личные, социальные, сексуальные, религиозные и т. д. Но ведь суть людского опыта жизни в том, чтобы быть принятым в сообщество ближних, которое предшествует любому «рассуждению», любой «рассудочности» и, следовательно, является предрассудком, который обязывает. «Мыслить политически» на практике означает необходимость выделиться из сообщества, разорвать узы, связывающие с конкретными людьми. Например, соседа-книготорговца, который всю жизнь был мне симпатичен и полезен, предложено теперь считать «классовым врагом» или «грязным евреем». «Мыслить политически» означает вычеркнуть в себе какое-либо осознание общности с ним, ранее такое острое, и не чувствовать впредь никакой связи с ним. Практика показывает, что человек без предрассудков — это человек, способный на все, человек вне людского сообщества. «Ты что, не изжил предрассудки? — спрашивает идеолог, видя, что вы не решаетесь принять участие в выселении людей и реальности. — Так это же историческая необходимость!»

В подсознании каждого гнездится чувство опасности, связанной с человеком, свободным от собственных предрассудков. Не случайно мы говорим: «это человек без тормозов, он на все способен». На все способный человек оказывается чудовищем. Есть предрассудки, которые нельзя зачеркнуть, не нарушив своей собственной сущности. Или, говоря словами Грабала, «некоторые пятна нельзя вывести, не нарушив основы ткани». Убийство нельзя превратить в статистику, а некоторые предрассудки важнее, чем все диалектические рассуждения вместе взятые. Вот главная загвоздка нашей методической эпохи: как защитить истины столь истинные, что могут быть только предрассудками, от диалектической агрессивности революционной рассудочности? В эпоху, когда диалекти-

чески растворяется вся нравственная традиция западноевропейского человечества, а человек попадает под власть формулировок, делающих его на все способным, верность следам действительности, угадываемой в нравственных предрассудках, оказывается существенным мотивом параллельности моего поколения.

Другой чертой этой параллельности является защита речи от вторжения «птидэпэ» — искусственных языков, рациональных знаковых систем, в которых медленно, но верно гибнет цивилизация диалога, сложившаяся в Древней Греции. Для греков речь была — распознавание единства мира в неповторимом опыте личности. Речью мы сообщаем все о мире, тем самым меняется и наше отношение к среде, в которой мы живем. В основе человечности — это освобождающее превращение связи со средой в связи с миром. Через речь человек как бы отстраняется от своей среды и лишь с некоторого расстояния он способен осознать свою среду как часть мирового единства. Известно изречение Гумбольдта: «Речь — это взгляд на мир». Это изречение недоступно для понимания релятивистского XX века. Он толкует его по-своему: мол, речь обуславливает наше мировоззрение. Речь здесь понимается как фактор, обуславливающий — наряду с экономикой — человеческое понимание действительности. Человек оказывается узником языка. Однако в действительности первоначальный смысл изречения Гумбольдта прямо противоположен: речь — это взгляд на мир в том смысле, что она не ограничена средой; все, что изречено, уже «за» средой, трансцендентно по направлению к миру в целом, к горизонту всего человеческого опыта. В языке таким образом происходит освобождающая антиципация единства мира как горизонта любого возможного сообщения.

Таким образом, владеть речью означает «всегда быть уже в мире», никогда не будучи целиком пленником собственной среды. Но эту связь с миром нужно

пестовать в языке, так как власть стремится ограничить функцию речи простым воспроизводством среды, исключив из нее эту самую горизонтальность, благодаря которой человек освобождается от своей среды, осознав ее как аспект мира. Тут я имею в виду власть не только в политическом смысле слова, но и такую власть, которая вытекает из межчеловеческих отношений и самооцензуры. Речевая цивилизация является по существу борением с властью, так как ее смысл — защитить связь с миром от попыток власти низвести ее до уровня простого отражения среды, орудия класса или, скажем, инструмента перевоспитания человека. Когда-то, на семинаре по психическим расстройствам, мы определили невротическую личность как «существо, для которого в жизни нет окон — есть только зеркала». Так же можно определить и власть: это стремление превратить речь в зеркало среды, нейтрализовать в ней освобождающий «взгляд на мир», который возрождается в любом диалоге.

Сущностью речи является вопрос. Первичность вопроса заключается вот в чем: понять смысл сказанного или содеянного можно, лишь поняв вопрос, на который отвечают эти высказывания или поступки. Например, понять, почему имярек говорит постоянно о себе, можно, только поняв вопрос, на который он отвечает своим поведением: можно предположить, что такой человек страдает от неуверенности в себе и своей роли в социальной группе, и т. д. Открытие вопросов как горизонта человеческой речи и поведения — такова суть процесса, именуемого «пониманием» или «интерпретацией». Сущность вопроса — это открытие горизонта мира, который анонимно, подсознательно функционирует в нашей речи и поведении. Паточка анализировал опыт мира, который тем и особен, что всегда остается лишь горизонтом нашего опыта и никогда не бывает злободневно заданным как опыт вещей в мире. Поэтому, называя вопрос

сутью речи, я имею в виду то обстоятельство, что только вопросом и может речь открыть связь с миром внутри сообщений, которые мы адресуем своей среде и которые в быту работают лишь как орудие этой среды: такое открытие горизонта совершается только в речи, но не в искусственных языках. Речевая цивилизация, к которой мы принадлежим, находится в смертельной опасности, так как примат вопроса, свойственный речи, все заметней уступает примату ответа, свойственному искусственным языкам.

Нашему поколению, как никакому другому, довелось пережить процесс произвольного уничтожения речи. Зараза «птидэпэ» поразила все сферы нашей культуры; наше детство и юность она погребла под собой наглухо, словно песчаная лавина. Бежать из страны Птидэпэ, выкарабкаться из-под песчаного заноса — для этого надо было восстановить речь, сведенную к одной лишь функции — славить среду. А восстановить речь значит восстановить главенство вопроса над ответом, вернуть речи, превращенной в зеркало среды, смысл окна, открытого для взгляда на мир. Молодые поэты 60-х годов (Груша, Верниш, Кабеш, Ганзлик, Броусек, Топинка¹⁶) были прежде всего событием в области языка. Однако, на мой взгляд, крупнейшим критиком искусственного языка, т. е. языка, основанного на первенстве ответа, является Вацлав Гавел. Его «Сила бессильных» — трактат о могуществе речи, противостоящей самопроизвольному движению «птидэпэ».

Третий источник параллельности моего поколения — ориентация скорее на память, чем на историю. Память хранит главным образом фабулы, были, в то время как в основе истории лежат статистика и необ-

¹⁶ Наиболее яркие представители литературного направления, сложившегося вокруг журнала «Сешиты». После «нормализации» журнал был закрыт, а перечисленные авторы продолжали печататься в самиздате.

ходимость. У былей нет необходимости, они просто случаются и становятся воспоминанием. Как бунт склоняется перед революцией, так и были склоняются перед историей. Но бунтари остаются в человеческой памяти, словно напоминание о сокровеннейшей основе любого нашего поступка: о возможности противостоять необходимости. Литература моего поколения — это, прежде всего, процесс вспоминания былей в эпоху победоносной истории.

У меня нет объективных данных о моем поколении. Я ушел из страны в то время, когда наша принадлежность к одному поколению проявлялась скорее в прочитанном, чем в написанном нами. Но меня не покидает ощущение общности, взаимной принадлежности, которое я и попытался определить здесь.

Февраль 1982, Генуя

Перевел с чешского Ефим Фиштейн

Лондонская галерея «V. Miro & E. Shpizman Gallery» организует выставку-продажу произведений живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства художников, эмигрировавших из СССР. За информацией можно обращаться на русском языке:

V. Miro, E. Shoizman
Kensington & Chelsea Office
71 Walton Street
London SW3 2HT

Иосиф Ицков

ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ЖЕРТВ СТАЛИНА

Со дня смерти Сталина исполнилось тридцать лет. О его человеконенавистничестве написано множество книг. И все же далеко не все преступления Сталина известны мировой общественности.

Многие годы я хранил эту «тайну» в своей памяти с тем, чтобы, когда представится возможность, предать ее гласности, полагая, что она может пролить свет на истинную подоплеку преждевременной смерти Надежды Сергеевны Аллилуевой — второй жены Сталина.

В двадцатые годы нашего столетия, работая в Замоскворецком районном комитете города Москвы Российской (Всесоюзной) Коммунистической партии (большевиков), переименованной в 1952 году в Компартию Советского Союза, мне довелось присутствовать при вручении партийного билета Н. С. Аллилуевой в связи с обменом партийных документов.

Будучи очень скромной женщиной (об этом свидетельствует и Н. С. Хрущев в своих «Воспоминаниях», опубликованных на Западе), Н. Аллилуева наряду с другими лицами, пришедшими в райком, ожидала своей очереди. Прочитав анкетные данные, председатель партийной контрольной комиссии Иван Михалько (рабочий-металлист), задал Н. Аллилуевой вопрос, чем занимается ее муж, на что, смутившись, она ответила, что он работает в Центральном комитете партии, но дотошный Михалько продолжал допытываться, пока она не назвала фамилию: Сталин.

Однако на Михалько это не произвело большого впечатления (тогда Сталин еще не был ни «великим», ни «гениальным»), и он продолжал задавать вопросы и довел ее до слез, когда бестактно заявил, что ему непонятно, из каких соображений молодая девушка могла выйти замуж за человека намного старше ее по возрасту, у которого сын — почти ее ровесник... Вручив Аллилуевой партийный билет, Михалько сказал: «Ну, ничего, не горюй, у тебя еще всё впереди, а вот мы уже идем к концу»...

Заметим, что Михалько о ш и б с я: Н. С. Аллилуева ушла из жизни в 1932 году, а Михалько пережил ее на пять лет и в 1937 году был расстрелян как «враг народа»... Вот они, человеческие судьбы!

В этой связи, хотелось бы упомянуть о том, что, когда при чистке партии в 1921 году Аллилуева была исключена из партии, Сталин ничего не предпринял для исправления допущенной ошибки, зато Ленин, узнав об этом, направил 21. 12. 1921 года письмо в Центральную комиссию по чистке партии, в котором говорилось, что он «л и ч н о наблюдал ее работу как секретарши в Управлении делами Совета народных комиссаров (Совнаркома), т. е. *мне очень близко*».

«Считаю необходимым указать, — писал Ленин, — что всю семью Аллилуевых, т. е. отца, мать и двоих дочерей, я знаю до периода Октябрьской революции. В частности, во время июльских событий, когда мне и Зиновьеву приходилось прятаться и опасность была велика, меня прятала именно эта семья, и все четверо, пользуясь полным доверием тогдашних большевиков-партийцев, не только прятали нас обоих, но и оказывали целый ряд конспиративных услуг, без которых нам бы не удалось уйти от ищеек Керенского. Очень может быть, что ввиду молодости Надежды Сергеевны Аллилуевой это обстоятельство осталось неизвестным комиссии».

В результате обращения Ленина Н. С. Аллилуева была восстановлена в партии.

Я был на похоронах Аллилуевой; незадолго до выноса гроба с телом покойной, установленного в здании Государственного универсального магазина (ГУМ) на Красной площади, в зал вошел Сталин, ни на кого не взглянувший, постоял несколько минут и коснулся рукой гроба, как бы отталкиваясь от него, и на Новодевичье кладбище, где была похоронена Аллилуева, не поехал. Это вызвало много кривотолков о взаимоотношениях Сталина с женой, по официальной сталинской версии скончавшейся от «сердечной недостаточности», а в действительности, как мне по большому секрету рассказал бывший в то время начальником Лечебно-санитарного управления (Лечсанупр) Кремля мой шурин М. С. Металликов (расстрелянный в 1937 году), Н. С. Аллилуева застрелилась и оставила письмо, в котором выражала возмущение действиями Сталина, его замыслами в отношении лидеров оппозиции и его недостойным, нетерпимым поведением в быту...

Через четверть века после этого я встретил освобожденную из заключения после смерти Сталина Полину Семеновну Жемчужину — жену В. Молотова, с которой я был знаком еще в двадцатые годы, когда она работала секретарем партийной ячейки, а затем директором парфюмерной фабрики «Новая заря», расположенной в нашем районе. Будучи уже тяжело больной женщиной, Полина Семеновна поведала о своих тяжелых переживаниях, а когда разговор коснулся преждевременно ушедших из жизни общих знакомых, она рассказала, что в ночь на 8 ноября 1932 года была с мужем на «вечеринке» по случаю 15-й годовщины Октября в кремлевской квартире Ворошилова, где был и Сталин с Надеждой Сергеевной.

Когда «вечеринка» подходила к концу, Сталин, проходя по залу, бросил окурки папиросы в лицо Ал-

лилуевой, сидевшей на диване рядом с Жемчужиной, после чего они обе удалились из квартиры и в ночной тиши долго бродили по безлюдному Кремлю. Аллилуева была в чрезвычайно возбужденном состоянии, плакала навзрыд и говорила, что дальше не может жить под одной крышей с *человеконенавистником*, сыгравшим роковую роль в ее жизни (разгадка прояснится позднее, о чем пойдет речь в дальнейшем), что ей жалко несчастных детей, но терпеть выше ее сил.

Жемчужина, как могла, пыталась ее успокоить и приглашала пойти к ней, чтобы провести там остаток ночи, но Аллилуева отказалась и, поцеловав собеседницу, ушла к себе.

Полина Семеновна не могла себе представить, что Аллилуева станет на путь самоуничтожения, но, по всей видимости, она уже решилась на такой шаг, и случай с окурком папиросы переполнил чашу терпения... Рано утром раздался телефонный звонок по кремлевской «вертушке»: звонил Сталин и позвал Молотова, которому он сообщил о внезапной кончине Аллилуевой...

Итак, одной из *первых* сталинских жертв, через десять лет после его пребывания на посту генсека, была мать его двух малолетних детей... Таким образом, уже тогда были все основания для предъявления Сталину обвинения в совершении уголовного преступления, а именно: доведение до самоубийства его же *ны* путем *систематического унижения ее личного достоинства*, но этого, как известно, не произошло (тогда еще многое было покрыто непроницаемым мраком неизвестности), и Сталин еще в течение долгих двадцати лет творил одно злодеяние за другим...

(В тех же «Воспоминаниях», рассказывая о Н. Аллилуевой, Н. Хрущев говорил: «Она сама застрелилась, но она применила, так сказать, оружие и покончила с собой в результате нанесенного, так сказать,

ну, оскорбления женской чести, значит, этой самой Надежде Сергеевне, значит»... Ничего не скажешь: богатый русский язык...)

Жемчужина полагала, что ее дружеские отношения с Аллилуевой и последняя встреча с ней, о чем подозрительный и мстительный Сталин был осведомлен, послужили одним из поводов для ее ареста и заточения в тюрьму в годы борьбы с «безродными космополитами» и «еврейскими националистами»...

И, наконец, расскажу о «т а й н е», которую поведала мне старшая сестра Надежды Сергеевны.

После XX съезда партии (1956 год), когда я был членом Московской городской коллегии адвокатов, мне довелось оказывать юридическую помощь лицам, выжившим и вернувшимся из заключения и ссылки.

Однажды ко мне в юридическую консультацию пришла болезненного вида женщина. Это была Анна Сергеевна Аллилуева. Назвав фамилию видного партийного работника, по совету которого она обратилась ко мне, Анна Сергеевна сказала: «Я знаю твою биографию, ты так же, как и я, был навсегда «прописан» во Владимирке (известная особо жестким режимом Владимирская тюрьма), и поэтому я пришла к тебе».

Она была морально подавлена тем обстоятельством, что, несмотря на проводившийся тогда процесс «десталинизации», не в силах добиться посмертной реабилитации своего мужа Станислава Реденса (племянника Ф. Дзержинского), расстрелянного в годы сталинских чисток.

Я успокоил Анну Сергеевну и взялся за то, чтобы справедливость восторжествовала; у нас установились доверительные отношения, мы довольно часто встречались, обменивались воспоминаниями о прошлом и о судьбах многих общих знакомых. Анна Сергеевна была хорошей рассказчицей (ее воспоминания публи-

ковались в газете «Правда») и хорошо осведомлена о тайнах тогдашней кремлевской элиты.

В один из вечеров, когда я был в гостях у Анны Сергеевны в Доме правительства по улице Серафимовича, незадолго до XXII съезда партии, она под строжайшим секретом поведала следующее:

В 1918 году Сталин был послан в Царицын (переименованный в 1925 году в Сталинград), для обеспечения скорейшей отправки хлеба в Москву, Петроград и другие промышленные центры, где продовольственное положение приняло катастрофический характер. Вместе со Сталиным в салон-вагоне ехали мой отец, старый большевик Сергей Яковлевич Аллилуев, оказывавший Сталину ряд услуг еще во времена царизма, и моя 17-летняя сестра Надя, работавшая секретарем-машинисткой в Управлении делами СНК. По тогдашним железнодорожным условиям, поезд до Царицына двигался медленно, подолгу останавливаясь на промежуточных станциях.

В одну из ночей отец услышал душераздирающие крики из купе, где находилась Надя. После настойчивых требований дверь отворилась, и он увидел картину, которая ни в каких комментариях не нуждалась: сестра бросилась на шею отца и, рыдая, сказала, что ее и з н а с и л о в а л С т а л и н. Будучи в состоянии сильного душевного волнения, отец вытащил пистолет, чтобы застрелить насильника, однако Сталин, поняв нависшую над ним серьезную опасность, опустившись на колени, стал упрашивать не поднимать шума и скандала и заявил, что он осознает свой позорный проступок и г о т о в жениться на дочери.

Сестра долго сопротивлялась браку с нелюбимым человеком, к тому же старше ее на двадцать с лишним лет, но была вынуждена уступить и 24 марта 1919 года был зарегистрирован брак между Сталиным, которому шел сороковой год, и

18-летней Аллилуевой, а через пять месяцев родился их сын Василий (кстати сказать, она не изменила своей девичьей фамилии).

Тем не менее, Сергей Яковлевич, презиравший Сталина, описал это глубоко возмущившее его событие, оставившее неизгладимый след в его душе, а рукопись, отлично зная характер и повадки своего зятя, закопал на даче под Москвой. Эту т а й н у он доверил лишь мне, своей старшей дочери.

Страдавший манией преследования, Сталин инстинктивно понимал, что тайное может стать явным, но добыть компрометирующий документ не смог.

Не случайно, конечно, что все члены семьи Аллилуевых, в том числе брат Надежды Сергеевны Павел Аллилуев, и даже дальние родственники (кроме престарелого Сергея Яковлевича), были впоследствии репрессированы как «враги народа»: ведь, как известно, ни у кого не было иммунитета от «сталинского суда».

Сама Анна Сергеевна многие годы содержалась в заточении во Владимирской тюрьме (в народе ее называли «сталинской вотчиной»), и лишь после смерти сатрапа была реабилитирована и вернулась в Москву.

Я был ошеломлен услышанным из уст Анны Сергеевны рассказом и спросил ее: не является ли этот факт разгадкой трагической судьбы ее сестры, ушедшей из жизни в тридцатилетнем возрасте. Она опустила голову на руки; долго молчала, на ее глазах показались слезы: «Да, это так и было, только никому ни слова», — шепотом произнесла моя собеседница.

Далее, Анна Сергеевна поделилась со мной воспоминаниями о встрече со Сталиным после ареста ее мужа С. Реденса. Он был на руководящей работе в ВЧК-ОГПУ-НКВД — полномочным представителем ОГПУ в Грузии, Белоруссии, начальником управления

НКВД по городу Москве и Московской области, а с 1938 года народным комиссаром внутренних дел Казахстана. С приходом Берия к руководству наркоматом внутренних дел СССР, Реденс в октябре 1938 года был вызван в Москву «для доклада» и отправился на Лубянку, откуда больше не вернулся.

На следующий день на квартиру Реденса явились «чекисты» грузинской национальности для производства обыска, и находившийся в квартире С. Я. Аллилуев пытался позвонить Сталину, но телефон уже был отключен, а через два дня Анна Сергеевна отправилась для встречи со Сталиным в его кремлевскую квартиру. Было обеденное время, и в столовую, куда была приглашена Анна Сергеевна, вошел Сталин в сопровождении Берия и Жданова (отца будущего зятя Сталина).

Анна Сергеевна обратилась к Сталину с вопросом: «Что произошло со Стасиком (Реденсом), почему его арестовали?»

Сталин опустил голову и занялся поданным блюдом, а Берия произнес следующую тираду: «Зачем, скажи пожалуйста, ты беспокоишься о человеке, с которым у тебя брак не зарегистрирован. Он наш давнишний враг еще с того времени, когда он работал в Грузии, а пощады мы никому не дадим». (Берия в свое время был заместителем Реденса в Грузии.)

Находясь в крайне возбужденном состоянии, Анна Сергеевна сказала: «Я вовсе пришла не к тебе и с тобой разговаривать не желаю. Станислав мой муж, я мать двух его сыновей и имею право требовать отчета на мой вопрос».

Воцарилась пауза, после которой Сталин, продолжая принимать пищу, промолвил: «Не волнуйся, Анна, НКВД у нас зря не сажает, там разберутся и примут правильное решение», — после чего Анна Сергеевна поднялась и, хлопнув дверью, удалилась...

В результате обращения к XXII съезду партии, Реденс был посмертно реабилитирован по судебной линии, однако в партии не был восстановлен, поскольку на него была возложена ответственность за незаконные репрессии в бытность его начальником управления НКВД по городу Москве, когда Хрущев, кстати сказать, был первым секретарем Московского комитета партии.

До конца своих дней Анна Сергеевна проявляла заботу о своем племяннике Василии, сыне Надежды Сергеевны, содержавшемся после смерти Сталина в той же Владимирской тюрьме; в связи с ожидавшимся визитом в Москву президента Соединенных Штатов Америки Д. Эйзенхауэра, Василий был освобожден из заключения, а после того как визит, по известным причинам (полет Пауэрса), не состоялся, он был отправлен в Казань, где вскоре скончался...

ДВУХТОМНИК В. Е. МАКСИМОВА

«Прощание из ниоткуда»

Книга 1

Памятное вино греха

Переиздание отдельным томом выпущенной в 1974 году книги, имевшей большой успех как среди русских, так и среди иностранных читателей. Автобиографическое произведение, повествующее о тяжелых годах детства и юности писателя. Дана широкая картина жизни простых людей в разных уголках Советского Союза. 1982, 428 с., 28 н. м.

Книга 2

Чаша ярости

Книга охватывает биографию писателя во время его литературного становления, его встречи с коллегами в провинции и в столице, беглые зарисовки литературной жизни, портреты писателей. Заканчивается она прощанием с родными людьми и местами и описанием отъезда из России. 1982, 360 с., 28 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M.-80



КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „АРДИС”

- Саша Соколов, „Школа для дураков”. 1976.
Саша Соколов, „Полисандрия”. 1983.
В. Аксенов, „Ожог”. 1981.
В. Аксенов, „Бумажный пейзаж”. 1983.
Ф. Искандер, „Сандро из Чегема”. 1979.
Ф. Искандер, „Кролики и удавы”. 1982.
А. Битов, „Пушкинский дом”. 1978.
И. Бродский, „Часть речи”. 1977.
И. Бродский, „Новые стансы к Августе”. 1983.
А. Цветков, „Состояние сна”. 1981.
В. Набоков, „Приглашение на казнь”. 1976.
В. Набоков, „Бледный огонь”. 1983.
В. Набоков, „Дар”. 1975.
М. Булгаков, „Собрание сочинений в 10-ти томах. 1982-
Том 1, Ранняя проза, 1982.
М. Булгаков, „Неизданный Булгаков”, 1977.
И. Бабель, „Забытые произведения”, 1979.
В. Ходасевич, „Собрание сочинений в 5-ти томах. 1983-
Том 1, Полное собрание стихотворений. 1983.
О. Мандельштам, „Проза”. 1982.
А. Белый, „Почему я стал символистом”. 1982.
„М. Цветаева – Фотобиография”. 1980.
„М. Булгаков – Фотобиография”. 1984.
С. Полякова, „Цветаева и Парнок”. 1982.
А. Гладилин, „Большой беговой день”. 1983.
В. Войнович, „Иванькиада”. 1976.
В. Войнович, „Выбор”. 1984.
„Метрополь – литературный альманах”. 1979.
Л. Копелев, „Утоли моя печали”. 1982.
Р. Орлова, „Воспоминания о непрошедшем времени”. 1983.
- Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Mich. 48104

Искусство

Александр Гершкович

В ТЕАТРЕ НА ТАГАНКЕ, С УТРА ДО ВЕЧЕРА

Эти театральные очерки писались в Москве в 1980-81 году, когда автор ждал разрешения на выезд. В таком неопределенном положении рассчитывать на публикацию, разумеется, не приходилось. И без того в редакциях косо смотрели на любой материал о театре на Таганке. Из моей последней книги «Очерки театральной жизни Венгрии» (Москва, «Искусство», 1979) пришлось убрать целые страницы о работе Любимова над «Преступлением и наказанием» в Будапеште, еще до его постановки в Москве. Статью на ту же тему в журнале «Театр» зарубили сходу.

Табу на имя Любимова было наложено после разгромной статьи в «Правде» 29 мая 1977 года. В большом «подвале» под заголовком «'Сеанс черной магии' на Таганке» (одно название чего стоит!) официозный критик Н. Потапов обрушился на режиссера градом обвинений — и в отсутствии «духа конкретного историзма», и в «подачке на зрительскую бедность» (?), и в мешанстве, и в сексе.

Особенно возмутилась «Правда», что в год 60-летия Октября, когда «вся страна готовилась достойно встретить юбилей, и театры соревновались в спектаклях на революционную тему», режиссер Ю. Любимов отважился поставить булгаковского «Мастера и Маргариту», где главным героем вывел Сатану. Причем, по словам «Правды», изобразил его «как всегда, правым: упования на духовно-нравственную пере-

стройку людей, — писала «Правда», — избавления их от вековых вожделений, низменных страстей тщетны». — Нет! — тут же патетически восклицал рецензент: «Там, где «правит бал» булгаковский Сатана, шаги реальной истории не слышны». Завершался разнос приговором: «Режиссерская магия здесь бессильна». В переводе с советского языка на русский «Правда» объявляла руководителя Таганки банкротом, с которым вообще нечего разговаривать. Это был сигнал к замалчиванию самого существования театра.

С тех пор о Таганке не пишут. Если перелистать пухлые выпуски справочника «Летопись газетных статей» и «Летопись журнальных статей» за 1978—1982 годы, где учтена вся советская периодика, там не найти даже упоминаний о Таганке, как будто такого театра нет на советской земле. В «Правде» в отделе объявлений «Сегодня в театрах» обычно не называют Таганку. В театр на Таганку ходят, билеты берут с боя, о нем говорят и спорят, но о нем не пишут. Вернее — не печатают.

Вот тогда у меня и возникло непреодолимое желание рассказать о том, какое место в жизни советских людей занимал и занимает Театр Юрия Любимова, рассказать свободно, без оглядки на редактора и на невидимку-главлитчика, рассказать так, будто советской цензуры уже не существует. Почти каждый вечер, за исключением вторников, когда театр выходной, я зачастил на Таганку, пересмотрел весь текущий репертуар, посещал репетиции, разговаривал с актерами, машинистами сцены, зрителями, стремясь запомнить напоследок побольше, вникнуть, понять...

В атмосфере вокруг театра, в импульсах, которые шли от него, в ритме, в котором он создавал свои лучшие спектакли, я почувствовал знакомое с недавних пор и мне состояние духа, когда живешь *еще* в привычном измерении, но *уже* в новом отношении к нему, когда *уже* освобождаешься от набивших оскомину

условностей, но *еще* вынужден считаться с ними и ждешь хоть каких-нибудь перемен. И действительно — театр на Таганке, с одной стороны, вполне легальный, подцензурный, подведомственный Министерству культуры РСФСР, а с другой — какой-то «трудно управляемый», то и дело нарушает ровный строй советского искусства и упрямо вызывает огонь на себя. Не воплощает ли его партизанское искусство дух переходного времени, когда вроде бы *уже* можно что-то сказать, но *еще* не волен все сказать до конца? Внимательный зритель, оказавшись в числе счастливых, попавших на его спектакли, не может не заметить, что его крохотная сцена, всегда открытая до задней кирпичной кладки, это *уже* не вчерашний советский театр, хотя, может быть, *еще* и не завтрашний.

Театр на Таганке нужен таким, какой он есть именно сегодня — с его новациями, с его взлетами и срывами, одновременно сердитый и насмешливый, лирический и броский, полный неожиданностей, но никогда не равнодушный, с портретами Станиславского и Мейерхольда *рядом* на стене, со смелыми метафорами и недомолвками, с прозрачными аллегориями и... с вынужденными уступками цензуре и властям. Иначе он не смог бы просуществовать на московской земле и вряд ли был бы так понят современниками.

«Таганка» идет впереди своих зрителей всего на один шаг, не больше, и это придает ее искусству особую заразительность. Начинает казаться в один прекрасный момент, что вслед за театром сделать этот шаг может каждый, что это вполне доступно уже сегодня, сразу по выходе из театрального зала на Верхнюю Радищевскую. Тот, чьим именем названа эта крутая улица, на углу которой стоит театр, как известно, советовал оглянуться окрест, «уязвиться душою» и понять, «что бедствия человека происходят... часто от того только, что он взирает *непрям*о на окружающие предметы». Побывав на спектаклях театра на

Таганке, особенно посвященных русской истории, невольно вспоминаешь Радищева. Его призыв «воспрянуть от уныния», чтобы «противиться заблуждению», оказался вполне злободневен.

И вина в том не Радищева и не театра. «Противиться заблуждению» — удел всей передовой русской культуры и, вместе с тем, источник ее силы. Театр на Таганке продолжает эту радищевскую традицию вполне сознательно, вдохновляется ею в цикле своих постановок из русской истории от «Пугачева» Есенина через «Что делать» Чернышевского, «Десяти дней...» Д. Риды и «Дома на набережной» Ю. Трифонова вплоть до последней, декабрьской 1982 года, премьеры «Бориса Годунова».

Так получилось по иронии судьбы, что трагедию Пушкина театр закончил репетировать в дни смены нынешней власти в Кремле, хотя готовил ее уже давно. Известно, что «Борис Годунов» кончается смертью Бориса и возведением на престол нового царя при полном безмолвствовании народа. (Тоже, кстати, факт русского театрального вольномыслия.) Свидетели рассказывают, какая мертвая тишина воцарилась в зале на Таганке во время просмотра этого спектакля, когда артист Губенко, сменив стеганый татарский халат Годунова на современный костюм, обратил пушкинский текст: «Что же молчите? кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович!» не к массовке на сцене, а к людям в зрительном зале. Судьба спектакля этим предрешилась. Но весть о том, что при Андропове запретили Пушкина, облетела Москву и оказалась опаснее самой постановки.

Когда сегодня на избалованном свободой Западе скептически удивляются возможности существовать неконформистскому театру в советских условиях, обычно рассуждают по западным меркам. Между тем, неконформизм на западе и востоке Европы совсем не одно и то же. В России он носит характер не полити-

ческой оппозиции, а скорее противостояния нравственного. И формы различные: в рамках западной демократии театр оперирует открытым текстом, а в шорах демократии социалистической — закодированным, понятным только тем, кто в этих шорах ходит. В западном театре злодей в кожаном пальто на сцене — просто персонаж, а в советском театре это уже опасная крамола, даже если «чекистскую» униформу надеет лъстивый царедворец времен Лжедмитрия. А если у него, к тому же, и бородка клинышком, то вся эпоха «железного Феликса» встает перед советским зрителем, как живая.

Чем тщательнее контролируется государством искусство, тем его язык становится изощреннее. Русская культура имеет в этом, увы, большой и горький опыт. Еще Н. А. Некрасов сформулировал для русской литературы спасительный совет: «Переносится действие в Пизу, / И спасен претолстенный роман». Советом этим пользовались многие деятели русского искусства в самых разнообразных вариантах.

В Советской России традиция нравственного сопротивления в искусстве сопровождала историю театра во все времена, включая лихолетье «ждановщины». Хорошо известно, например, противодействие гениального Мейерхольда государственному укрощению искусства, нивелировке его талантов, атмосфере апатии. Неистовый новатор, находивший разнообразные и утонченные формы театрального нонконформизма даже при обращении к классике («Дама с камелиями») или к прописям («Как закалялась сталь»), не сдавал своих эстетических позиций до последнего дня.

Кроме Мейерхольда, политике «выкручивания рук» в искусстве сопротивлялись разными средствами, хотя и не с одинаковым успехом, Таиров, Михоэлс, Дикий, Охлопков, Акимов... Оглядываясь назад, мы видим, что не было периода в советском театре, когда сопротивление бы прекратилось. Но все это были отдель-

ные художники-смельчаки, пока не родилась наша «Таганка» — молодой коллектив единомышленников. Полузапретный-полудозволенный плод замученного, присмиренного, но все еще живого, несломленного древа русского театра.

Возникнув в 1964 году, на закате хрущевской эры, из студии при Театральном училище им. Щукина, театр на Таганке не терял времени даром. Еще в студии он отработал свои принципы и быстро набирал силу. Начал с Брехта — с «Доброго человека из Сезуана», сделанного на одном энтузиазме — дерзко, молодо и сердечно, и затем каждый год выпускал спектакли, которые становились событиями общественного, не только театрального порядка: «Десять дней...», «Гамилей», «Что делать?», «Гамлет», «Товарищ, верь», «Маяковский», «Мать», булгаковский «Тартюф», «Пугачев»... Что ни спектакль, то целая нравственная и эстетическая программа: «Воспрянуть от уныния», «ощутить в себе довольно сил»!

В художественном отношении Любимов стремится к театру-синтезу, в котором сценические средства выражения не ограничиваются словом, а включают другие искусства — музыку, пантомиму, песню и даже кино. Актер Таганки должен уметь все — двигаться, петь, читать стихи, играть на гитаре, играть в пантомиме и в теневом театре. За годы работы Таганка создала целую систему сценических средств, которые помогают донести идею до зрителя иной раз бессловесно. «Театр — не для слепых, — сказал Любимов в самом начале пути, — он — искусство не только слышимое, но и *видимое*».

Так они работают вот уже без малого двадцать лет.

Чем жив театр, его актеры? В отличие от художника или поэта, актеры ничего не оставляют после себя, их искусство живет лишь один миг, вот в этот вечер, и исчезает вместе с тем, как пустеют подмост-

ки. Никакая зарплата не может окупить этот бескорыстный труд, тем более та мизерная, которую получает рядовой актер России. А на Таганке — все «рядовые», даже у Высоцкого — поистине всероссийского артиста — не было официальных званий. (Любимов получил «Заслуженного РСФСР» еще в театре им. Вахтангова, но предпочитает не афишировать этого — из солидарности ли с коллегами, или по другой причине.)

Единственной наградой для актеров Таганки остается признание их труда современниками: театр прикован к своим дням, и если его искусство не закрепить в памяти, оно уйдет бесследно.

Тот, кто дал команду не писать о Таганке, знал, что делает.

Когда сейчас, в зарубежье, думаешь, чего больше всего не хватает в новой жизни, уносишься мыслями к Таганке, к лучшему театру сегодняшней России, который умеет объединить своих зрителей памятью о прошлом, болью за настоящее, надеждой... Свое же назначение видишь в том, чтобы сделать здесь, чего нельзя там, — сохранить память о непослушном театре, засвидетельствовать его мужество и талант, рассказать о его сердитом и добром искусстве.

На репетиции

Театр на Таганке ставит новый спектакль: «Дом на набережной» Юрия Трифонова. Идут последние репетиции. Театральные цехи работают с полной нагрузкой.

...Зеркало сцены сплошь загорожено металлическими рамами со стеклами. Как в огромном аквариуме, отражается в них таинственная жизнь большого дома, недоступного для людей с улицы. Дверь лифта, лязгающая замком, — единственная щель, связующая

этот странный дом с внешним миром. Но и она охраняется бдительными вахтерами. Дюжие дяди, чьи лица с трудом различаешь в тусклом свете электрических лампочек, разговаривают сипло и коротко: «К кому?» и «Нельзя».

И без того мелкая сцена Таганки — дореволюционного синематографа «Вулкан» — урезана беспощадно. Актеров вытеснили с нее по чьей-то злой воле и заставили играть на узкой полоске авансцены, где двум человекам не разойтись. Все «жизненное» пространство захвачено «аквариумом», как называют теперь дом из стекла и бетона, в котором живут ответственные лица.

Актерам работать в этих условиях трудно — они продираются к сцене между рядами, задевая публику крайних кресел, играют в проходе партера, и от этой искусственной тесноты и неудобства в зале возникает почти физическая неприязнь к «Дому на набережной» с его нелепым витринным размахом для тех, кто живет в нем, и барским пренебрежением к тем, кто остался за его стенами. Так создается атмосфера этого спектакля.

Идет отработка отдельных сцен, монтаж света, прогон кусков. Юрий Любимов — за своим режиссерским пультом в седьмом ряду, у прохода. Перед ним микрофон, маленькая лампочка под колпачком, рабочий экземпляр пьесы. Рядом откинулся в кресле автор — тихий и внимательный Юрий Трифонов в роговых очках с толстыми стеклами. Время от времени они полусшепотом обмениваются репликами.

Любимов зажигает лампу на своем пульте:

— Давайте эту сцену, а потом сначала. Давид ушел? (Это о художнике спектакля Д. Боровском.)

— Переход дайте, Вениамин! — (Это — актеру В. Смехову, играющему в очередь с Золотухиным главного героя.) — Переход надо делать точнее, без грязи. Вчера смотрел «Мастера». Что происходит? Переход

от одной сцены к другой дается небрежно. Сколько потрачено сил, времени, чтобы отработать все как следует, а потом сами все растаскиваем. Идет грязь. Отсюда получается небрежность, неуважительность к себе, и зрителям. Начинают «мазать» исполнители, «мажут» осветители, шумовики. Поэтому я прошу — делайте лучше переходы. У нас спектакль состоит из кусков. Если мы его не сложим как полагается, ничего не получится. Давайте.

— Вениамин! Послушайте, надо играть наигранное возмущение. Надо себя вести так, чтобы ты стал противен.

Любимов вскакивает, идет к сцене уже «в роли». Показывает убедительно, остро.

— «Что я вам сделал плохого? Ну, что? За что вы меня так ненавидите?» Ты играешь это очень легко. А надо это делать как бы страдававший, как бы приняв валидол. Ну, попробуй.

— Опять нет реакции. Как-то литературно у тебя получается. Не надо литературы, больше изнутри.

Актер Александр Сабинин играет старого, одинокого профессора-догматика.

— Очень поверхностно, Саша. Очень поверхностно. Ведь вам через пять минут играть финал. А вы по физике врете. Это же его лебединая песня. Одинокий старик. Это его предсмертное... Вы идете с пустыми молочными бутылками в магазин. С пустыми, понимаете, с пустыми! И говорите, что Алексей Максимович Горький все-таки в чем-то неправ, и признаете правоту Федора Михайловича, которого раньше ни в грош не ставили. Это для вас трагедия прозрения. Вот если бы было наоборот, то вы бы не шли в магазин с пустыми бутылками, а у вас всегда был бы дома кефир. А так как в конце жизни отдаете предпочтение Достоевскому, то вам Сам Бог велел без кефира остаться.

— Да, вы рассеянны. Но что такое рассеянность в вашем положении? Это высшая форма сосредоточенности. Ну, давайте.

И так без конца.

Артист Сабинин, играющий профессора Гончука, снова выходит из лестничной клетки на авансцену — с тростью, с позвякивающими пустыми молочными бутылками в авоське. Как откровение, он произносит давно мучившую его мысль:

— «Алексей Максимович неправ. Нужно новое понимание. Все дозволено, если ничего нет, кроме темной комнаты с пауками. Это существует поныне».

Значительно лучше. Но вот странное дело: чем больше актер продвигается в роли, чем ближе подходит к сути, тем больше режиссер требует от него, выдвигая все новые задачи. На этот раз Трифонов пытается помочь актеру найти нужное психологическое самочувствие.

— Гончук, — говорит он, — пришел к крамольной мысли о правоте Достоевского недавно, с большим трудом переступив через свои прежние убеждения. Здесь, собственно, он впервые выражает свои долгие думы вслух. Он ищет слова. Они у него еще не готовы, он находит их на наших глазах. Нужны поиски слова...

Любимов, подхватывая замечания автора, конкретизирует их в действии, нащупывает интонацию. Он сам пробует несколько вариантов произнесения текста и, повернувшись в зрительный зал, говорит, как бы находясь в роли Гончука, с присущей тому старческой интонацией:

— Надо сосредоточеннее. Нельзя так бегло. Надо, чтобы вы сами почувствовали значение этих слов. Тогда и мы это почувствуем, а если скороговоркой, то не доходит. Давайте.

Он говорит это в ритме персонажа, и оттого мимолетное замечание режиссера приобретает характер не только смысловой, но и эмоциональной подсказки.

Сабинин вновь возвращается на исходный рубеж в дверях лифта и вновь, теперь уже иначе, очень близко к тому, о чем только что говорилось, играет сложный и принципиально важный эпизод. Его уже не прерывают, и актер, тяжелой старческой походкой подойдя к левому portalу сцены, с особой выразительностью и остротой играет разговор с самим собой, вернее — со своей тенью, отброшенной лучом выносного фонаря на кирпичную стену.

А Любимов не унимается. Видимо, он особенно ценит момент, когда актеру дается продвижение в роли, когда актер входит в полосу наития и легко поворачивает роль новыми и новыми гранями. За минуту до этого о них никто, включая и режиссера, даже и не подозревал. И тогда, как высший знак похвалы и творческой удачи, режиссер произносит свою любимую фразу:

— Здорово! Получается наваждение.

Главная трудность, над которой бьются и режиссер, и актеры, и автор, — показать природу современного антигероя Глебова — ключевой фигуры спектакля. Как возник в стране «передовых революционных традиций» этот массовидный тип конформиста, который готов согласиться с заведомой неправдой, но... с условием, что ей будет придан правдоподобный вид. Чиста ли его совесть? Да, конечно, ведь он ни на кого не доносил! Впрочем... Вспоминая прошлое, Глебов с помощью своего «двойника», который комментирует его поступки как бы «от автора», переносится в пионерское детство. Солидный человек в модном плаще и шляпе неумело повязал красный галстук, утерся им, как носовым платком. Наш «герой» вспоминает, как он выдал в школе своих товарищей Манюню и Славку, устроивших «темную» Шелепе — сыну крупного гебиста Шелепникова (арт. Джабраилов). Теребя пионерский галстук, который словно душит его, Глебов вспоминает, как грозный, несмотря на

свой карликовый рост, чекист Шелепников допрашивал его, направив в глаза сноп яркого света, и как позорно забурчало у мальчишки в животе. «Это было так неожиданно стыдно», — признается наш «герой», устыдившись собственной слабости.

— Вот здесь и сними, наконец, свой красный галстук! — вскакивает с места Любимов. — Кончилось детство! Ты — взрослый человек!

Вспышки любимовского темперамента во время репетиций сменяются сдержанными, усталыми замечаниями, почти просьбами. Какие-нибудь мелкие неполадки в работе осветителей или шумовиков вызывают у него крайнее раздражение. («Володя, — кричит он звукооператору, — ну, что у тебя сегодня не получается? Дай «бурчание в животе». Как не можешь? У нас была запись «воды». Ну, найди!»). Но через минуту он «отходит», когда нужно укрупнить, резче сфокусировать фигуру главного героя, и кротко, боясь обидеть, убеждает актера, совсем не в стиле «режиссера-деспота»:

— Ты извини, Вениамин, но надо брать на себя главное внимание. Ты делаешь пока — ни то, ни се. И получается скучно, зевать хочется. А надо резко, разнообразно — тогда интересно. Ну, давайте еще раз!

После перерыва репетируется эпизод, который, к сожалению, не войдет в будущий спектакль: окончание войны, победа народа в Великой Отечественной. Ни раньше, ни позже советский театр не показал тяжелую войну, выигранную многострадальным народом, с такой неожиданной стороны, как ее увидел на той репетиции Любимов. Почему он от этой сцены отказался? Понять, пожалуй, можно, но простить...

...Со стекол вестибюля кто-то сдирает полоски бумаги, — крест-накрест, — которыми заклеивались окна от бомбежек. А в это время откуда-то издалека доносится под гармонь одинокий, шемящий голос:

Ах, ты, папка, не слушайся мамки,
Возвращайся скорее домой.
Ничего, что ты, папка, калека,
Ничего, что ты, папка, хромой.

И все.

Даже выдавшие виды актеры не могли после этой наивной песни сразу справиться с собой и продолжать работу. Делал паузу и Любимов. Было так неожиданно, так правдиво и так страшно услышать голос Победы без фанфар на Красной площади, в трехрядной тульской гармошке безногого инвалида войны. Казалось, ты видишь, как он катится на роликах по вагону пригородной электрички с шапкой на культах. Да, победы — это и жертвы, подчас бессмысленные. Кто ответит за них? Кто вспомнит, если не театр?

Любимов останавливает репетицию, молчит, о чем-то думает.

— Не слишком ли сентиментально? — говорит он вслух сам себе.

(Хотелось крикнуть из заднего ряда: «Нет, Юрий Петрович, оставьте, не трогайте, это так верно, так хорошо!» Но все молчат. Смолчал и я — до сих пор жалею: ведь никто этой сцены так и не увидит. Пусть хоть прочтут.)

Музыкальные заставки. Любимов превращает их в этом спектакле в особый прием, характеризующий эпоху: у каждого времени — своя музыка. Для предвоенных лет — это талантливый и инфантильный Дунаевский: «Эх, хорошо в стране советской жить...» В первые послевоенные трудные годы слух советских людей улаживает милый и остроумный одессит на государственной службе Леонид Утесов с симпатичной дочерью — певицей Эдит. Когда убили Михоэлса и расстреляли других членов Еврейского Антифашистского комитета, радио часто передавало «шлягер» Утесова: «Что сказать вам, москвичи, на прощанье... доброй ночи, москвичи, доброй ночи». Когда теперь

Любимов использует в своей постановке эти советские «шлягеры», позиция его вполне определена. Он недвусмысленно показывает, что искусство может служить не только правде, но и лжи, а в наше время — преимущественно лжи, отрабатывая, как все, свой кусок хлеба. И люди должны это знать, должны помнить, чтобы и в будущем отделять плевелы от злака...

Сцену «ждановского» разгрома искусства, когда партия гасит «пожар космополитизма», разоблачая «антипатриотов-критиков», в спектакле сопровождает веселый утесовский мотив о «Пожарнике» в беспечном исполнении Эдит. «Он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой», — заливается ее голосом зал.

Любимов выстраивает странную мизансцену: кучка людей с искаженными злобой лицами, в неудобных позах, зажатые в проеме лифта, да еще и с инвалидной коляской, в которой сидит главный «разоблачитель», истекает бешеной слюной в направлении зала, ибо «разоблачаемый» стоит среди нас в проходе партера.

...Начальство требует от Глебова обвинений своему научному руководителю в космополитизме. Но не совсем уснувшая совесть нашего «героя» слабо протестует, ища уловку. Глебов — на распутье, он вспоминает, как это было. Чтобы найти верную интонацию для зачина этой сцены, Любимов не жалеет времени. Он подходит к краю помоста и десятки раз сам пробует произнести одно-единственное слово: «Вспоминаю!» — вкладывая в него множество смысловых и эмоциональных оттенков.

Разоблачители уже произносят громоподобные речи. Особенно неистовствует человек в военном френче, которого подвозят в коляске к открытой двери лифта. Он — живая развалина, но в нем столько злобы, что он готов излить ее на весь мир. В приступе ярости он взвизгивает в кресле-коляске, забыв о своем

недуге, и произносит проклятья космополитизму, антипатриотизму, формализму, конструктивизму и индивидуализму вместе взятым. Паралитик на мгновение превращается в эпилептика и, исчерпав свой яд, бледный и выжатый, вновь безжизненно откидывается в кресле. (Потом, уже на спектакле, его вместе с коляской спустят на руках в партер и провезут по тесному проходу, заставляя сидящих на откидных стульях шарахаться от него, как от чумы.)

Сцена «разоблачения космополитов» — одна из сильнейших в спектакле. Но Любимов ею не удовлетворен. Он вновь и вновь поясняет исполнителям свою мысль, сопровождая замечания коротким показом:

— Что такое космополитизм, вы не должны объяснять. За несколько минут, что вам даны, вы все равно этого не объясните. За часы — тоже. Да это и не наша задача. Вы выступаете на собрании, так произносите речи, бросайте лозунги, вешайте ярлыки: «Ударить!», «Покончить!», «Искоренить!», «Смести с лица земли!», «Вредитель!», «Агент!», «Беспаспортный!», «Безродный!» — вот весь ваш лексикон!

И тихим, упавшим голосом, садясь за режиссерский пульт, Любимов произносит свое сакраментальное: «Давайте, еще раз!» Все начинается сначала, актеры вновь впрягаются в свою лямку, и вдохновение постепенно следует за ними. Володя-звукооператор включает на полную мощность динамик с утесовским шлягером «Что сказать вам, москвичи, на прощанье...», который завершает эту сцену.

На одной из репетиций роль главного героя пробует Валерий Золотухин. Это совсем другой Глебов — приглаженный, бледный, в очках с металлической оправой, через которые тревожно поблескивают острые зрачки. У него худые и нервно-выразительные руки, казалось, все время вопрошающие о чем-то. Куда тянет этот человек, такой расчетливый и осторожный? Почему он так узнаваем в откровенном ци-

низме, с каким делает карьеру? Что это за социальный тип?

Любимов заметно меньше вмешивается в монологи Глебова-Золотухина, чем Глебова-Смехова. Он делает ему одно лишь общее замечание:

— Ко всему, что вы делаете, Валерий, надо дать связку со зрительным залом. Понимаете, Глебов — это богатырь на распутье. У нас это овеществляется сценой-«аквариумом» и залом со зрителями. Начинайте монолог, обращаясь к сцене, а затем постепенно поворачивайтесь к залу и обращайтесь к нам. Это и будет служить связкой. Пробуем, еще раз!

Поначалу все идет гладко, в полном соответствии с указаниями режиссера. Но вдруг взрыв. Началось вроде бы с пустяка. С проходной сцены, которую играют другие актеры. Но в том-то и дело, что в театре нет ничего «случайного», все связано в единый узел и каждая деталь работает на целое.

Смехов, Золотухин и другие участники спектакля сидят в зале и смотрят на сцену, комментируя игру товарищей, замечания режиссера. Идет эпизод с бабушкой героя, которую играет характерная актриса Власова. Бабушка у нее получается трогательной: маленькая, сгорбленная, но очень подвижная, со смешно перевязанным мизинцем, который она держит перед собой, как церковную свечку.

Любимов просит ее играть поскупее, снять излишнюю, как он считает, психологизацию, убрать паузы, не «рассиживаться» на роли, давать только суть.

— Раскрашивать этот кусок роли не надо, гоните сюжет, а то получается этакий «флюс», лирическое отступление, и мы теряем темп, распыляем внимание, — говорит ей режиссер и встает, чтобы показать, как надо сыграть болезненную старушку.

Плечи у Любимова куда-то сразу исчезают, он весь съеживается, становится в два раза меньше, руки у него делаются неестественно короткими, глаза —

пустыми, блёклыми... Перевоплощение Любимова вызывает на сей раз неожиданный отпор актрисы — уж слишком он убедителен в этом образе. Власова уязвлена и дает волю своему раздражению:

— Юрий Петрович, дайте сыграть хоть один раз, не прерывайте, ради Христа...

Сдерживая себя, Любимов кротко, упавшим голосом, но не без упрека, отвечает:

— Да я десять раз вам уже давал, а все так же...

— Может быть, настолько не получается, что вообще не выйдет, — вспылила немолодая актриса и вышла из зала.

— Что с вами сегодня? — подчеркнуто спокойно говорит режиссер, не шелохнувшись и глядя на сцену, но явно имея в виду незанятых актеров, сидящих за его спиной. — Посторонние люди подумают чёрт знает чего, какие отношения у нас. Возьмите себя в руки. Давайте.

И тут-то начинается главный спор. Золотухин возражает против трактовки Смеховым образа Глебова как заведомого «слизняка», он против открытого осуждения своего героя. Золотухину ближе оправдание поведения Глебова, раскрытие его внутренней раздвоенности. Глебов, по Золотухину, скорее жертва, чем активный носитель зла.

— Ведь он же, по существу, не сделал ничего дурного, — заявляет актер, возбужденно зашагав по проходу.

— Как не сделал? — возражает Любимов с места, все еще глядя на сцену, где настороженно застыли актеры, прислушиваясь к разгорающемуся спору.

— У него умерла бабушка, — продолжает Золотухин. — Можно понять его душевное состояние?

— Это неважно.

— Как неважно? Очень даже важно. Глебов — тоже человек, он переживает смерть бабушки, это надо показать.

— Это твоя кухня, — возражает Любимов, заметно повышая тон, как в диспуте с достойным оппонентом. — Это твоя личная кухня! — повторяет он. — Ты напридумал все это, ну и делай так, а он, — Любимов показывает на другого исполнителя, — будет делать по-другому.

— Глебов сам себе судья, — входит в раж Золотухин, обращаясь уже не к Любимову, а к «двойнику» Глебова на сцене, и тем самым невольно узурпируя роль режиссера. — А ты все ходишь и весь спектакль подсказываешь, как ему жить.

— Ничего подобного, — возражает Любимов с места. — Он полемизирует с нами, как мы полемизируем с ним.

— Лишний этот двойник, — не уступает Золотухин. — Актерски надо передать, что такое Глебов как явление, без подсказки со стороны.

— Это в вас эгоизм актерский говорит, — запальчиво парирует Любимов. — Не все в жизни Глебовы и не все Глебовы понимают, что они такое, как социальное явление.

— Вот и надо самому исполнителю Глебова передать это психологически. Это надо сыграть самому, без всякого двойника.

— Мы играем не психологическую драму, а память истории! Это все ваше актерское ячество. Бесконечное... «я, я, я»... — взрывается режиссер — сам бывший актер.

— Глебов сам над собою иронизирует, это и надо сыграть, — аргументирует Золотухин.

— Неправда! — вскакивает Любимов и кричит в притихший и бесконечно внимательный и доброжелательный к творческому спору зал. — Неправда! Это Гамлет верит в призрак отца, а Глебов, если бы был на его месте, не поверил бы. Глебов — бездуховный человек, он верит только в реальность обстоятельств. Другое дело, что это надо психологически оправдать,

но играть психологическую драму — не наша задача...
Давайте!

Золотухин, стоя в проходе между помостом и первыми рядами партера, освещенный квадратом света, начинает свой монолог, и мы видим, как все вдруг заиграло, засветилось в этой сцене, стало обретать значение и смысл.

И перед тобой, наконец, начинают вырисовываться контуры будущего спектакля — послевоенной театральной хроники нашей жизни, скроенной монтажом сцен из отдельных коротких и не всегда связанных внешним действием разноплановых кусков. Они образуют органичное целое пока лишь в воображении одного человека, который точно знает, чего он хочет, чего ищет...

В рабочем кабинете Любимова

Режиссер Любимов мало похож на почтенного мэтра от искусства, несмотря на его теперь уже мировую славу. Он представляет собой распространенный в Европе тип современного интеллектуала, по внешности скорее «физика», чем «лирика». В тонком свитере или в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом (никогда при галстуке, даже на дипломатических приемах в венгерском посольстве, где он часто появляется после того, как женился на миловидной венгерке), Любимов с первого взгляда очаровывает своей русскостью, васильковыми, чуть навывкате глазами. Его все зовут не иначе, как «Юрий Петрович», а близкие — просто Юрой, хотя он ровесник Октября.

Актер на амплуа первого любовника, до того, как стать режиссером, он сохранил свежесть души, лучистость глаз; кажется, и сегодня он мог бы с успехом сыграть своего Ромео в театре или Пятницу в фильме «Робинзон Крузо», с которого началась его карьера.

Он работает в искусстве как поденщик-труженик вот уже без малого сорок лет. Именно *работает*, а не служит. Мейерхольд — один из его заочных учителей и кумиров — не любил слова «работать» применительно к труду актера. «Работают в огороде, — обычно говаривал Мастер, — а в театре — служат». Время скомпрометировало это слово. Продолжая в главном Мейерхольда, Юрий Любимов вносит поправку в утверждение своего учителя, считая, что служат в министерствах и в разных органах, а в театре — работают. Один из своих последних поэтических спектаклей на Таганке он так и назвал: «Работа есть работа».

...3 часа дня. Только что закончилась репетиция. Любимов еще задерживается на несколько минут в зале, отдавая последние распоряжения. Поговорил с кем-то из актеров, потом медленно, как после рабочей смены, пошел вверх по широкой лестнице в фойе, через театральный буфет, в свою режиссерскую комнату на втором этаже, сопровождаемый кем-то из «штаба».

Он проходит узким коридорчиком с кельями артистических уборных для ведущих актеров. Вот она, его старая гвардия, как на смотре: «Высоцкий, Золотухин, Смехов», «Демидова, Славина, Жукова, Шацкая», «Шаповалов, Губенко, Хмельницкий», «Джабраилов, Сабинин, Ронинсон, Щербаков»... В этой скученности, в аскетизме обстановки — столик для грима, жесткий стул, зеркало, и все — есть ощущение тесного братства, без которого немыслим подвижнический труд актерской артели.

На дверях рабочего кабинета Любимова секретарь дирекции Елизавета Иннокентьевна повесила табличку: «Прошу у Юрия Петровича НЕ КУРИТЬ. Запрещено врачами». Час расслабления между репетициями и вечерним спектаклем — лучшее время для неторопливого разговора с Любимовым. Он садится за большой, заваленный рукописями и книгами письменный стол,

на котором стоит гротескный бюст Мейерхольда из цветного фарфора. Пока Юрий Петрович знакомится с моими вопросами, я рассматриваю стены его кабинета, испещренные автографами знаменитых людей, побывавших здесь. Гагарин и Фидель Кастро, соратница Брехта Елена Вайгель и японец Куросава, Лоуренс Оливье и Жан-Луи Барро, Бёльль, Артур Миллер... Люди разных взглядов и эстетических вкусов сходятся в одном — в признании новаторства устремлений театра на Таганке. Особенно выразительный отзыв оставил Артур Миллер: «*My faith in theatre has been renewed*» («Моя вера в театр возродилась»). Трудно получить профессионалу от профессионала большую похвалу. Для Любимова эти стены, испещренные автографами на разных языках, дороги еще и тем, что помогают ему почувствовать себя более независимым и сильным.

— Начнем, пожалуй, — говорит Любимов, отхлебнув горячего чаю с лимоном, принесенного нам в подстаканниках заботливой Елизаветой Иннокентьевной. — Первым вопросом вы спрашиваете, какую дату я считаю исходной для начала театра — еще в студии или с переезда на Таганку? Начало здесь — на Таганке, но со спектакля, который был подготовлен там, с «Доброго человека из Сезуана».

А. Г.: — Юрий Петрович, ваш театр до сих пор считается молодым, хотя работает уже давно. Вопреки предсказаниям скептиков и к радости друзей, он сегодня крепче стоит на ногах, чем до своего совершеннолетия. Поставлены и сохранены в репертуаре многие известные спектакли. Какие из них являются для вас этапными, включая и неудавшиеся?

Ю. Л.: — Надо внести уточнение. 16 лет для театра это уже зрелость, даже, по-моему, критический возраст. Не случайно «Современник» распался на 15-м году, после ухода Ефремова и отставки Табакова. Что

касается «этапных» спектаклей, то и здесь дело обстоит гораздо сложнее. Жизнь каждого спектакля — особая. К одним быстро охладеваешь, а потом вдруг начинаешь снова ценить их. Спектакль по Пушкину, например, — «Товарищ, верь...» — мы давно хотели снять, но подождали, обновили, и он опять пошел с успехом. С другой стороны, спектакль «Из жизни Федора Кузькина» Бориса Можая мы очень любили, но так и не смогли сыграть его до сих пор*.... Есть, конечно, главные спектакли, из них самый главный все-таки «Добрый человек...» С него все началось. Далее: есть расхождения в любви к спектаклю у режиссера, публики и артистов. Мы подготовили, например, «Бенефис», актерам он нравился, а я считал, что работа не получилась, как того я хотел, и не выпустил его на публику. У каждого спектакля — своя судьба. Они живут и меняются, как люди. Вахтанговский спектакль «Турандот» был прекрасен, а нынешний уже совсем не тот. И еще: важен зритель, он бывает разный. Как-то я смотрел «12 разгневанных мужчин» с Генри Фонда — отличная картина. Эстеты сидели в зале и скучали, а простая баба смотрела, едва дыша, и восхищенно приговаривала: «Как судят, как хорошо судят!».

А. Г.: — Ваше пристрастие к инсценировкам стало закономерностью. Объясняется ли это отсутствием «своего» драматурга или другими обстоятельствами, природой «Таганки», например?

Ю. Л.: — Видите ли, любая композиция требует своего решения. Если есть подходящая для нас пьеса, мы ставим. Вот и сейчас у нас идет Ф. Абрамов, Ю. Трифонов... Своего одного драматурга у нас нет, но есть круг авторов, круг композиторов, круг художников и вообще — свой круг... Не замкнутый.

* Спектакль по повести Б. Можая был запрещен цензурой. — А. Г.

А. Г.: — Как бы вы охарактеризовали стиль актера театра на Таганке?

Ю. Л.: — Мы отдаем предпочтение синтетическому актеру, стремимся к овладению музыкальным, ритмическим рядом, стремимся быть профессиональными во всем. Но это не значит, что это для нас самоцель.

А. Г.: — В последнее время вы много работаете в Венгрии. Постановка «Преступления и наказания» в театре «Вигсинхаз» в Будапеште многое дала, по признанию венгерских мастеров, им самим. Что дала эта работа вам?

Ю. Л.: — Опыт! Работа с актерами другой страны помогает еще раз проверить себя. Не скажу, что я работал там как-то по-другому, я работал в Будапеште так же, как и здесь, дома, чего не могу сказать про Миланскую оперу, где условия были совсем отличные от наших. В Венгрии я работал, как у себя, хотя сроки были более жесткие и все было расписано по часам, даже день премьеры был намечен в самом начале работы, как будто ни у кого не возникало сомнения, что спектакль получится и его примут, разрешат... Этого мы часто не знаем у себя в театре до последней минуты.

Были свои трудности, конечно, и там. В Венгрии, как и во многих других странах, существует крен в сторону актерской гегемонии. Актеры там слишком блюдут табель о рангах. Например, свет на репетициях ставят на дублерах помельче, а основные исполнители-«звезды» — гнушаются работать на выгородке: не по званию! Очень жалею, что не успел поработать с замечательным актером Золтаном Латиновичем, которого к тому времени уже не было в живых. Я видел его в кино, и мне кажется, что мы славно сработались бы.

А. Г.: — Почему вы выбрали именно этот театр?

Ю. Л.: — Я не выбирал. Кто хочет со мной работать, с тем я работаю.

(Наш разговор прерывается телефонным звонком, которого Любимов, по-видимому, ждал. Вскочив из-за стола, он прильнул к телефонной трубке и, по мере того, как слушал голос на другом конце провода, лицо его растворялось в улыбке. Он с сожалением опустил трубку и, сияя глазами, с торжеством заявил: «Первый зуб у сына!» «Что мне больше всего в нем нравится, — продолжал он, смеясь, — так это полная доброжелательность и открытость. Куда все это потом девается в человеке? Подойдешь к его кровати, скажешь: «Петя!», а он так тебе улыбнется, засучит ножками, как будто говорит: «Я — здоров!» Да, надо быть здоровым в этой жизни».)

А. Г.: — Существует мнение, что вы режиссер из числа тех, кто подавляет актера. А я убеждался на репетициях, что вы подчас удовлетворяетесь паллиативом. Как это объяснить: верой в актера, что он дозреет в спектакле, или пониманием того, как говорят французы, что ни одна красавица не может дать больше того, что она имеет?

Ю. Л.: — Знаете, что ответил Сталин, когда по какому-то поводу ему привели эту поговорку? «Мы заставим вашу француженку дать нам два раза». Так вот, возвращаясь к нашей теме режиссера-деспота, я могу долго талмудить одно и то же, но потом вижу: не берет, не берет — и все... Приходится довольствоваться возможным. Или менять исполнителя. Но меня больше беспокоит не это, а то, что со временем спектакль разваливается. Кто виноват? Актеры, постановочная часть, а главный виновник все же школа, актерская школа. Это объясняется тем, что у нас плохо учат актерскому делу, ремеслу, у нас не учат профессии так, как музыкантов учат нотной грамоте. Ведь нельзя почему-то представить себе музыканта в оркестре, который не умеет читать нот, а актера, ко-

торый не умеет что-то в своей профессии, видишь сплошь и рядом. Вот из-за этого главным образом и разрушается спектакль.

А. Г.: — Как была найдена в спектакле мизансцена «игра с тенью», разговор старого профессора с самим собой? Случайно или нет? Какова вообще роль случайности, импровизации в вашей работе?

Ю. Л.: — Огромна! Роль подсознания, интуиция в сценическом творчестве поистине огромна. Это еще не изучено как следует.

А. Г.: — Герой спектакля — Глебов — произносит фразу: «Такая штука была — война!» Очень ёмкая фраза, а под нее дается сентиментальный мотив. Достаточно ли этого, чтобы охарактеризовать момент?

Ю. Л.: — Я снял песню.

А. Г.: — «Дом на набережной» заполняет важную лагуну в показе на театре недавней истории нашего общества. В моем представлении, этим спектаклем выстраивается цепь: «Десять дней» — «Мастер и Маргарита» — «Дом», т. е. 1917 — 20-е, 30-е и конец 40-х годов. Так ли это?

Ю. Л.: — Если уж вы это заметили, то надо идти дальше. Срез идет от «Что делать?», потом идет «Мать», а дальше названные вами три постановки. Поворотные исторические моменты в жизни нашего общества за последние сто лет. «А зори здесь тихие»? Разве это не отражение языком театра наших военных лет? А «Деревянные кони»? Что это, как не рассказ о судьбах нашей послевоенной деревни? Что же касается «Дома на набережной», тут есть и другое. Я хочу рассмотреть тип Глебова как тип социальный. Как, каковым образом и благодаря чему такой человеческий вид получился?

А. Г.: — Вашему театру, видимо, многое позволено?

Ю. Л.: — Не больше, чем другим. Даже меньше, я бы сказал. «Тринадцатого председателя» вахтангов-

цам разрешили играть, а нам — вряд ли бы дали. Есть еще люди, которые добиваются, чтобы снесли как можно скорее старое здание нашего театра. Я воюю за него уже третий год.

А. Г.: — Но вам же построили новое прекрасное здание! Кстати, когда вы откроете его?

Ю. Л.: — Не знаю. Это спросите Дупака (директор театра. — А. Г.). Он с шашкой в руке борется за него. А я еще не знаю, что из всего этого шика получится. С трудом добился поставить в зрительном зале жесткие кресла. Хотели бархатные, мягкие. Чтобы удобнее спать. Акустика — отвратительная. Секрет театральной акустики, видимо, потерян. Никто ничего не помнит.

А. Г.: — Не чувствуете ли вы и актеры вашего театра некоторую усталость и неудовлетворенность, оттого, что энергия, которую вы отдаете делу, приносит в лучшем случае только эстетический эффект?

Ю. Л.: — Вопрос не совсем понял, но отвечу так: время покажет, какое влияние оказал наш театр.

Вечерний спектакль

Жители прилегающих к театру улиц уже привыкли, что в вечерний час, между шестью и семью, на станции метро «Таганская», на перроне, у эскалаторов, при выходе на площадь, их осаждают вереницы молодых и не очень молодых людей с одним и тем же вопросом: «Нет ли лишнего билетика?»

В старом зале театра на Таганке чуть более 600 мест (477, с откидными, в партере и 136 — на узком балкончике), а желающих попасть в него — в десятки раз больше. Особенно много страждущих в дни, когда идут нашумевшие спектакли. К их числу относится «Мастер и Маргарита», раскритикованный в пух и прах «Правдой».

Когда в 1966 году впервые вышел из печати роман Булгакова (спустя четверть века после кончины автора), далеко не все пробились к главной идее романа через затаенные авторские ходы. Литература «соц-реализма» с моралью, выраженной в стиле лапидарных телеграмм, заметно притупила у читателей восприимчивость к непрямым высказываниям в искусстве, к свободной игре фантазии.

Гротескное повествование о нэпмановской Москве 20-х годов с ее бурлящим и неустоявшимся укладом, где старое и новое перемешалось в причудливые формы бытия и сознания, с трудом сопрягалось при чтении книги с параллельным сюжетом из далеких и неясных библейских времен. Роман Булгакова для многих советских читателей так и остался художественной загадкой.

Но вот роман предстал на сцене Таганки, и мы увидели его в ином фокусе и в ином приближении, как будто только теперь догадались перевернуть бинокль и настроить его под нужным углом. Совместились два разнородных плана, спектакль заиграл гранями, отшлифованными искусным гранильщиком. Библейские мотивы и сиюминутный быт, философские размышления и вульгарная повседневность, верх и низ человеческого бытия, переплетая и дополняя друг друга, создавали ощущение пестроты и полнокровности жизни, какую-то особую карнавальную атмосферу.

Овеществленной идеей представления служил огромный маятник гигантских часов со старинным римским циферблатом. Спущенный с колосников посередине авансцены, он нависал над зрительным залом и то бешено, как в ускоренной съемке, отсчитывал бег взбунтовавшегося времени, то вдруг замирал в моменты безвременья. Эта театральная метафора была впервые найдена в другом любимовском спектакле («Час пик»), но там она несла скромную слу-

жебную функцию. В «Мастере и Маргарите» она вырослась до символа и превратилась в важное обобщение всего действия. То же можно сказать и об эффекте «просветления», когда режиссер по ходу спектакля время от времени подавал свет в зрительный зал, желая подчеркнуть особую актуальность той или иной мысли на сцене. В известном смысле «Мастер и Маргарита» — сжатая энциклопедия художественных приемов театра, отработанных Любимовской студией за много лет. Этим приемам отнюдь не чужд сознательный эпатаж, даже, если угодно, некоторая доля театрального «хулиганства», но все это направлено к тому, чтобы «выбить» зрителя из дремотного состояния, активизировать его мысль и фантазию, показать, что он пришел в театр, а не на скучную лекцию.

Но вернемся к спектаклю.

На излетах сцены, где из-за тесноты игрового пространства используются узкие вертикали порталов, была сделана как бы рама к спектаклю: слева — почти в натуральную величину угол кирпичного московского дома с номерным знаком «302/б», справа — контрастом, — пронизанное палящим солнцем широкое окно с лепниной в иерусалимском дворце евангельского Понтия Пилата. Две далекие друг от друга исторические реалии будут помогать нам на протяжении трехчасового спектакля легко переноситься из одного времени в другое, постоянно сопрягая прошлое с настоящим.

Спектакль Любимова состоит из нескольких художественных пластов. Он построен на принципе монтажа отдельных сцен, неравных по протяженности и значению, но имеющих внутреннюю завершенность. В своем единстве разрозненные картины являют новое качество, каждый из эпизодов, решающий казалось бы, частную задачу, вдруг становится зависимым от целого и приближает нас к смыслу всей постановки.

Я видел этот спектакль, по меньшей мере, трижды и всякий раз с удивлением открывал в нем новые, глубинные течения. Сначала спектакль поражает своей зрелищной стороной, особенно эпичностью своих библейских сцен. В обращении к этому материалу Любимов почти не имел предшественников на советских подмостках. Стилизуя евангельскую притчу, он рисует крупными, свободными мазками, минуя детали. Вечный поединок добра и зла, лжи и правды, духовной свободы и грубого практицизма предстает в конфликте правдолюбца Иешуа с его антагонистом — всемогущим римским прокуратором Пилатом. Оказывается, он не так прост, этот булгаковский Пилат. Он мучается не только головными болями, как многие смертные, но еще и совестью, что не у всех бывает. Вовсе не по своей воле говорит он одно, а думает другое — в том повинно тоже его время. Чем-то он даже более понятен нам, нежели непреклонный ригорист Иешуа. Чем? Какое отношение имеет конфликт Иешуа — Пилат к нашей обыденной московской жизни?

Театр не торопит с выводами. Прежде чем подвести зрителя к ответу, он дает нам насладиться сочными жанровыми сценами недавней Москвы. Мы становимся свидетелями роковой встречи у Патриарших прудов «поэта из народа» тугодума Бездомного (арт. М. Лебедев) с литконсультантом Союза Писателей, убежденным атеистом Берлиозом (арт. А. Сабинин). Последний горячо доказывает, что случайностей в природе не бывает, на все есть материалистическое объяснение, но через минуту сам станет жертвой рока, поскользнувшись на пролитом постном масле и попав под колеса трамвая. Потом мы попадаем в московскую «Психбольницу», куда незадачливого поэта, потрясенного таинственной гибелью Берлиоза, доставили в одних подштанниках после неудачного купания в Москва-реке, присутствуем на скандале, учиненном в писательском клубе. Затем мы переносимся в

дом «302/б», где поселилась опасная компания иностранных гастролеров во главе с магом Воландом (арт. В. Смехов), видим их издевательства над честными советскими тружениками типа Управдома-взяточника, которого уморительно играет актер С. Фарада. С другим «совслужащим» — провинциалом Поплавским (арт. Р. Ронинсон), мирно приехавшим в Москву на похороны своего племянника, — иностранные агенты проделывают вообще безобразие: сажают ему на лысину живую белую мышь, заставляя простого советского человека оцепенеть от ужаса. В следующий миг цепенеет в зале и мы, когда один из подручных мага — кот Бегемот (арт. Ю. Смирнов — человек, как человек, только с кошачьим хвостом), ловко подменяет живую мышь муляжем, откусывает ей голову и смачно жует, шокируя слабонервных. В зале раздаются дамские визги. В довершение этой фантазмагии другой подручный Сатаны террорист Азазелло (артистка З. Славина играет его в черном брючном костюме) извергает изо рта сноп желтого пламени. Таковы «их нравы» — смеется театр, доводя до абсурда избитый газетный тезис.

Так и идет этот удивительный спектакль от аттракциона к аттракциону, от сцен высоких, эпических, к низким, вульгарно-повседневным, то бишь наиболее фантастическим. Поэзия заземляется прозой, миф — реальностью, пока в финале, на прощальном балу Сатаны, всё не сливается в одну обобщенную метафору: жизнь и есть самый абсурдный театр.

Судьба художника в этом мире, хотя и оттеснена на второй план (здесь есть известный просчет режиссуры и ошибка исполнителя, избравшего для Мастера в гротескном спектакле слишком пастельные тона), тем не менее, все время пересекается с судьбой библейского героя. Оба они и побежденные и победители одновременно. Оба смяты и распяты действительностью, и оба обрели бессмертие тем, что не изменили

себе, не отступили от своих внутренних заповедей. Различие между ними скорее в масштабности, чем в качестве действия. И, конечно, в исторических обстоятельствах. О последних, впрочем, надо сказать особо.

Чем внимательнее всматриваешься в любимовскую постановку, тем более проступает в ней за яркой зрелищностью тенденция не противопоставлять, а сближать далекие эпохи, стягивать их особыми театральными скрепами. Это как раз то, против чего возражал рецензент «Правды», обвинивший Любимова в отсутствии «духа конкретного историзма», будто речь идет не о произведении искусства, а о строгом социологическом исследовании. В том-то и заслуга Любимова, что средствами *театральности* он сумел показать взаимосвязи эпох, повторяемость моделей поведения человека перед лицом аналогичных исторических обстоятельств. О само собой напрашивающихся параллелях в судьбе Мастера и библейского Иешуа мы только что говорили. Есть и другие многочисленные примеры того, как театр, пользуясь языком искусства, выражает свое время через другую, весьма отдаленную эпоху.

...Всемогущий прокуратор Пилат признает в душе правоту Иешуа, но сам пугается своей человеческой слабости. Он подозрительно оглядывается в стенах своего иерусалимского дворца, будто высматривая соглядатаев, и нарочито громко произносит заштампованный текст, без всякой веры в него: «Нет на свете и не будет лучшей власти, чем власть кесаря!». Артист Шаповалов — Пилат, как и все в этом спектакле, работает без грима, и его широкое, добродушное русское лицо, и характерная ухмылка, и быстрый хитроватый взгляд на «слушающие» стены, а потом, так же быстро, насмешливо, в зрительный зал — все принадлежит ему, нашему современнику Шаповалову, а не какому-то там библейскому Пилату. И мы в зале, его современники и соотечественники, вслед за ним

тоже думаем в эту минуту не о римском императоре в первом веке от рождения Христова, а о всех «кесарях» прошлого и настоящего.

Легко узнаваем в спектакле и вездесущий проныра Коровьев (арт. И. Дыховичный), в совершенстве постигший бюрократический стиль советской жизни еще на заре его формирования. Из формулы «нет документа — нет человека» Коровьев извлекает массу личных выгод. А разве не знакома сегодняшним зрителям риторическая фраза мага Воланда, произнесенная под занавес: «Каждое ведомство пусть занимается своим делом!». Все эти перебивки исторического и фантастического сюжета современными лексическими клише образуют в совокупности, да еще при соответствующей актерской игре, тот конкретно-исторический, то бишь сегодняшний фон, на котором разворачивается действие, лишь условно обращенное в прошлое.

Воскрешенный мир древнего мифа под рукой театра поразительно накладывается на современность, рождая одну аллюзию за другой, помогая проникнуть во вневременные связи человека со средой, понять реальные рычаги, приводящие в движение скрытые механизмы житейских обстоятельств. Прошлое и настоящее в спектакле Любимова так переплелись и сцепились, что перестаешь фиксировать их переходы, и только маятник, живущий в спектакле особым ритмом, то тягучим, то взбунтовавшимся, неумолимо отсчитывает отходящие в Лету минуты и часы человеческого века.

Есть в этом спектакле еще одна сцена, под самый финал, без которой рассказ о нем будет неполным. Прощальный бал у Сатаны. Волшебник Воланд обещает спасти Мастера, если Маргарита согласится стать хозяйкой на балу и будет встречать гостей обнаженной: так уж заведено у нечистой силы.

Как известно, в советском театре к стриптизу относятся весьма отрицательно как к продукту упаднической культуры. Театр на Таганке позволяет себе усомниться и в этой заповеди социалистической морали. Демонстративно долго театр показывает советскую женщину обнаженной, правда, со спины. Как ни странно, ничего страшного не происходит, государство от этого не рушится, никто в обморок не падает. Никто в зале ничего особенно нового для себя в этой эффектной сцене не открывает — вопрос ставится, так сказать, только в качественном плане.

Актриса Шацкая на самом деле изумительно сложена, и, надо думать, не только со спины. В венчике золотистых коротких кудрей она принимает гостей, отважно восседая у самой кромки сцены на деревянной плахе меж двух живописно вонзённых секир.

Ее прекрасное мраморное тело источает сияние в ярких лучах прожекторов. И тогда в театре происходит последнее и главное чудо. После первого ослепления женской красотой, когда глаз чуть-чуть привыкает, начинаешь воспринимать это зрелище с чисто эстетической стороны, как произведение искусства, подобно тому, как смотришь в музее на торс Венеры. Под власть красоты подпадает вместе с нами и сам Сатана, для которого, как известно, нет в мире ничего святого. Покоренный силой самоотверженной человеческой любви Сатана воскликнет в притихшем зале:

— Рукописи не горят!

Как не горит, добавим мы, любое настоящее искусство.

«О чем же этот спектакль?» — спросит зритель, привыкший к разжеванной идее. Вспоминается старый театральный анекдот, в котором актер жалуется режиссеру, что не может схватить сквозное действие роли. «Э, батюшка, — отвечает режиссер, — что там действие, да еще сквозное. Играть надо уметь!».

Идею любимовского спектакля, как и романа Булгакова, не сформулировать лапидарно. Она — в самой природе искусства, которое само по себе уже идея. Для театра на Таганке зритель — такой же участник спектакля, как и драматург, как и актер, и ему тоже «играть надо уметь». Кое-кто воспримет стриптиз Маргариты, согласно своим обывательским вкусам, как дешевый аттракцион, рассчитанный на «зрительскую бедность», подобно рецензенту «Правды». Но Любимов знает, он верит, что не перевелся еще в Москве и другой сорт людей, которым не чуждо прекрасное, которые найдут в жертвенной обнаженности Маргариты высокий поступок, забытую в наш век «калокагатию», этическую победу прекрасного над безобразным и ложным в жизни. И тогда этот сорт зрителей, на которых и делает ставку театр, увидит в ином освещении и поступок библейского Иешуа, восходящего на Голгофу, и отчаяние нашего современника — Мастера, сжигающего свой роман.

...Представление кончилось. Актеры выносят на сцену фотопортреты Автора, запечатлевшие его в разные годы жизни. Взгляд его везде одинаково задумчив. «Поймут ли меня?» — вопрошает он.

Любимов ответил на это за нас.

ГЕРШКОВИЧ Александр, — род. в 1924 г., литературный и театральный критик, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Института истории искусств (до 1971 г.) и Института славяноведения и балканистики АН СССР до 1979 г. Эмигрировал из СССР в 1981 году. В настоящее время научный сотрудник Русского исследовательского центра Гарвардского университета. Автор ряда книг и статей о русском и венгерском театре, среди них — «Поэтический театр Петефи», М., 1970, «Михаил Жаров», М., 1976, «Очерки театральной жизни Венгрии», М., 1979. Две его книги о венгерской культуре опубликованы в Будапеште. В эмиграции регулярно печатается в «Русской мысли» и «Обзрении» (Париж), «Новом Русском Слове» (Нью-Йорк), ж. «Russia» (Вашингтон), готовит к изданию книгу «Любимов и его театр».

ШОСТАКОВИЧ, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

Дмитрий Дмитриевич очень остро и своеобразно ощущал юмор. Иногда это выражалось открыто, а иногда трудно было понять, шутит он или говорит всерьез. Впрочем, эпизод, о котором я хочу рассказать, может, вовсе и не стоит воспринимать юмористически. На этот раз в глазах этого загадочного человека я не сумел прочесть его истинных мыслей. Мы стояли у дверей его прекрасного коттеджа, куда я проводил Дмитрия Дмитриевича после долгой послеобеденной прогулки. Был сочный ароматный воздух. Ветер со скрипом гнул тонкие стволы сосен, то и дело загоняя еще жаркое солнце в тучи. Все краски, цвета вокруг нас, лицо Дмитрия Дмитриевича каждое мгновение менялись от этой игры света и тени. Уже прошившись, у ступенек, он вдруг остановился, полуобернулся ко мне и спросил: «Гавриил Давыдович, скажите, как вы думаете, поставят мне памятник такой, как Горькому? В центре Москвы?» Я посмотрел на него с удивлением, стараясь понять, шутит он или нет. Но он продолжал в том же тоне: «Знаете, как Горькому, — могут соорудить?!» Глаза его были, как всегда, серьезны, тонкие губы сжаты — ну, что ему ответил: «Вы знаете, Дмитрий Дмитриевич, дай вам Бог, конечно, прожить еще долгие годы, но могут, могут поставить. Выберут место, постараются, может быть, поближе к вашему дому, где вы жили, или где вы выступали, или где Союз композиторов, объявят конкурс среди архитекторов и скульпторов, и изобразят вас в романтической позе, с посохом в руках, в развевающемся пальто. Что ж, поставят, все может быть!»

Окончание. Начало см. «Континент» № 37.

Дмитрий Дмитриевич ничего не ответил. Слегка улыбнулся, но глаза его как-то померкли, видно, он опять подумал о смерти и, махнув рукой на прощанье, скрылся в дверях. Мне много приходилось наблюдать Шостаковича в повседневной жизни. Он был удивительно деликатен, воспитан. Я не видел его грубым, развязным. Столь естественные для человека его масштаба и судьбы чувства гнева и даже ярости он никогда не проявлял открыто, таил их в себе, замыкался. Это, наверное, было мучительно тяжело. И, вероятно, в такие минуты терновый венец его окрашивался кровью.

Помню его необычайную аккуратность и даже педантичность. Глядя, как он неизменно точно к завтраку, обеду и ужину приходит в столовую Дома творчества, я невольно вспоминал Канта, по распорядку дня которого горожане проверяли свои часы. Ел Дмитрий Дмитриевич как-то механически, очень быстро, почти не пережевывая пищу. На столе у него всегда стояла банка маринованных угрей — он их очень любил. Любил за столом говорить о футболе. Он хорошо знал этот спорт, всегда ходил с удовольствием на футбольные матчи и понимал толк в игре... Часто, наверное для успокоения или отдыха, Дмитрий Дмитриевич любил раскладывать пасьянс. Иногда на веранде Дома композиторов он часами внимательно раскладывал карты и казался глубоко погруженным в это занятие. Во всяком случае, пасьянс его всегда сопровождал.

У Дмитрия Дмитриевича было немало каких-то милых причуд, странностей, которые очень органически сочетались с его человеческим обликом. Помню, однажды ему понадобилось купить лезвия, чтобы подчищать свои партитуры, свои нотные листы. Он меня попросил: «Гавриил Давыдович, пожалуйста, купите мне несколько бритвенных лезвий». Я сразу собрался идти, но он остановил меня: «Нет, нет, возьмите вот пятнадцать копеек у меня в кармане, условно... А то подарить что-то острое или нож — это плохой признак». Он

улыбнулся: «Говорят, к ссоре или разлуке». Я взял эти суеверные пятнадцать копеек, купил в Комарове ему лезвия. Наверное, он много тогда подчищал, потому что в это время писал интереснейшие вещи.

Дмитрий Дмитриевич никогда не замечал, кто как одет. Он на это просто не обращал внимания. В нем была такая воспитанность, что он никогда не делал замечаний вообще и по поводу, хорошо или плохо вы одеты, идет вам это или нет. Сам он одевался очень скромно, но всегда все, что он носил, ему шло, было впору. Особенно в молодые годы, когда он был здоров, когда он хорошо двигался и одежды шли ему, создавали какую-то удивительную нарядность. В минуты тоски (особенно, когда Дмитрий Дмитриевич вдовствовал) для него было утешением «уходить в запой» (я употребляю его выражение). Конечно, в действительности никакого запоя не было, но находились злые языки, которые говорили, что Дмитрий Дмитриевич пьянствует, что его губит пьянство, что это путь Мусоргского, — но это совершенно неверно. Дмитрий Дмитриевич любил большей частью изображать себя выпивающим. В этом всегда была театральность, розыгрыш. Он очень любил наливать стаканы, примерять, как это делают «гопники», изображать, что он тоже «забулдыга». Но иногда он, в окружении очень близких друзей, когда выпивал, уходил в себя, мрачнел, а порой, наоборот, задорно запевал знаменитую песенку кронштадтских матросов «Ты гори, гори, свеча, ты гори, гори, свеча, в красной жопе Ильича»... Когда Дмитрий Дмитриевич (с трудом) хмелел, его состояние иступления проходило, и, как правило, он снова с большой энергией брался за работу.

Дмитрий Дмитриевич при всей его удивительной человеческой опрятности любил, между прочим, замечать в людях какие-то слабости и немного подтрунивать даже над самыми близкими своими друзьями и

знакомыми. В этом был какой-то вообще свойственный ему дуализм, двойственность.

Дмитрий Дмитриевич любил прогуливаться в сопровождении композиторов. Как великий маг, он часто ходил в сопровождении своих поклонников и учеников. Так как, кроме всего прочего, он был еще обременен обязанностями ответственного секретаря Союза композиторов, он должен был знать, что делает закупочная комиссия, что и у кого покупает. Злые языки говорили, что композитор Л. (очень хорошо определил кто-то, что у него «лошадиная синева в глазах и внешность сурового индуса»), заместитель Соловьева-Седого по Ленинградскому отделению Союза композиторов, продал свой собственный, кстати очень неплохой, скрипичный концерт много раз. Он вносил некоторые изменения в партитуру и продавал свой концерт не единожды. И вот, прогуливаясь по комаровским дорожкам в сопровождении свиты, Дмитрий Дмитриевич внезапно останавливался и спрашивал: «Так как же А. И. продал свой концерт пять раз?!» Ему со смехом отвечали утвердительно и снова продолжались разговоры на самые различные темы: о природе, музыке, женщинах, поэзии, пока вдруг несколько неожиданно звучал вопрос Дмитрия Дмитриевича: «Так, значит, он продал пять раз концерт?» — «Да, да... продал». Все в недоумении переглядывались, улыбались. А через несколько минут вопрос снова задавался, как будто Дмитрий Дмитриевич и не слышал ответов или вообще спрашивал чисто механически. Такой характер общения, беседы был очень типичен для Дмитрия Дмитриевича. Дмитрий Дмитриевич в это время сочинял, наверное, музыку. Может быть, у него зрели какие-то замыслы... Может быть, для того, чтобы немного отвлечься, а может, чисто автоматически он спрашивал, не слушая ответа: «А. И. продал скрипичный концерт пять раз?» — и снова погружался в себя. Временами он был совсем отчужден,

мог говорить о чем угодно с кем угодно, но в это время у него шла большая внутренняя жизнь, совершенно отстраненная. Если хотите, гений, по определению Ларошфуко, — это непрерывность, это непрерывная протяженность, непрерывная нить развития какой-то устремленности, идеи, мысли. Мне это было очень понятно и даже, если хотите, близко. Мне казалось, что в нем было почти не отпускавшее его огромное творческое напряжение. И, думается, все эти разговоры, шутки, спорт, карты были своеобразным коротким отдыхом, передышкой, порой помогали (а иногда мешали) сосредоточиться, но, в общем, никогда не нарушали непрерывности творческого процесса.

Мне много раз приходилось наблюдать, как он слушал музыку. В эти минуты я незаметно наблюдал за ним. Обычно, если это было в театре или концертном зале, он сидел рядом с Ириной Антоновной или с кем-то из своих друзей. Он очень сдержанно и сосредоточенно слушал, смотрел, но сквозь эту сдержанность что-то всегда проступало, прорывалось, и все лицо его неуловимо менялось. Иногда на глазах у него наворачивались слезы, он с силой закрывал рот рукой или быстро проводил пальцами по щеке. Это движение было очень характерно для него, но я все-таки сказал бы, что восприятие музыки у него было удивительно сдержанное, хотя внутри он воспринимал ее, наверное, очень эмоционально, очень остро.

Помню один интересный эпизод. В 60-е годы, уже после награждения его симфонической поэмы с певцом на слова Евгения Евтушенко «Казнь Степана Разина» в одном из коттеджей в Комарове собрались музыканты, чтобы прослушать новое произведение Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич пришел охотно. Что греха таить, он привык к похвалам, лести, часто неуместным восторгам. Он тайно и ненасытно любил славу, шумиху вокруг своего имени. На первый взгляд это плохо сочеталось с другими чертами его харак-

тера, но ведь он вообще был очень противоречив. Он сам признавался как-то, что «Слава нужна, нужна даже мне; она необходима, как канифоль для смычка».

«Степан Разин» был записан на пластинку в очень хорошем исполнении, я слушал это произведение с большим вниманием. Дмитрий Дмитриевич был сдержан, замкнут, непроницаем. Как у всякого творца, уже после рождения произведения, у него начинался, очевидно, новый период взаимоотношений со своим созданием, период анализа, переосмысления, а иногда и критического отношения к своему детищу. Не знаю, что думал тогда Дмитрий Дмитриевич о своей симфонической поэме. Он со мной никогда не говорил на эту тему, и, более того, я никогда в печати не читал его суждений об этом произведении.

Меня же в этот вечер многое потрясло в его музыке, но и многое показалось вторичным, излишне иллюстративным, уж очень впрямую идущим от Мусоргского. Вообще творческие взаимоотношения Дмитрия Дмитриевича с Мусоргским для меня всегда были поводом для размышлений. Когда я слушал «Бориса Годунова» и «Хованщину» в оркестровке Шостаковича (Дмитрий Дмитриевич так любил оркестр и так владел им, что даже порой оркестровал работы своих учеников), я невольно вспоминал печальную историю «Картинок с выставки». В небольших акварельных рисунках архитектора Гартмана могучая фантазия Мусоргского нашла повод для создания прекрасного фортепьянного произведения «Картинки с выставки». Рассказывают, что Мусоргский был великолепный интерпретатор своих собственных произведений, он прекрасно играл. Но волею судеб «Картинки с выставки» получили мировое признание, лишь когда их оркестровал великий Равель. Мне кажется, что он оказал фортепьянным миниатюрам медвежьей услугой: потерялся характер, масштаб этого произведения. В рояле оно производит значительно

большее впечатление, чем в исполнении оркестра, в оркестровке Равеля. Мусоргский есть Мусоргский. Так же и с операми великого русского композитора. В блистательной оркестровке Шостаковича Мусоргский как-то потерялся, потерялась частично оригинальность, прелесть наивности и красоты. Оркестровка Римского-Корсакова более сдержанна, она, мне думается, ближе к Мусоргскому. Впрочем, все эти свои мысли я оставил при себе, так как был в музыке всего лишь страстным любителем, а отнюдь не профессионалом, и, к тому же, Дмитрий Дмитриевич не попросил меня тогда высказать свое мнение.

В тот вечер после поэмы Шостаковича мы слушали музыку Ксенакиса. И хотя рой голосов стал называть громко это произведение греческого композитора абстрактной, «скрюченной», шумовой музыкой, скомбинированной из всяких натуралистических деталей, я понял, что на Дмитрия Дмитриевича она произвела впечатление, и не удивился, когда он в тот же вечер, но уже наедине, спросил меня о творении Ксенакиса. «Мне нравится только начало...», — сказал он. Я ответил горячась и даже с некоторым азартом, потому что был под впечатлением: «Мне эта музыка дает глубокое ощущение музыкального пространства, пищу для фантазии. Я сказал бы, что ее в какой-то степени можно сравнить с отличными абстракциями Кандинского. Не то, что потом делали его последователи-абстракционисты — миллион плюс единица, а именно то, что открыл в области абстрактного искусства Кандинский, что дает простор фантазии и размышлениям. Человек имеет сейчас настолько много информации, что он устает, ему хочется отвлечься. Фантазия его настолько разбужена, настолько широка и всеобъемлюща, что в случайной кляксе на холсте, на бумаге и даже на полу, на обоях человек может увидеть все, что угодно». Дмитрий Дмитриевич, как мне показалось, без особого удовольствия

выслушал меня. Его явно задели мои слова. Может, он в чем-то и был со мной согласен, а может — как раз наоборот. Ему приходилось часто (по приказаниям свыше и даже по заранее написанному тексту) выступать против так называемой новаторской музыки, против Штокгаузена, Шенберга, Пендерецкого и других, защищать так называемый социалистический реализм (одну из фальшивок советского искусствоведения, направления, в действительности не существующего и потому не поддающегося определению). Что он думал обо всем этом, не знаю — человек он был сложный, скрытный. Всю жизнь скрывал свои потаенные мысли и ходил по острию ножа. Думаю, ответ на этот вопрос исследователи могут найти в его музыке. О музыке Дмитрий Дмитриевич говорить не любил. Он любил ее слушать и создавать.

И все-таки этот человек, так много и напряженно работавший, имевший столько обязанностей и дел, что порой это казалось невероятным, всегда очень охотно общался с людьми, любил их, в большинстве случаев был внимателен и сердечен. Помню, как меня поддержало и окрылило его внимание ко мне в очень трудный период моей жизни. Весной 1968 года выставка моих живописных работ, вернисаж которой был приурочен к открытию ленинградского Дома композиторов, была со скандалом закрыта на третий день. Началось довольно мрачное время. В Союзе художников стоял вопрос о моем исключении. В Таврическом дворце на собрании интеллигенции заведующая отделом культуры обкома Круглова произнесла грозную речь об осужденной уже группе Игоря Огурцова, назвав ее контрреволюционной организацией. В ходе доклада эта яростная дама не забыла и меня, моей выставки, окрестив ее идеологической диверсией. Еще не зная об этом, я прогуливался по Невскому. Помню, были прекрасные теплые дни, наполненные прозрачной влагой и легким туманом. Мне

встречались один за другим «представители интеллигенции», идущие из Таврического дворца. Некоторые делали вид, что не замечают меня. Один скульптор, я помню, сказал: «Гавриил Давыдович, ваше положение очень и очень серьезно!» Странно, но у меня в эти часы и дни было какое-то возвышенное состояние. Я ощущал себя гордо идущим по раскаленным угольям. И думал: «Ну что ж, что будет, то будет». Но я не очень представлял себе, какие страхи и переживания могли меня ждать впереди. Скоро начались неприятности. Правление Союза художников начали вызывать в райком. Сняли, конечно, директора Дома композиторов и исключили его из партии. Потом начались и другие гонения, но, к счастью для меня, постепенно все утихло. В эти дни я узнал, что, приехав из Москвы, Дмитрий Дмитриевич побывал на моей выставке и одобрил ее. Ему понравились мои работы. Он с огорчением заметил, что повешены они тесно и в узком пространстве... Потом он не раз говорил мне, что у него болело сердце, когда он слышал, как меня преследовали.

Несколько месяцев спустя, в Комарове, когда все относительно улеглось, Дмитрий Дмитриевич сказал: «Гавриил Давыдович, мне кажется, что вам нужно хорошо спрятать ваши работы. Сделать яму, потом забетонировать ее и сложить туда ваши холсты. Кто знает — сегодня Толстиков в хорошем настроении (Толстиков был первым секретарем Ленинградского обкома партии), а завтра все это будет уничтожено, а картины ваши надо обязательно сохранить». Он несколько раз повторил со свойственной ему, неожиданно возникавшей скороговоркой: «Бетонный бункер, бетонный бункер...» Сказано это было с тоской и грустью. Я постоянно видел, как он боится за всех окружающих — ведь для этого всегда были основания!

Я много читал о том, что Дмитрий Дмитриевич, как, впрочем, и все его поколение, был атеистом. Ду-

мается мне — это не совсем так. Если Бога понимать, как олицетворение добра в каждом из нас, то он был верующим человеком. У него было, я думаю, свое понимание Бога, добра и зла. Он всегда очень активно стремился помогать всем, делать добро. Скольким людям он писал всякие бумаги, подписывал, хлопотал за них. Хлопотал о квартирах, больницах, исполнении новых произведений своих товарищей по перу и т. д. и т. п. Даже мне, когда меня брали на военные сборы, Дмитрий Дмитриевич говорил: «Гавриил Давыдович, я вам напишу, хотя это совершенно бесполезно, потому что я для них в военкомате не играю никакой роли». Но он писал. В военкомате письма клали в архив, и на этом все забывалось, а я, бросив творческую работу, ехал на очередные нелепые «военные сборы».

Я удивлялся порой, как у него на всех хватало времени. Как-то в Комарове, в 70-е годы, уже будучи тяжело больным, он попросил меня: «Гавриил Давыдович, будьте любезны, пошлите, пожалуйста, депеши моим друзьям. Надо их поздравить с новым годом!» У него был длинный список, и он знал хорошо, когда у кого какие юбилейные даты. На этот раз телеграммы были написаны на обычных тетрадных листочках неровным больным почерком (к сожалению, я их не сохранил). Я отправился на почту в Комарово, переписал телеграммы на бланки и послал их.

Встречаясь с Дмитрием Дмитриевичем часто и в разных обстоятельствах, я всегда удивлялся его выдержке, терпимости. Это шло не только от характера и воспитания, но и от умения по-настоящему уважать людей. Дмитрий Дмитриевич всегда всех выслушивал. У него было удивительное терпение, по-видимому, какая-то колоссальная внутренняя дисциплина и воспитание. Он всегда давал возможность высказываться собеседнику, говорить все, что угодно. Он терпел и редко возражал, даже поддакивал порой: «Правильно, правильно, совершенно верно». Но это отнюдь

не означало, что он согласен. Внутренне он, мне кажется, был очень стоек в своих взглядах. Споры его утомляли, часто у него было просто желание, чтобы его оставили в покое, не мешали ему, его внутренней жизни. Но если спор касался чего-то принципиально важного для него и собеседник ему импонировал, он мог быть очень убедительным, настойчиво и страстно отстаивать свою правоту. Правда, спорил он чрезвычайно редко. Он весь поглощен был музыкой.

Помню, он очень интересно, порой с юмором, рассказывал, как преподавал в Консерватории. Профессором Консерватории он стал, когда ему было чуть больше двадцати лет. Он начал преподавать сразу после окончания Консерватории. Ему дали класс, и ученики были того же возраста, что и он, но Дмитрий Дмитриевич всех называл по имени-отчеству. Был у него такой ученик Борис К. Он был не лишен дарования, но Дмитрий Дмитриевич считал, что он технически недостаточно вооружен, что он плохо знает гармонию, оркестровку, и, когда Борис К. показывал ему свои опусы, Дмитрий Дмитриевич всегда говорил: «Это что — сознательно или случайно?» Борис обижался (он в это время уже написал концерт, посвященный Баху). И вот, когда Дмитрий Дмитриевич говорил ему о недостатках его произведений, Борис всегда возражал: «А у вас, Дмитрий Дмитриевич, — то же самое!» Дмитрий Дмитриевич любил рассказывать, как Борис не терпел критики и всегда говорил «А у вас!»

О Дмитрие Дмитриевиче очень много писали, защищали диссертации, кандидатские и докторские, по поводу его симфоний, его оркестровки, его опер и т. д. и т. п. Колоссальная масса музыковедов «кормилась» на музыке Дмитрия Дмитриевича.

Удивительно, с моей точки зрения, он был терпим к критике. Правда, последние годы его, в основном, безудержно хвалили, но в этой «похвальбе» так

много было непрофессионализма и лжи, грубого нарушения фактов. Очевидно, после страшных лет сталинщины у него выработалась защитная реакция на любые нападки и излияния критиков. Обычно он скороговоркой отвечал: «Все хорошо, хорошо, хорошо... Все прекрасно», — и стремился быстрее закончить разговор. В Ленинграде одна дама, музыковедка, писала о многих музыкантах, а потом ополчилась на Дмитрия Дмитриевича. Она писала быстро, много и обо всем. «Шостакович после рождения», «Шостакович молодой», «Шостакович встречает Ленина на Финляндском вокзале», «Шостакович 30-х годов», «Шостакович 60-х годов». Лениздат печатал эти монографии большим тиражом. Эти книги абсолютно фальшивые, тенденциозные, жизнь Шостаковича представлена сплошным шествием от триумфа к триумфу. Этакое идиллическое существование с дачами, новыми квартирами, приятными встречами с начальством и правительством, спокойной счастливой жизнью... Никаких постановлений (это вообще не упоминается), никаких трагических конфликтов с жизнью! Не понимаю, как сам Дмитрий Дмитриевич мог с таким пренебрежением относиться к описанию своего творчества и своей личности!!! Помню, у меня с этой дамой, которая, кстати, приобрела мой живописный портрет Дмитрия Дмитриевича уже после его смерти, был забавный инцидент. Муж этой музыковедки как-то обратился ко мне с просьбой: «Гавриил Давыдович, я вам хорошо заплачу (!) — напишите картину, как моя супруга читает рукопись Шостаковичу. Не удалось сделать фотографии при жизни — вы представляете себе, какая это потеря для нас?» Я подумал, Господи, Боже мой, до чего прыток народ! Готовы сделать любую фальшивку — «извольте, изобразите, как Шостакович с великим вниманием слушает рукопись дамы, пишущей о нем книги». Есть, однако, примеры и посерьезнее. Статья И. Соллертинского, на-

писанная незадолго до смерти музыковеда в 1944 году о Восьмой симфонии Шостаковича. Поражает уже первая строка «Право на трагедию и трагическое искусство» — вот вам пример свободы творчества Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Далее утверждение, равное приказу: «Из пессимизма трагедия не рождается». Видите ли, если человек хочет писать трагическую симфонию, он должен прежде всего быть оптимистом. Читаем дальше: «Трагедия как плод зрелости, силы, мужества, нравственной свободы, столкновения воль». Как это понимать? И как же эллины, Шекспир, классики испанской драматургии, Корнель? «Трагическое — не пессимистическое», — как это понимать? А Чайковский? А «Кармен» Бизе? Но больше всего, конечно, поразил термин «Оптимистическая трагедия». Даже Иван Иванович Соллертинский потерял элементарный вкус. Что может быть страшнее, пошлее, чем «Оптимистическая трагедия» Вишневого? Разве можно поставить на одну доску симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича с пьесой Вишневого? «Шостакович как трагический поэт в музыке». Дальше — больше. «Преодоление трагедии», «торжество мужественной силы», «просветленная скорбь» и т. д. и т. п. Я очень уважал и уважаю И. Соллертинского, но я уверен, что, будь он волен высказывать свои мысли, он бы сказал что-то совсем другое. Может быть, употребил бы свое знаменитое сравнение с Сикстинской капеллой или сравнил бы симфонию с плафонами Микеланджело, как он любил говорить: «Это мощь, гений микеланджеловского плана!» Кто знает, какие он нашел бы слова для этой великой симфонии, полной глубоких философских размышлений, могуче оркестрованной.

Впрочем, иногда, особенно в последние годы, чувствуя свою силу, Шостакович, если ему мешали (это были исключительные случаи), проявлял боль-

шую активность и добивался своего. Помню историю с его Тринадцатой симфонией.

Дмитрий Дмитриевич, вдохновившись стихотворением (всегда злободневного!) Е. Евтушенко, написал грандиозную симфонию. Партитуру он отдал крупнейшему дирижеру М. Дирижера сразу стали предупреждать, что он не должен дирижировать эту симфонию, ибо это вызовет много неприятностей и осложнений. Известный дирижер долго изучал партитуру и как-то ворчливо сказал мне: «Гавриил Давыдович, вы знаете, Шостакович ведь все-таки из этих партийцев, у него были в роду марксисты. И это все агитация и пропаганда, которые вообще ни к чему...» И по прошествии нескольких месяцев известный дирижер вернул все-таки партитуру Шостаковичу. Для Дмитрия Дмитриевича это было настоящим потрясением. Он растерялся. Надо было срочно искать нового дирижера и певца. Дмитрий Дмитриевич едет в Киев и обращается с просьбой к Гмыре, чтобы он исполнил главную партию симфонии. Гмыря не был оригинален. Он посмотрел партитуру и сказал: «Конечно, Дмитрий Дмитриевич, я польщен, что вы ко мне обращаетесь, но я уже консультировался с моим правительством и мне начальство категорически запретило, чтобы я пел вашу симфонию». Этого, конечно, Дмитрий Дмитриевич, великий всемирно признанный композитор, не ждал. Но все-таки он добился своего. В скором времени Тринадцатую симфонию исполнил дирижер К., и она получила всеобщее признание.

Помню, в 70-м году было необычайно жаркое лето. Дмитрий Дмитриевич тяжело переносил зной. В расстегнутой рубашке, с отекившим покрасневшим лицом он болезненно шурился, искал тень. «Если я умру когда-нибудь, то только от солнца», — говорил он, стоя около Дома композиторов в Ленинграде. Потом неожиданно посмотрел на меня и скороговоркой произнес: «А почему вы не рядом с Фаней Бори-

совной в Сестрорецке? Это ведь недалеко. Уезжайте, уезжайте, навестите матушку». Это было неожиданно, но так естественно для его сердечности и постоянной заботы о других.

Надо сказать, что Дмитрий Дмитриевич всегда нежно и заботливо относился к своим близким. У него было какое-то трогательное отношение к матери. Я прекрасно помню Софью Васильевну. Это была женщина уже в годах, с добрым и внимательным взглядом серых, стальных глаз, с гладким зачесом волос. При первой встрече меня поразило, что у нее совершенно такой же, как у Дмитрия Дмитриевича, прикус, разрез губ и квадратная челюсть. Я помню, я был на концерте, уже после войны, в Малом зале Филармонии. Игнали сочинения Дмитрия Дмитриевича. Софья Васильевна сидела рядом со мной и несколько раз ревниво говорила: «Что же вы так мало аплодируете, Гавриил Давыдович, почему вы так мало аплодируете?» Софья Васильевна была предметом большой любви и заботы своего великого сына. По сути дела, она воспитывала его. Она была очень хорошим музыкантом, пианисткой, и осталась его советником и лучшим другом все последующие годы. Она всегда давала ему добрые, разумные советы. Жил он очень дружно и со своей сестрой Марией Дмитриевной, которую я тоже хорошо знал, но, конечно, мать была ему особенно дорога. Когда я написал в эти годы так называемый «Семиголовый» портрет композитора, то одно из изображений Шостаковича невольно шло от лица и облика его матери. Так органически они были похожи...

Тогда, в 70-м году, мать Дмитрия Дмитриевича уже умерла, а моя мать была совсем старой женщиной, но я невольно вспомнил, как в марте 1946 года, когда я только демобилизовался и вернулся в Ленинград, Дмитрий Дмитриевич пришел к нам на обед, в нашу квартиру на Выборгской стороне, где мы тогда

жили: мама, брат, племянница и я. Мама была еще совсем молодая и здоровая. После обеда, прощаясь, Дмитрий Дмитриевич поцеловал маме руку и поблагодарил ее. В трудной жизни моей матери есть один эпизод, связанный с Шостаковичем. После смерти моего отца в 1929 году мама устроилась в Филармонию билетершей, для того, чтобы скрасить свое одиночество. Она очень любила музыку. Все было хорошо, пока директором Филармонии не стал весьма неприятный человек. Подхалимаж и железные порядки, им введенные, были под стать наступившим сталинским временам. Моя мама была крутого нрава и, к примеру, законно считала, что мужчина (хоть и директор) должен здороваться первым. Возник конфликт. Придравшись к пустяку, устроив провокацию, директор издал приказ об увольнении моей матери. Все дальнейшие события связаны с Шостаковичем, с его удивительной отзывчивостью. Он всегда протягивал руку помощи, когда это было необходимо. Мы подали в суд. Тут было дело в принципе. Конфликт разбирала одна инстанция, вторая, даже городской суд судил. На суде в защиту моей матери выступил Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Иван Соллертинский, дирижер Николай Рабинович. Суд постановил восстановить Фаню Борисовну.

У Шостаковича было много поклонников, было много и завистников, но он всегда отличался удивительной щедростью, как всякий великий талант, он разбрасывал свое богатство. Я хорошо помню «возникновение» оперы «Тихий Дон» И. Держинского. Я был свидетелем этой печальной истории.

Иван Держинский, Соловьев-Седой и еще несколько музыковедов часто ходили на концерты Филармонии. Все их знали. Держинский в консерватории никогда не учился, только окончил музыкальное училище, еле знал нотную грамоту, но имел определенное мелодическое дарование. (Так же, как Соловьев-

Седой, который тоже имел большое мелодическое дарование, но заниматься оркестровкой не мог. Оркестровку делали ему «негры», за небольшую плату.) И вот Иван Держинский взялся за такую актуальную тему, как «Тихий Дон». Это считалось чуть ли не подвигом. Союз композиторов считал, что, кроме Шостаковича, надо иметь плеяду других композиторов. Дмитрий Дмитриевич очень много Держинскому помогал. Я бы сказал, что большая доля лучшего, что есть в «Тихом Доне», сделано гениальной рукой Дмитрия Дмитриевича. Он об этом никому не говорил, он вообще не любил афишировать, когда помогал. В общем, как говорится, «общими усилиями» сделали эту оперу. Опера сразу получила высокую оценку у общественности — прежде всего, она производила впечатление своими хорами (широко известным хором «От края и до края») и некоторыми ариями... Во время гастролей Малого оперного театра в Москве дирижер Самосуд показал оперу. Сталин слушал этот спектакль, пригласил И. Держинского к себе в ложу и сказал: «Вот, вы понимаете, какая должна быть музыка для народа. Вы и являетесь основоположником настоящей музыки для народа». Конечно, все сразу поняли намек (одновременно с оперой «Тихий Дон» Малый театр показал оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»). Дальше события начали разворачиваться с ошеломляющей быстротой: погромная редакционная статья «Сумбур вместо музыки», газеты по команде обрушились потоками возмущения и ярости на гениальную оперу молодого Дмитрия Дмитриевича. Среди этих статей был и опус И. Держинского, который утверждал, что Шостакович — «антинародный музыкант».

Невольно я возвращаюсь к 30-м годам, замечательным в области искусства и страшным в жизни страны. Для Дмитрия Дмитриевича это тоже время, с одной стороны, блистательного расцвета его талан-

та, а с другой — страшных предчувствий, ощущения близкой катастрофы, когда огромная страна в ужасе оцепенела, ввергнутая в кровавый террор.

В 1929 году, когда Дмитрию Дмитриевичу было 23 года, — Мейерхольд ставил «Клоп» Маяковского. Художником он приглашает Родченко, в то время очень известного конструктивиста и, если так можно выразиться, личного фотографа Маяковского. Сам Маяковский — в расцвете сил, в расцвете таланта и популярности. Шостакович — еще молодой, мало известный композитор, правда, блистательно сыгравший свои первые симфонии. И Мейерхольд приглашает его для музыкального оформления «Клопа». Шостакович сразу окунулся в атмосферу дерзкого конструктивизма. Я не буду говорить о его музыке, о ней много написано. Известно, что она была в джазовом стиле, что в то время было очень ново. Интересно, что у Дмитрия Дмитриевича осталось на редкость светлое воспоминание о Маяковском (рассказывают, что якобы при встрече Маяковский протянул ему один палец, а Дмитрий Дмитриевич в ответ тоже протянул палец. Но думаю, что все это легенды, я даже думаю, что если Дмитрий Дмитриевич где-то это рассказывал, то просто в шутку, как говорят, воспоминания о том, чего не было).

Много лет спустя, когда я лепил бюст Маяковского (который сейчас находится в Литературном музее), зашел Дмитрий Дмитриевич. Он посмотрел на мою работу и сказал: «А вы знаете, Гавриил Давыдович, ведь я с Маяковским был хорошо знаком. Эта его бравада, его грубость — все это были внешние качества, он был удивительно интеллигентный и незащищенный человек, человек с очень тонкой душой». Он долго внимательно смотрел на бюст, но больше ничего не сказал. Я поблагодарил его и ответил, что по-своему выразил поэта, потому что представить себе Маяковского с миловидной улыбкой или

тихим лириком как-то не могу. Да и другие навряд ли бы это тогда поняли... Однако разговор этот запал мне в душу (я всегда очень прислушивался к тому, что говорил Шостакович). Много позже я перестал бредить гроыхающей лирикой Маяковского и носить в кармане «Облако в штанах». Я (как и все наше поколение) изменил свое отношение к поэту не просто на резко негативное, я стал воспринимать его не только как порождение режима, но и как жертву. Тогда в 60-е годы я написал большой живописный портрет Маяковского-самоубийцы, приставившего дуло пистолета к виску. Истоки этого образа «Горлана революции» были в давних словах Дмитрия Дмитриевича.

Но вернемся к спектаклю «Клоп». Мейерхольд очень бережно, с большой любовью отнесся к молодому композитору и дал ему полную свободу творчества. Маяковскому и Мейерхольду удивительно понравилась талантливая музыка Шостаковича. Ведь гениальный Мейерхольд вообще отличался большим чутьем к прекрасному и особенно к новому, именно к новому.

Помню, в 60-е годы зимой в Доме творчества в Комарове, когда я показывал Дмитрию Дмитриевичу диапозитивы моих картин, среди них был портрет Мейерхольда «Ложка баланды». Я изобразил Мейерхольда в тюрьме, за ложкой тюремной похлебки. Портрет был написан почти монохромно. Гениальный режиссер был для меня трагическим символом эпохи. Его почти бестелесный облик был страшен. Шостакович долго глядел на этот портрет. Я ждал, что он что-нибудь скажет, но он молчал. Отчасти я это понимал. Говорить на эту тему было трудно, тем более человеку, на творчество которого (не только оперное, но и симфоническое) Мейерхольд оказал такое огромное влияние. Помню только, он сказал: «Давайте отдохнем!» Мы устроили перерыв, зажгли свет, и Дмитрий Дмитриевич закурил.

Был еще один человек (я его хорошо знал), знакомство с которым в эти годы сыграло большую роль в развитии Дмитрия Шостаковича. Это была феноменальная личность — музыкант, филолог, философ, блестящий оратор, жизнелюб Иван Соллертинский. Было ему в 30-е годы 18-19 лет, он еще не кончил университет, но уже говорил на всех европейских языках, был обременен знаниями древнегреческого, латыни, ассирийского. Несмотря на молодость, И. Соллертинский называл всех по имени-отчеству с прибавлением «мой юный друг», независимо от возраста собеседника. О его музыкальных способностях ходили легенды. Один из дирижеров много лет спустя писал: «Как я мог подумать, что Иван Иванович — около музыки! Когда я его спросил, как надо исполнять очень сложный концерт, где главную роль играет скрипичная группа, он виртуозно показал, как исполнять; сказал, где какой палец должен вступить. Я подумал тогда — не скрипач ли Иван Иванович сам, настолько он знал и понимал технику, и вообще понимал партитуру и весь строй симфонии». Дмитрий Дмитриевич перенял некоторые манеры Соллертинского, его привычку говорить медленно и вдруг переходить на скороговорку с многократным повторением какого-нибудь одного слова (кстати, эта привычка осталась у Дмитрия Дмитриевича на всю жизнь). Но больше всего, конечно, повлияла на молодого композитора блестящая эрудиция, музыкальность и безудержная фантазия И. Соллертинского. Они дружили до самой смерти Ивана Ивановича в 1944 г.

В декабре 1932 года Шостакович закончил свою оперу «Леди Макбет Мценского уезда». Опера необычайно музыкальная, выразительная, ошеломляюще новая, была подлинным рождением совершенно нового музыкального театра. В то время ленинградский Малый оперный театр называли лабораторией советской оперы. Произведение молодого Шостаковича

поставил дирижер С. Самосуд, декорации делал очень талантливый ученик Петрова-Водкина художник В. Дмитриев. Спектакль произвел грандиозное впечатление. Отличные певцы, прекрасное звучание. Я несколько раз слушал эту оперу и никогда этого не забуду. Зал периодически бурно аплодировал. Особенно впечатляла сцена паррома. Интересно были поставлены любовные сцены, происходившие на огромной кровати, занимавшей полсцены. (Кстати говоря, эта кровать очень возмутила московских вождей — как это можно показывать народу такие сцены в опере!)

Однажды на спектакле я увидел в боковой директорской ложе Дмитрия Дмитриевича. Его бледное лицо четко выделялось на фоне черного бархата. Свет, идущий со сцены, накладывал на его страдальческий напряженный лик неожиданные цвета — то красный, то мертвенно-зеленый, то пронзительно-желтый. Тут я впервые увидел, какое у него нервное, изменчивое лицо. Он весь был во власти музыки, которая обволакивала его бурным потоком и которую он сам излучал. Не раз вспоминая его лицо тогда, я невольно сопоставлял с ним совсем другой облик Дмитрия Дмитриевича. Прошло почти сорок лет, и я присутствовал на премьере музыкального фильма-оперы «Катерина Измайлова». Я был знаком с режиссером Шапиро, который ставил этот фильм (помню, он был у меня в ателье и, увидев мой портрет Г. Распутина в красной рубашке, решил одеть героя оперы Сергея тоже в красную рубашку). Дмитрий Дмитриевич, уже больной, с отеком лица, сидел в партере и смотрел фильм. Лицо его было неподвижно, и только нервные руки выдавали сильное волнение. Глядя на него, я с горечью подумал, как нелегко далась ему эта жизнь, эти сорок лет... Фильм-опера, с моей точки зрения, получился прекрасным, но спорным. Поражала молодая, полная сил и таланта Галина Вишневская. Певица произвела на меня огромное впечатление, и мно-

го позже я изобразил ее в роли Катерины. Следуя музыке Шостаковича, я придал портрету героини преувеличенные пропорции микеланджеловских Сивилл, а прекрасное лицо актрисы полуприкрыл маской жестокости и безумия.

Но тогда, в 30-е годы, мы мало себе представляли, что нас ждет через 40 лет и какими мы будем. Мы жили бурными событиями каждого дня, а события были, действительно, бурные...

В 1936 г. в газете «Правда» была напечатана по прямой инструкции вождя и друга всех народов громкая статья «Сумбур вместо музыки» (а через короткое время еще одна — «Балетная фальшь», — о балетах Дмитрия Дмитриевича «Светлый ручей» и «Золотой век»). Это было сигналом для начала разнузданной травли Шостаковича. Дружно выступили газеты, одна за другой — «Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград», центральная «Правда», «Известия», всех не перечтешь. В самой свободной в мире прессе, по радио полился оглушительный поток «народного осуждения». Всегда готовые к бою штатные «ударники» (так называли в ту пору «передовых людей, отличников производства», а по существу — сподручников и единомышленников грязных дел партии и правительства). К примеру, некий «ударник» с завода имени Сталина выступает со статьей, что-де он прослушал музыку Шостаковича и считает, что она антинародна, что она крайне вредна для народа. Или выступает штатный «ученый» Качалов, член-корреспондент Академии наук (специалист по стеклу). Его статьи тоже всегда появлялись с так называемой критикой. Он вещал о том, что не годится, что отвергается и т. д. Качалов, разумеется, тоже резко осудил музыку Шостаковича. В общем — полная демократия! Всегда найдутся люди, которые напишут и которые подтвердят. Все разыгрывается, как по нотам, по готовому сценарию. Собираются и ленинградские

композиторы. Украинской музыковедке Крохмаль поручается выступить с погромной речью против Шостаковича. Сказано — сделано. Правда, тут не обошлось без курьеза, отклонения от железного сценария. Выступивший в прениях И. Соллертинский сказал: «Что касается выступления Крохмалья и прочих углеводо...» Зал, несмотря на трагическую обстановку, разразился громом аплодисментов. А Крохмаль, бедная, отныне стала называться Углеводы. На одном из таких бурных собраний композитор Кабалевский, приехавший специально из Москвы, слезно призывал Шостаковича: «Митя, Митя, покайся, разоружись перед партией, признай свои ошибки, признай свои недочеты, ну, Митя, признайся!» Дмитрий Дмитриевич, бледный как смерть, молчал. Потом последовало голосование на предмет того, чтобы осудить поведение композитора Шостаковича. Нельзя не вспомнить с горечью, что Иван Иванович Соллертинский проголосовал за осуждение. Правда, Дмитрий Дмитриевич перед этим в перерыве просил его: «Иван Иванович, ты должен выступить против меня, потому что твоя жизнь впереди... Ты должен остаться в живых... Ведь неизвестно, что со мной будет, наверное, расстреляют».

Такие были времена! Так шло «становление» молодого композитора в невероятно тяжелых и жестких социальных условиях. Он перенес столько горестей, столько печалей, столько смертельного ужаса. Тысячу раз думал, что погибнет... И если после того, что произошло с ним, он уцелел, мы должны быть благодарны судьбе и ангелу искусства, которые его охраняли. Вопреки всему и всем Шостакович превратился в великого, своеобразного музыканта и отразил все чаяния и горести наши.

Я иногда, слушая теперь музыку Шостаковича, задаю себе вопрос — по какому пути пошло бы развитие его гения, если бы надолго сохранилась обста-

новка конца двадцатых и начала тридцатых годов, когда он написал Первую, Третью, Четвертую симфонии, балеты, оперу «Леди Макбет...»? Или, если бы в эти годы он покинул Россию навсегда? Словом, я представляю себе всякие фантастические «если», благодаря которым Шостакович не перенес бы травли, погромов 30-х годов, страшного необратимого потрясения, наложившего неизгладимую печать на его творческий почерк, на развитие его личности. Пытаясь ответить себе на этот вопрос, я все-таки думаю, что при ровном творческом климате Дмитрий Дмитриевич не развился бы в такую мощную композиторскую фигуру. Наверное, все пошло бы по линии каких-то формальных поисков... Интересно, что композиторы, которые жили на чужбине, имеют характерную судьбу. Хотя бы знаменитый Стравинский — ведь его творчество питалось Родиной. Лучшие его создания — «Петрушка» или «Весна священная» — своей почвой имели Россию, ее климат, напевность, обряды. А потом, на чужбине, Стравинский уже пошел по линии совершенно другой, формальной. Его поздние вещи напоминают мне роспись Шагала, которую художник сделал для Парижской Оперы. Вроде все то же самое, те же мотивы, но они потеряли подлинность. Это просто повторы самого себя, но уже идущие, как говорят, от головы, а не от сердца и души. А великое творчество Дмитрия Дмитриевича Шостаковича очень органично связано с нашей страной, с теми страшными бедствиями и событиями, которые произошли в ней.

Как-то одному моему близкому знакомому Дмитрий Дмитриевич в Москве сказал: «Я слышал, что Гавриил Давыдович собирается в эмиграцию. Я ему, пожалуй бы, не посоветовал, потому что эмиграция будет для него тяжелой, и потом, все то, что происходит в этих странах, будет ему не по нутру». Эти мысли были высказаны не случайно. Композитор Шостако-

вич — явление, которое могло развиваться только в условиях Советской России, советского режима. Мне кажется, что его жизнь в какой-то степени была поединком между Геркулесом и Антеем. Геркулес никак не мог одолеть Антея и одолел его только тогда, когда оторвал от земли. Когда Антей прикоснулся к земле, он был непобедим. И мне кажется, если бы Шостакович попал в условия свободного буржуазного мира, то он не стал бы Шостаковичем. К примеру, прекрасные художники Натан Альтман, Фальк жили в Париже и долго там работали, но они не могли найти почву для своего творчества и поэтому в начале тридцатых годов вернулись в Россию, в Советский Союз, где потом очень бедствовали. Мне кажется, что в какой-то степени Дмитрий Дмитриевич, его могущество, его сила были в том, что он прикоснулся к советской земле, к земле, на которой он вырос, к земле, которую он хорошо знал! И музыка его, при всей своей общечеловечности, была очень тесно связана с Россией. Интересно, что когда приезжал Караян в Ленинград и играл Шостаковича, то это было виртуозно и покоряло высокое искусство оркестра, но настоящего звучания Шостаковича, каким оно бывает у русских дирижеров — Г. Рождественского, М. Ростроповича, Е. Мравинского, — конечно, не было. Только люди, испытавшие на себе климат времени страны, могут по-настоящему раскрыть Шостаковича. А иностранные дирижеры, при всей их виртуозности, при всей их изощренности, чувствовать не могут — ну, что может чувствовать в этой музыке Караян? Он читает партитуру — и только. Он не видит всего, что за этим скрывается, потому что ему это совершенно чуждо и непонятно. Поэтому, при всей космополитичности и интернациональности, музыка Дмитрия Шостаковича может быть понята и осознана до конца только теми, кто все это пережил.

Этой весной я сидел у себя дома в Вене. Сидел без

дел и мыслей у окна в своей мастерской. Была отвратительная погода, дождь и сырой снег, пронизывающий ветер. Я включил приемник и долго ползал стрелкой по материкам и странам. Мир молчал. Неожиданно ко мне ворвались знакомые звуки победных маршей, приветственные крики, до боли знакомая русская речь. Говорила Москва. Я был поражен, я забыл, что было 1-е мая. Я слушал размеренный низкий голос комментатора, его восторженно категорические интонации и до такой степени живо представил себе всю эту картину, эту площадь, неподвижных «вождей» на трибуне, черные толпы проходящих людей, знамена... Я вдруг с головой, как в прорубь, окунулся во всю мою долгую жизнь, прожитую там. В состоянии какого-то отчаяния, тоски, горечи, не выключая Красной площади, я за несколько часов, ничего не видя вокруг себя, написал портрет Дмитрия Дмитриевича. Потом я подумал, что этот, чисто интуитивный, выбор темы — лишнее подтверждение того, что в музыке и личности Шостаковича очень полно отразилась советская действительность.

Я часто спрашиваю себя, какими путями пришел Дмитрий Дмитриевич к созданию симфонии «Октябрь» (посвященной Ленину) и «1905 год». Я знал его официальное высказывание на этот счет. Оно ничего не объясняло: «В своей творческой работе я стараюсь быть верным слугой партии и народа... Несколько дней тому назад я закончил свою Двенадцатую симфонию, которую посвящаю памяти Владимира Ильича Ленина». Ничего, кроме общих, стандартных фраз.

Я слушал эти симфонии. Меня удивляла в них не только тема, но и сама музыка. В ней композитор стремился передать историческую конкретность, особенно в симфонии «Октябрьская революция», где изображается приезд Ленина, слышится звук громящего поезда, потом появление Ленина в Разливе — такое романтическое размышление, и т. д. и т. п.

Становится немножко обидно, что могучий музыкант пытается дать эту конкретность, которая, увы, приобретает иное качество — становится иллюстративностью. Я себе представляю, как Дмитрий Дмитриевич, гениально владея оркестром, инструментами и всеми музыкальными средствами, дал бы истинную картину Октябрьской революции! С другой стороны, иногда я думаю, что, может быть, этот рассказ об Октябрьской революции запрятан в других его симфониях. Может быть, об этом сказано в Пятой симфонии, где тоже столько горечи и столько печали. Может быть, о ней музыка Восьмой симфонии, которая подавляет своим мраком, своей темнотой, своей беспросветностью... А ведь в музыке можно очень многое скрыть, зашифровать. Это не то что изобразительное искусство. Хотя и здесь есть примеры блистательного иносказания. Всем известен памятник Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде. Его сделал Щуко, колоссальный мастер, художник большой культуры, прошедший классическую школу. Он выразил в памятнике Ленину то, что трудно разглядеть и, вместе с тем, очевидно. В этом памятнике, казалось бы, довольно стандартном, где изображен Ленин с протянутой рукой, заложена очень крамольная идея. Всмотритесь внимательно: вместо ног — у Ленина два орудийных ствола, на эти орудийные стволы надета коротенькая жилеточка; протянутая рука — колоссальный рычаг с придуманной характерной ладонью в виде топора, которой он «рубит врагов революции» (как говорит Марк Эткинд в своей книге). Протянутая рука сопоставляется с рукой, которая держит пройму жилета, — это рычаг, который тоже рубит, который направлен на несчастный русский народ. В кармане вождя — не кепи, а маузер. Он готов его вытащить и стрелять направо и налево... (Не говоря уже о том, что теперь, после установки памятника на новом месте, он указывает рукой на Большой

дом — КГБ.) Так Щуко в средствах скульптуры, где так трудно спрятать замысел, сумел найти большую трагическую идею. И памятник этот по-своему выражает «Великую Октябрьскую революцию».

В 1952-53 году я вылепил бюст Бетховена, композитора, который с юности занимал мое воображение. Одну из отливок бюста я отвез Дмитрию Дмитриевичу. Скульптура ему понравилась, и Бетховен остался на долгие годы стоять в его кабинете. Случилось так, что, когда Шостакович уже переехал в Москву и обосновался в своей новой квартире в Доме композитора на улице Огарева, подставка бюста была повреждена. Мы тогда часто встречались с Дмитрием Дмитриевичем, и он мне несколько раз говорил: «Гавриил Давыдович, я вас очень прошу, приезжайте и почините бюст, потому что он плохо стоит на шкафу, с поднятой вверх головой». Я все не мог собраться. Для меня поездка в Москву была тягостной. И вот беспощадно жарким летом 1970 года Дмитрий Дмитриевич сказал: «Гавриил Давыдович, все-таки, когда вы поедете в Москву? Дело в том, что будет юбилей Бетховена в декабре месяце». Я, наконец, решил выполнить его просьбу. Через пару дней я сделал отливку для подставки, взял с собой хорошего мастера, и мы поехали в Москву. Нас встретила секретарша Дмитрия Дмитриевича. Мастер хорошо приладил подставку. Дмитрий Дмитриевич все время звонил, спрашивал, как идет работа, и мы докладывали ему, что все хорошо. Бюст поставили, закрепили, и когда в очередной раз позвонил Дмитрий Дмитриевич, я сказал, что работа закончена. На этот раз мне так и не удалось повидаться с Шостаковичем. В тот же вечер я уехал в Ленинград. Когда бывают передачи по телевидению из квартиры Дмитрия Дмитриевича, всегда показывают бюст Бетховена. Дмитрий Дмитриевич мне говорил иногда, когда мы встречались: «Гавриил Давыдович, я чищу свою совесть перед вашим Бетховеном. Глаза Бетхо-

вена для меня — самый строгий судья». Мне часто казалось, что к себе Дмитрий Дмитриевич умел относиться критически. Он анализировал себя, умел увидеть себя со стороны. Впрочем, он был так самолюбив и горд, что если и обижался когда-нибудь, то скрывал это.

В 60-е годы я сделал небольшую статуэтку, изображавшую Дмитрия Дмитриевича в полный рост, в позе, тогда для него характерной: со сложенными руками и полусогбенною, как будто в поклоне, спиной (один мой друг по этому поводу сказал: «Гавриил, зачем ты показал Дмитрия Дмитриевича таким согбенным? Ты бы лучше вылепил его закованным в цепи!»). Фигурка Дмитрия Дмитриевича имела успех. В 1962 году я ее даже отлил из бронзы для дирижера Е. Мравинского. Один из слепков статуэттки я подарил крупному музыканту и дирижеру Н. Рабиновичу, человеку исключительно честному, принципиальному и всеми уважаемому. Он поставил статуэтку у себя в квартире на крышке черного рояля. Комната была большая, просторная, увешанная портретами, и полусогбенная фигура Дмитрия Дмитриевича очень выразительно выделялась на черном фоне. Однажды Дмитрий Дмитриевич пришел к Николаю Семеновичу Рабиновичу вместе с Ириной Антоновной и, войдя в комнату, увидел фигурку, обошел ее, так как рояль стоял посередине комнаты: «Оскорбительно, но похож! Оскорбительно, но похож!» Дмитрий Дмитриевич умел видеть себя со стороны, умел не обижаться, даже если внутренне был огорчен, или скрыть свою обиду, но никогда не выдавал этого. Наверное, он был бы больше доволен, увидев себя в романтической позе, как модель будущего памятника — в развевающемся пальто, — а в этой согбенной фигуре он был изображен с неожиданной стороны. Недаром он несколько раз повторил: «Оскорбительно, но похож!» В сентябре 1960 года Дмитрий Дмитриевич совершенно не ожи-

данно для окружающих вступил в коммунистическую партию. Для людей, близко его знавших, это был ошеломляющий, непонятный поступок. В эпоху так называемой «хрущевской оттепели», когда сталинский террор кончился, никто его не заставлял сделать этот шаг. Когда Дмитрий Дмитриевич был уже всемирно знаменит, Шостакович вступает в страшную мафию, получает красную книжку и произносит традиционные слова: «Наша советская музыкальная культура является самой передовой, самой гуманистической во всем мире. В этом большая заслуга коммунистической партии Советского Союза, которая так любовно, бережно, тщательно помогает нам в наших творческих исканиях, помогает нам быть честными слугами своего народа, и которая оказывает нам высокое доверие, называя нас своими помощниками в деле коммунистического воспитания». Человек, который презирал все эти сборища, пленума, партсобрания, стал членом коммунистической партии Советского Союза! Тут было чему удивляться и над чем подумать. Я не пытаюсь разгадать эту загадку, не хочу объяснять поступок Дмитрия Дмитриевича его неукротимым тщеславием и честолюбием, не хочу судить, а тем более осуждать великого трагического музыканта.

Но иногда я вспоминаю эти последние годы его жизни, когда мы виделись уже редко (он жил в Москве, болел, мало бывал в Ленинграде). Дмитрий Дмитриевич часто говорил: «Вы знаете, я исписался, я уже исписался». Думаю, он искал новых тем, новых ощущений. К юбилею Радищева я исполнил (предполагаемый материал должен был быть гранит) большую скульптуру. Фигура Радищева, одетого в грубую робу, смотрелась как монумент. Видны были только руки, закованные в тяжелые кандалы, и резко повернутая в профиль гордая голова. Я долго добивался, чтобы этот памятник поставили на улице Марата в Ленинграде, у дома, где печаталась его книга «Путе-

шествие из Петербурга в Москву». За помощью пришлось обратиться к Дмитрию Дмитриевичу. Меня даже удивил интерес, с которым он рассматривал мою работу, а потом сказал: «Гавриил Давыдович, пожалуйста, презентуйте мне фотографию и надпишите» (фотография была сразу же повешена у него в кабинете над письменным столом). Я думаю, что интерес к фигуре закованного Радищева был не случаен. Приближалось время Четырнадцатой симфонии, вокального цикла на стихи Микельанджело и других произведений последних лет. Композитор переживал какой-то моральный кризис. Мне кажется, он пытался постичь, что такое человек с тяжелым бременем нечистой совести, или закованный в кандалы, или брошенный в застенки (недаром ему импонировал образ самого себя в виде узника ГУЛага). А может, он хотел ощутить, как живет закабаленный советский человек, как несет бремя партийного билета?! Может, он искал аналогии и для своей судьбы, хотел испытать на себе все до конца? Кто знает. Личность гения — всегда загадка, а тем более для его современников...

Вступив в партию, Дмитрий Дмитриевич как-то осел. Начались недомогания — может быть, это просто совпало с его возрастом, но не думаю, он ведь раньше был очень здоров.

Я не забуду, как-то уже после войны (это, наверное, был 1947 год) я ехал к маме на дачу в Комарово. Из окна автобуса я вдруг увидел на узком тогда Приморском шоссе троих велосипедистов: молодого мужчину и двух детей. Они ехали по обочине дороги, ехали очень дружно, весело переговариваясь. Навстречу мчались машины, ездить было небезопасно, но я видел, что эта тройка прекрасно себя чувствует. Я всмотрелся и узнал молодого Дмитрия Дмитриевича и его детей, Галю и Максима. Автобус остановился, я высунулся в окно, когда дружная тройка проезжала мимо.

Они помахали мне рукой, поздоровались, прокричали что-то и помчались дальше.

Но это было давно. Время неумолимо. После страшного рубежа, когда Дмитрий Дмитриевич вступил в партию, он заметно, на глазах у всех стал другим. Как-то осунулся, в нем произошла страшная перемена. По-видимому, душевное состояние сказалось на его здоровье. Состояние его начало резко ухудшаться. Доктора и лечение не помогали. И потом Дмитрий Дмитриевич обратился к очень известному врачу, который жил на Урале, в городе Кургане, — Гавриле Абрамовичу Елизарову. Этот хирург сделал удачную операцию знаменитому прыгуну Брумелю. Дмитрий Дмитриевич настолько плохо себя чувствовал, что поехал в Курган и пробыл там месяца полтора. И, представьте себе, ранней осенью я как-то приехал в Дом композиторов, к Дмитрию Дмитриевичу, и увидел его очень молодым, каким-то удивительно посвежевшим. Он сказал: «Вы знаете, Гавриил Давыдович, я уже играю на рояле! У меня руки стали лучше... правая рука почти действует. Но вы знаете, как тяжело — два-три часа приходится заниматься гимнастикой. Гаврила Абрамович прописал мне, чтобы я растягивал эспандер по несколько часов в день». Он улыбался и пошутил: «Я теперь иногда путаю ваши имена... Я ему рассказывал о вас... Да, сейчас я чувствую себя значительно лучше». Но все-таки зоркий глаз замечал, что это улучшение — временное. Мои знакомые, врачи из Медицинской академии, которые обследовали Дмитрия Дмитриевича, говорили, что у него какое-то тяжелое хроническое заболевание и положение его очень серьезно. У него ломались ноги, стоило чуть поскользнуться, ноги вообще очень плохо ходили и руки плохо двигались... Скоро пришла страшная всепобеждающая смерть. Дмитрий Дмитриевич принял ее стоически. В нем всегда была такая жизненность, такая любовь к жизни, к прекрасному, что

смерть с ним как-то не вязалась. И все-таки, когда она пришла, он встретил ее без трусости. Он не цеплялся судорожно за жизнь. Он лечился, потому что хотел быть здоровым, но всегда понимал неизбежность, закономерность смерти. И принял он ее как великий человек, как большой музыкант и художник. Когда-то Дмитрий Дмитриевич мне говорил: «Вот, я думаю о смерти... смерть неизбежна, как говорят, так должно быть. Поэтому смерть надо воспринимать оптимистически, ее философски надо воспринимать, оптимистично» (он любил повторять особенно важные для него слова). Но думаю, что мысль эту ему не удалось воплотить в музыку. Музыка звучит трагично, музыка говорит о том, что человек больше не существует, что он исчезает. Что смерть всеильна. Все уходит и стирается из памяти. Когда в конце жизни он начал писать Пятнадцатую симфонию, то собирался создать «веселую, легкую музыку» (что тоже было в палитре этого разностороннего композитора), процитировал кусок из «Вильгельма Телля» Россини. Возможно, у него было такое стремление после мрачных раздумий Четырнадцатой симфонии. Но, несмотря на обращение к Россини и общую тональность музыки, веселой симфонию не назовешь. Глубокие пласты ее, прикрытые порой порхающими музыкальными звучаниями, изобличают Шостаковича последних лет, обуреваемого мыслью о смерти. В последние месяцы своей жизни Дмитрий Дмитриевич написал едва ли не самое мрачное из своих произведений — вокальный цикл на сонеты Микельанджело. Здесь слышится печальный итог жизни композитора: тяжесть личной судьбы, скорбь о несовершенстве мира, боль и тоска...

В последние годы жизни он стал как-то еще более сдержан, замкнут, осторожен. Мучительно искал темы, отказывался от многих замыслов. Интересен такой малоизвестный эпизод. Дмитрий Дмитриевич бывал на даче в Жуковке (под Москвой) у М. Ростро-

повича и там встречался с А. Солженицыным. Преследуемый в эти годы правительством, Александр Исаевич в течение почти двух лет пользовался гостеприимством замечательного русского музыканта и человека М. Ростроповича. Шостакович, несомненно, читал произведения Солженицына. И вот, в этот период у Дмитрия Дмитриевича возникла идея на основе прекрасного рассказа «Матренин двор» создать оперное произведение. Дмитрий Дмитриевич был очень увлечен этой мыслью. И не удивительно. Ведь эта тема, образы, атмосфера прямо созданы для его гения. Вероятно, он сделал бы новые открытия в оперном искусстве, в музыкальной фонетике, нашел бы новую песенную интонацию, свой, шостаковичевский речитатив... Я всегда думал, что Шостакович в своих вокальных произведениях идет слишком прямо от традиций Мусоргского, Римского-Корсакова, Даргомыжского... К сожалению, этот грандиозный замысел Дмитрий Дмитриевич не осуществил. Думаю, что причины были не творческого характера. Эта ненаписанная страница его творческой биографии долго волновала меня. «Разрядка» пришла только тогда, когда я написал на эту тему картину. В центре полотна — деревянный ящик-гроб, в котором лежит в белом платке усопшая русская женщина Матрена. Лицо ее прекрасно. Оно олицетворяет облик России (на выставке в Вашингтоне, где картина экспонировалась, ее называли «Похороны души России»). Опершись на гроб правой рукой, склонился Солженицын. Он, как исполин, контрфорс картины. Рядом — М. Ростропович, обращенный к нему. Над гробом, в массе темных волос, скорбное лицо Галины Вишневской. Правый край картины занимает сосредоточенный, углубленный в себя Шостакович с нервно сжатыми руками, полный раскаяний и сомнений.

Помню одну из моих встреч с Дмитрием Дмитриевичем в 70-е годы. В ту весну в Доме композиторов

я жил в большой комнате с огромными окнами, достигающими почти до земли. Посреди комнаты стоял рояль. На стенах висели мои рисунки, сделанные сангиной и углем. Я тогда много работал, писал разные портреты, изображал Петра Первого, искал образ Пугачева... Было утро, когда я услышал легкое постукивание в окно. Открыв занавеску, я увидел Дмитрия Дмитриевича. Он был в светлом плаще, без шапки. Его мучнисто-бледное расплывшееся лицо выражало настороженность и напряжение, каждый шаг был для него труден и опасен. «Здравствуйте, можно к вам?» Я вышел ему навстречу, чтобы помочь подняться на три ступеньки, ведущие к двери. Дмитрий Дмитриевич тяжело опустился на стул и стал рассматривать мои работы. Мы долго молчали. В это утро, как всегда весной долгие годы подряд, я вспоминал конец войны, Германию, развороченную землю, разрушенные города и горы трупов среди пронзительной весенней зелени. «Дмитрий Дмитриевич, я давно хотел рассказать вам один случай...» Он насторожился. Он обладал редким даром — умением слушать. Я смотрел в окно и вспоминал: «Был такой же апрель, когда все кругом чисто и омыто светом. Наша армия форсировала Одер. Мы были уже на колесах и собирались тронуться. Надо же было одному из наших солдат подойти к стогу сена и поворошить его. Там оказался пожилой немецкий солдат, испуганный, жалкий, в тяжелых сапогах и с фляжкой через плечо. Его привели к командиру полка. Тот, не раздумывая (помню, тогда меня это удивило — наш командир вообще-то не отличался такой жестокой прямолинейностью), мигнул: «В расход». Немца увели. Помню его растерянное, грязное лицо и сено, застрявшее в волосах и одежде. Где-то совсем рядом раздался выстрел и глухой стук упавшего тела. Вскоре мы проехали мимо убитого. Он лежал распростертый на земле, раздетый, без башмаков и фляжки, с выражением странного

покая на уставшем лице. Ночью мы форсировали Одер. Вой снарядов, стоны убитых и раненых... Мы чудом добрались до другого берега и свалились на землю, не в силах шевелиться. В этот момент к нам подскочил командир полка: «Окапывайтесь! А не то вас раздавят, как мух». Обстрел уже начался, когда мы взялись за лопаты, нас укрыла земля и весь взвод уцелел. Скоро наступило затишье, и первое, что я услышал, был выстрел в тишине (может, уже последний) и потом откуда-то снизу голос: «Убит командир полка». Когда я подошел к берегу реки, у воды, раскинув руки, с лицом, залитым кровью, лежал наш командир полка. Он был раздет, без хромовых сапог, и босые ноги его лежали в быстро текущей воде...» Я помолчал. «Вот так это было».

Дмитрий Дмитриевич грустно сказал: «Расплата». «Вы знаете, я давно думал написать музыку на эту тему — «Расплата». Для оркестра и голоса, такого, как у Софьи Преображенской».

«Латинский текст?» — спросил я.

«Нет. Только русский!.. Расплата за все содеянное».

Дмитрий Дмитриевич встал: «Ну, Гавриил Давыдович, мне пора». С трудом передвигаясь, он медленно пошел к выходу. Я хотел его проводить, но он возразил: «Нет, нет, спасибо! Я сам, один, один...» Мы простились.

Я долго стоял на ступеньках и смотрел ему вслед, пока фигура его не скрылась в чуть пробивающейся светлой апрельской зелени.

Я думал — все рожденное Богом, от былинки до человека, когда предстанет перед престолом Божиим, будет в ответе за прожитое и содеянное.

13 августа 1982, Вена

Литература и время

Лев Д р у с к и н

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ РЫТХЕУ

Пожалуй, самая любопытная фигура в ленинградском Союзе Писателей — Юрий Сергеевич Рытхеу. Это удивительный сплав культуры и дикости, обаяния и отталкивания, широты и скупости, цинизма и немного притворного, почти детского простодушия. Советская власть дала ему всё. Если бы не произошла в 17-м эта заварушка, он жил бы в грязной яранге, бил нерпу, мазал лицо тюленьим жиром и говорил бы по-русски несколько слов.

Сейчас он секретарь ленинградского отделения, член правления Союза Писателей СССР, символ советской национальной политики, один из самых богатых людей нашего города. На секретариате даже обсуждался вопрос, что три писателя: Гранин, Шестинский и Рытхеу — заработали за год слишком много (около миллиона), и что это вроде бы неприлично.

За гнилым штакетником, среди подпирающих небо сосен, скромно расположились четыре дачки — невзрачные и совершенно одинаковые. Тесные одноквартирные домики Литфонд поделил пополам — на две семьи. В 1975-м году мы неожиданно узнали, что нашим новым соседом будет Рытхеу. Почему такой Крез, такой немыслимый богач удовольствовался столь жалким помещением? Из жадности? Совсем нет. По капризу первого секретаря обкома Романова

Глава из книги «Самолет улетает на чужбину». В ближайшее время выходит в изд. «Оверсис», Лондон.

ни один ленинградец не имеет права приобрести дом в Курортном районе, не лишившись городской прописки. Рытхеу мог бы купить весь переулок Осипенко. Однако «хоть видит око, да зуб неймёт». Ничего не поделаешь — закон.

Новые соседи — всегда тревожно. Но нас успокоили:

— Да не бойтесь вы! Вам повезло. В ленинградском Союзе Рытхеу — единственный европеец.

Он действительно проявил необычную для писателя воспитанность. Первые слова были:

— Можно, я пройду поздороваюсь с Лёвой?

А за ним цепочкой потянулась знакомиться семья: жена Галя и дети, все уже взрослые — Серёжа, Саша и красотка Оля, которой мы тут же подарили сиамского котёнка. К приезду Рытхеу я подготовился: поворочал глыбы его книг, поворошил журналы и, надо сказать, неподдельно огорчился. Прежде всего, это было неталантливо. Громада этнографии без всякого художественного отбора наваливалась на сюжет, лишая произведение динамики. Минут через сорок у меня начинало ломить скулы и я просил Лилю: «Долистай и расскажи своими словами».

Поэтому я был ошеломлен, когда в ответ на расспросы о современном севере Юрий Сергеевич обрушил на меня каскад поразительных историй. И каждая из них была новеллой — короткой, с неповторимыми характерами: количество таких новелл казалось неисчислимым.

— Юра, — спросил я (через пару дней мы перешли уже на ты), — почему ты этого не записываешь?

Он усмехнулся:

— А зачем?

— Как зачем? Такие блестящие миниатюры! И абсолютно готовые.

Он опять усмехнулся:

— Ну и что! Ведь их не напечатают. Я знаю, какой товар нужен.

Меня резанула его фраза, но я продолжал:

— Ты ведь можешь писать вперемежку: неделю роман, неделю рассказы. Не хочешь писать, начитывай на магнитофон.

— А зачем?

— Ну, напечатают когда-нибудь.

— Когда? После моей смерти? Мне это безразлично.

И повторил:

— Я знаю, какой товар нужен.

Я не удержался:

— Мне кажется, что ты человек, необыкновенно высоко поднятый советской властью, но ею же и загубленный.

Он третий раз усмехнулся, явно польщенный.

Попробую пересказать несколько историй.

У чукчей обостренное чувство совести. Один из них проштрафился — напился или подрался: других провинностей не бывает. Секретарь райкома — русский — долго его распекал:

— И тебе не стыдно! Все тебя уважали. Что ты скажешь соседям? Как ты будешь глядеть в глаза детям и жене?

Чукча пошел домой, снял со стены винчестер, перестрелял всю семью и застрелился сам. Секретарь райкома потом хватался за голову:

— Что я ему сказал? Ну, что я такого ему сказал?

Вторая история, к счастью, завершилась благополучно. Начинается она примерно так же. Пожилой чукча в чем-то провинился. Он был членом партии с большим стажем, и племянник-комсомолец повез его на бюро обкома. Дядя перетрусил и по дороге спрашивал племянника:

— Что они со мной сделают?

Тот утешал:

— Да ничего тебе не будет. Поставят на вид — и всё.

Дядя на беду оказался культурным. Он даже слышал краем уха про гражданскую казнь Чернышевского. Он ясно представил себе, как его поставят «на вид», в центре города, почему-то у памятника Ленину, и все будут проходить мимо и плевать наказанному в лицо. Они остановились в гостинице, и племянник на минуту отлучился. Когда он вернулся, дядя уже совал голову в петлю.

И ещё одна история — смешная.

Знатный оленевод, орденоносец впервые приехал в Магадан. Там его окружила толпа цыганок. Они кричали:

— Молодой! Красивый! Давай погадаем! Позолоти ручку!

Чукча, никогда не видевший цыганок, попятился и сказал:

— Товарищи! О чем гадать? План мы выполнили, в обкоме о нас знают. О чем тут гадать?

Про свое детство Рытхеу рассказывает скупое, но всё же рассказывает. До двенадцати лет он не знал русского языка. Дети играли в русских, как наши — в индейцев. Первый город, в котором Юра побывал, — Магадан. Главное и ужасное впечатление — нищий, протягивающий руку за милостыней.

— У нас такого не случалось. Одинокие старики жили по очереди в каждой яранге. Их кормили и никогда не обижали.

Рытхеу исполнилось уже четырнадцать, когда всех мужчин, кроме стариков и больных, внезапно арестовали. Сквозь слезы и проклятия перепуганных женщин их погнали на пароход и отвезли в бухту Лаврентия — строить аэродром. Официально они не значились заключенными, но территория была опоясана

колючей проволокой, и на вышках стояли часовые. Юру определили помощником повара. Каша варилась в таком огромном котле, что её размешивали лопатой. Когда люди засыпали, Юра скидывал обувь, влезал босиком в котел и сдирал со стенок самое вкусное — теплую подгоревшую корку.

Думаю, что первую прививку цинизма советская власть сделала ему именно здесь, в лагере. Надо было получать комсомольский билет, и к мальчику приставили конвоира. Из райкома он тоже шел под дулом, держа аккуратную серую книжечку и разглядывая изображение Ленина.

Через несколько дней он сбежал. Его не нашли, да и не очень-то искали. Юра сел на корабль «Чукотка» и поплыл к себе в Уэллен. Команда не догадывалась, что он беглый, и к нему относились хорошо. На корабле была еще одна пассажирка, жена секретаря райкома — красивая, совсем юная эскимоска. Всю ночь Юра нянчил её ребенка, а матросы по очереди заходили к ней в каюту. И каждый оставлял плату — пачку махорки. Утром она честно отдала Юре половину.

Отца своего Рытхеу не помнит. Мать пьяный отчим убил палкой. Мы спросили Галю:

— Кем же был Юрин отец?

Она ответила:

— Кто это знает? У них ведь обычай: гостю всё — и лучший кусок, и собственную жену на ночь.

И с надеждой:

— Может быть, он даже был американец.

Она рассказывает:

— Когда у них рождается полурусский ребенок, в семье праздник. Даже отчим гордится им больше, чем своими детьми. — И добавляет: — У них это просто. Я сама видела — спускается вертолет, а чукчанки прыгают от радости и кричат: «Геологи приехали! Е....ся будем! Е....ся будем!»

А теперь скажу о другом. На чукотский язык переводили уже Чехова, Тургенева, Толстого. Не могу осознать как, хоть убейте! В северных языках не хватает еще многих слов и понятий.

Знаете, за что сидел крупнейший специалист по Северу Михаил Григорьевич Воскобойников? За безобидную статью о пионерах. На эвенкийском нет слова «галстук». Воскобойников мучился, мучился, не находя эквивалента, и употребил выражение «пионерский ошейник». В результате — тюрьма. А на чукотском нет «этого сладкого слова свобода». Представьте себе, просто нет. Зато есть слово «йынтыльын» — сорвавшийся с цепи. И Юра, смеясь, рассказывал, как уже в наши дни читал в газете про Кубу — «сорвавшийся с цепи народ». Мы часто сообщаем о фантастическом интеллектуальном росте малых народов, перемахнувших из первобытно-общинного строя сразу на высоты социалистической культуры. Действительно, сделано немало. Но в неумном порыве хвастовства мы допускаем и фантастические преувеличения. Первое поколение интеллигенции, естественно, не может воспринять культуру в полном объеме.

Ко мне пришел как-то молодой нанайский поэт.

— Вот вы, русские, — сказал он, слабо разбираясь в существе вопроса, — считаете нас дикарями. А у нас очень справедливые законы.

— Ну, например? — заинтересовался я.

— Ну, например, — сказал он, — если кто-нибудь убьет у другого сына, он должен ему своего сына отдать.

Подумал и дополнил:

— Или деньгами, сколько тот попросит.

Потом он почитал мне стихи. Они были довольно сложные, с игрой слов, с изысками, и я — помню — сильно удивился. Недоумение мое прошло, когда еврейский поэт Мойше Тейф сказал Лиле:

— У меня восемь строк, а у Юнночки шестнадцать. Вторую половину она досочинила сама. Но зато как получилось!

Мне он писал:

«Если вы захотите переводить мою поэму, я даю Вам полную свободу, но ставлю условие: перевод должен быть лучше оригинала». Господи, как можно пойти на такое унижение!

На моем столе лежит потрепанная, зачитанная книжка — «Высокие звёзды». Автор — Расул Гамзатов. Стихи его великолепны. Два талантливых переводчика, Гребнев и Козловский, сотворили чудо. Перед нами живой, дышащий поэт — лукавый, трогательный, своеобразный. Пожалуй, слегка чувствуется влияние Маршака, но на фоне кавказского колорита это приобретает особый аромат. И какое удивительное единство стиля! Разве можно подумать, что здесь трудились двое? (а вернее — трое!)

Вот строфа со страницы тридцать четвертой:

«Махмуда песни будут жить, покуда
Неравнодушен к женщинам Кавказ.
Но разве после гибели Махмуда
Любовных песен не было у нас?»

А вот — со страницы двести сорок шесть:

«Певец земли родной,
Я сплю в могиле тесной!
Кто рядом спит со мной?
Мне это неизвестно».

Какую строфу перевел Гребнев, а какую Козловский? Если не заглянешь в оглавление, узнать нельзя. Но случилась беда: триединство распалось. Вероятно, произошла обыкновенная глупая человеческая ссора. А Гамзатова, русского Гамзатова больше нет. Его

переводят самые известные поэты — Рождественский, Ахмадулина. Они и переводчики отличные. А тут — никак не могут попасть в тон. И парадокс: стихотворцы, которых переводят теперь Гребнев и Козловский, вдруг стали писать лучше и все как один похожи на прежнего Гамзатова.

Кайсына Кулиева, например, просто не отличить. Я спросил у прелестного человека Ф. И.:

— Что это значит?

Он тонко улыбнулся:

— Я не буду отвечать на ваш вопрос. Скажу только, что у Гамзатова недавно опубликован цикл сонетов. А я точно знаю, что на аварском языке нет рифмы.

Я внутренне ахнул: как нет рифмы? Но у него же все стихи рифмованные! Может быть, Ф. И. пошутил? Да нет, вряд ли. Разговор шел серьезный.

Предвидя хор возражений, хочу ответить сразу. Я ни на секунду не собирался бросить тень на знаменитого аварского поэта. Может быть, на родном языке он пишет прекрасно и ему совсем не нужна рифма. Но уверен в одном: он непохож на своего русского однофамильца. А сейчас пример иной — к великому сожалению, бесспорный.

Вот юкагирский поэт Ганя Курилов. Он вытаскивает из кармана подстрочник. Я уже привык к этой теме, в которой меняются лишь названия народов: юкагиры жили плохо, пришел Ленин, юкагиры стали жить хорошо.

Прошу:

— Теперь прочтите мне стихотворение по-юкагирски.

Ганя смущается:

— Не помню. У меня плохая память.

Ещё ничего не подозревая, говорю:

— Неважно. Прочтите любое. Я просто хочу послушать, как звучат стихи на вашем языке.

Ганя смущается совсем. Он даже пятнами покрывается от смущения.

— У меня плохая память... Не помню наизусть ничего.

Я начинаю сердиться:

— Но ведь оно же записано! Почему вы не взяли его с собой?

И быстрый нахальный ответ:

— А мы маленький народ — у нас нет письменности.

И тут я начинаю понимать: он вообще не пишет стихов. Он катает подстрочники и приносит их для перевода.

Я не стал его переводить. И, как выяснилось, свалил дурака. Через полгода в «Юности» напечатали большой цикл стихов Курилова в переводе Германа Плисецкого. У Гани уже был красивый псевдоним Улуро Адó (Сын озера). А вскоре поэт и переводчик выпустили стихотворную книжку. Сегодня Ганя — уважаемый человек, народный поэт. Возможно, он и научился писать какие-нибудь простенькие вещи по-юкагирски: неудобно всё-таки. Но думаю, что главное его занятие — подстрочники.

Существуют две школы поэтического перевода. Одна — за точность, вторая борется за дух, а не за букву. У каждой из этих школ есть свои короли, свои виртуозы. У первой — Лозинский, у второй — Жуковский и Пастернак. Это — в декларациях. Как правило, такие мастера работают на стыке двух школ. Но в Советском Союзе есть и третья школа — писать за поэта. Она компрометирует поэзию малых народов — ведь читатель никогда не знает, что принадлежит переводчику, а что автору. И невольно возникает шкодливая мысль из «Клима Самгина»: «Да был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Как же обстоит дело с Рытхей? Сам ли он пишет?

Бесспорно! А сам ли доводит до кондиции? Тут у меня возникают некоторые сомнения. Когда Юра в своем творчестве перешел с чукотского на русский, у него были литправщики — Маргарита Довлатова и Смолян. Секрета из этого не делалось. Но потом их дороги разошлись, и, по общепринятой версии, Рытхей ни в ком больше не нуждается.

Так ли это?

В августе он привез из города толстую папку с новым романом.

— Надо ещё хорошенько вычитать.

— Давайте я, — предложила Лиля, — я умею.

Он грудью лег на стол, загораживая свое детище.

— Нет.

Сказано было так решительно и так испуганно, что Лиля, конечно, не настаивала.

У Рытхей железный режим.

— Вот вы, поэты, говорите: вдохновение, вдохновение... Чепуха всё это — работать надо!

В шесть утра он садится за машинку. Но сперва разминка: пробежка к озеру и обратно. Трудится он не очень долго, несколько часов. Ежедневная норма — шесть страниц. Мало? Посчитаем. В месяц — 180, в год — 2160. Будем щедрыми, скинем половину — на случайности, на праздники, на поездки. (Хотя в праздники и во время поездок он пишет тоже.) Но не будем мелочиться, даже округлим. Тысяча страниц в год — таков его гарантированный минимум. И выгоду из этих страниц он выжимает до капли. Сначала разбрасывает отрывки по газетам, тонким журналам и альманахам. Затем печатает вещь целиком в журнале солидном. И под занавес публикует отдельной книгой. А потом почти всегда переиздает.

Я дотронулся до папки:

— Где ты собираешься публиковать новый роман?

— Не знаю. Не решил. Может быть, в «Знамени», может быть, в «Новом мире» — кто больше заплатит. Меня опять, в который раз, резануло.

— Юра, да плевать тебе на деньги. Ты — обеспеченный человек. (Стараюсь подобрать выражение мягче.) Неужели ты не можешь позволить себе напечататься в журнале наиболее престижном?

И холодный ответ:

— Мне это всё равно. Я продаю — они покупают. Кто даст за лист не триста, а четыреста, тому и продам.

Невольно прикидываю про себя. В романе — листов сорок. Значит, шестнадцать тысяч. И ведь речь пока только о журнале.

Юрий Сергеевич родился в 1930 году. В 57-м, в лифте Дома книги, изрядно уже накачавшись, он кричал незнакомому человеку — моему приятелю Михаилу Тартаковскому:

— Пойдем! Выпьем коньячку! Я ставлю. Я первый чукча, о котором написали в Большой Советской Энциклопедии!

Эту его гордость я понимаю и разделяю. Тогда же он получил телеграмму от Хемингуэя: «Так держать, Рытхеу!»

Но, поставив творчество на поток, молодой писатель быстро свел на нет свои первые успехи. Кстати, о коньяке. Когда-то Юра пил по-страшному. Весь налет культуры ссыпáлся с него, как штукатурка. Но с помощью Гали он спасся от зеленой гибели. В любой компании он демонстративно ставит перед собой фужер и бутылку лимонада. Срывается он два раза в году — у себя в Уэллене. Он пьянствует сам, спаивает весь поселок, и Гале не однажды приходилось покупать билет и лететь ему на выручку.

На Чукотке Рытхеу — бог. Его сопровождают самые знатные люди — начальник КГБ и секретарь обкома. На военных кораблях капитаны закатывают

банкеты в его честь. Юрия Сергеевича всегда ждет двухкомнатная квартира окнами на бухту Провидения. Он показывал мне слайды, и я сошел с ума от этой призрачной красоты. С Севера приходили от него смешные письма:

«У нас тут две собаки. Одну зовут Кагор, а другую — Вермут. Они передают привет Геку».

Встречались и фразы довольно противные, явно рассчитанные на посторонний глаз:

«Вчера бушевала пурга. Напротив ресторана стоит памятник Ленину, и кто-то надел ему на голову дорогой малахай. Пожалел Ильича — не замерз бы».

Но Рытхеу ездит не только на Север. Эфиопия, Уганда, Танзания — куда его не заносило? А вот и Вьетнам...

— Во Вьетнаме меня любят.

Юра говорит, что он представитель ЮНЕСКО и что о каждой стране он должен написать отчет всего на полторы странички. Он снимает номера в фешенебельных отелях, живет за границей дольше, чем в Советском Союзе, привозит чемоданы барахла. Откуда у него столько валюты? Кто он — шпион? Связной? Или выполняет другие деликатные поручения?

Вот он сидит напротив меня на диване, в красивой сильной позе, непринужденно подогнув ногу, Рытхеу Юрий Сергеевич — человек, придумавший себе имя и отчество, мой собеседник, только что написавший на подаренной книге:

«Лиле с Лёвой — сердечно, по-соседски, на всю жизнь».

Его узкие глаза под импортными очками дружелюбно поблескивают, и я покупаюсь на это дружелюбие.

— Юра, — говорю я, — я не люблю мешать товарищеские отношения с деловыми. Но тут всё очень серьезно. Вспомни на минуту, что ты секретарь Союза Писателей, и представь, что я у тебя на приеме. Реша-

ется вопрос о квартирах. Я всю жизнь — 54 года — теснюсь в коммуналке, и мне страшно, что нас опять облапошат. Не можешь ли ты поставить вопрос на Секретариате?

С отвращением слышу в своих словах просительные нотки, стараюсь разбавить их шутливой интонацией. Но Рытхеу, будто подыгрывая, и вправду превращается в секретаря Союза, причем далеко не в лучшего.

За стеклами уже не глаза, а льдинки.

— Не люблю я мешаться в эти дразги, — бормочет он, — ну, попытаюсь.

Весь день я лежу, как оплеванный. Потом думаю: «Черт с ним, всё-таки квартира...» Осень. Мы переезжаем в город. Наступает день секретариата. Четыре часа, шесть, восемь — телефон молчит. В десять, перерывавшись до предела, звоню сам.

— Здравствуй, Юра.

— Здравствуй.

— Ну, как там?

— Что?

Издавается или не понимает? Ведь мы дня два тому назад напоминали Гале. Она справилась и ответила: «Юра помнит». Уже почти догадываясь, продолжаю мучительный диалог:

— Как с нашей квартирой?

— Об этом вопрос не ставился.

Не ставился? Но ведь он сам обещал его поставить.

Говорю упавшим голосом:

— Ну, извини, что побеспокоил.

И равнодушное:

— Ничего. Пожалуйста.

Дистанция! Как я мог позабыть о дистанции? Так мне и надо! А к портрету добавляется еще один штрих. Рытхеу добродушен, обаятелен, улыбчив. Из спортивного интереса (если не надо мстить) никому

не причинит зла. Но понятие «помочь другому» в нем попросту атрофировано.

Новое лето. Рытхей заходит к нам каждый день, как ни в чем не бывало. Поставил на место — и ладно. А я (по-своему, разумеется) продумал табель о рангах — и тоже ладно.

К тому же, интересно с Юрой необыкновенно. Фантазия его неистощима, и отличить правду от вымысла не так уж легко.

— На Севере один журналист подписывается псевдонимом Корней Чукотский.

— Юра, да ты выдумал!

Смеется.

— Недавно на Ленфильме обсуждался мой сценарий. Все, как один, приняли его в штыки. А я вышел и сказал:

«Культурные люди, а истории не знаете. Когда в римском сенате принималось единодушное решение, оно вызывало сомнение и считалось ошибочным».

Я в телячьем восторге от мудрости римского сената и лишь на следующий день соображаю, что Юра все выдумал, начиная с Ленфильма. Там его сценарии проходят беспрепятственно.

Бывают баечки и поглубже. Юра без чьей-либо помощи переместил на своей веранде всю мебель — громоздкую и тяжеленную. Я похвалил:

— Ну, Юра, ты проявил настоящую мужскую доблесть.

— Настоящая мужская доблесть не в этом.

— А в чём?

— Мне недавно задала подобный вопрос одна дама, и я тут же на деле показал ей, в чём такая доблесть заключается.

Всё это говорится при Гале, которая бледнеет от ревности, но не смеет и пикнуть. А через неделю опять:

— Танцевал с женой президента Маркоса. Трид-

цать шесть лет бабе, а тело такое крепкое — просто на удивление.

Всё это с намеком, что не только танцевал, и, конечно же, опять при Гале.

Галя бледнеет, но тщеславие сильнее ревности, и фотография президентши, большая и красивая (по моему, массовый выпуск), висит на самом видном месте. У Юрия Сергеевича любовь к соленьенькому органически входит в присущий ему цинизм. А цинизм этот не поддается описанию. Вот снова в «Ленинградской правде» его заметка: «Размышляя над статьями новой советской конституции, я понял...»

— И долго ты размышлял над статьями новой советской конституции? — ехидничаю я.

Реакция мгновенная.

— Пятнадцать минут, — отвечает он, но сразу под каким-то предлогом выходит, остерегаясь насмешек.

Сам он позволяет себе шутки довольно рискованные:

«Я верю, что у нас здоровая молодёжь. Пройти комсомол и остаться человеком, для этого действительно надо обладать незаурядным здоровьем».

«У всех членов партии положительный резус». «Я изобрел для диссидентов новый способ политической борьбы — сексуальная голодовка». Мы не до конца доверяем ему и соответствующую литературу прячем подальше. Но острым охотничьим глазом он углядел неосторожно положенный самиздат. Это письмо Татьяны Ходорович Леониду Плющу — гневное, вдохновенное, прекрасное.

— Лиля, я возьму почитать.

В его словах не просьба, а констатация. Пугаемся, но не очень. Юра человек опасный, но масштабный и мелким стукачеством заниматься не будет. Утром спрашиваю:

— Понравилось?

- Нет.
- Почему?
- Не интересно.

Думаю, что врет. Думаю, что проглядывал всё — и Солженицына, и «Континент», и «Вестник русского христианского движения». Хотя бы из любопытства. Еще один забавный разговор:

- Юра, ты читал «Шум и ярость» Фолкнера?
- Я не люблю Фолкнера.
- А кого ты любишь из американцев?

Молчит. Думает.

- А Хемингуэя, Фитцджеральда?
- Они литературны.
- Что ты под этим подразумеваешь?
- Это, как чёрная икра из нефти. Ненатурально.
- А что ты думаешь о своем сопернике — Дже-

ке Лондоне?

— Ну, он, конечно, очень талантлив. — (Не хватило наглости!) И тут же, надменно: — Но это — взгляд со стороны.

Никто не может писать о Севере. Только он — Рытхеу.

Опасаясь, что записи мои несколько фрагментарны. Но Юра то появляется, то исчезает, и мне приходится прибегать к моментальной съёмке. Вот он приходит из Дома Творчества, злой:

- Не верю ни одному белому человеку!

Фраза удивительная, но она звучала уже не раз. Спрашиваю:

- А Галя?

Хмуро:

- Ну, Галя — дело другое.

И вдруг — истерика:

— Что евреи? Что они носятся со своим еврейством? Побывали бы в моей шкуре.

Он умный и хитрый, как бес. В одну секунду соображает, что сболтнул лишнее и превращает всё в шутку.

— Евреи, — говорит он, — это тот народ, о который разбивается волна русского шовинизма и докатывается до нас, чукчей, в виде дружбы народов. — И, чтоб окончательно увести, подкидывает остроту покороче:

— Антисемитизм — это античукцизм в квадрате:

Ох, как любит он поиграть в ущемленное национальное самолюбие, посмаковать выражение «белый человек»! Кто-то говорил мне:

— Да он на любую пластическую операцию согласится! Лишь бы глаза его стали не узкими, а какими угодно, хоть многоугольными.

Не верьте. Рытхеу отлично понимает выгоду своего положения. Он знает, какой товар нужен. Он не просто продавец, он еще и спекулянт. Он не хочет быть обыкновенным писателем. Его вполне устраивает, что он великий чукотский писатель, живой классик, что о нём на многих языках пишут диссертации. Вот он стучится в дверь:

— Можно к тебе?

— Входи.

Мы два соприкасающихся, любопытствующих мира, и он приглядывается ко мне не менее заинтересованно, чем я к нему. Он не может понять: за что нас любят? Почему валом валят к нам интересные и милые люди, которых мы не в силах даже как следует накормить? Не понимаю и я: почему они так скучно живут? Почему так одиноки? Дружили когда-то с Давидом Кугультиновым, но забыли вóвремя поздравить с государственной премией. А теперь... приезжает иногда зачем-то финский вице-консул — и всё.

Зато они берут своё на курортах и в Домах творчества. Они только что из Пицунды. Там старинную грузинскую церковь переделали под концертный зал. Помогал Кириленко.

Галя делится с нами:

— В храме (слово произносится с особым удовольствием) был концерт, и Юлиан Семёнов хотел лично поблагодарить Кириленко. А тот пошел в другую сторону, в сторону Юры, и — представляете! — Семёнов обежал весь зал, чтобы встретить Кириленко (будто случайно) лицом к лицу и сказать ему: «Спасибо, что вы помогли нам оборудовать этот храм!» Мы Юлиана сразу презирали. Разве красиво так выставляться?

Подумать только: некрасиво! А остальные — те, кто из элиты, — живут «красиво». Знаменитая на весь мир поэтесса в порыве пьяного удализма стянула уставленную бутылками и дорогими приборами скатерть. К столу метнулись возмущенные официантки. Но она крикнула: «плачú!» — и от нее отступились с почетом. Не очень умная Галя рассказывает:

— Не нравится мне Тоня Искандер. Вообще-то она хорошая, но не понимает, с каким человеком рядом она живет. Ведь наши мужья — писатели. А мы кто? Ничтожества!

Так и лепит: «ничтожества». И возражать бесполезно. «Что вы, Лиличка!» — восклицает она и повторяет то же самое. И вдруг: «Ой, не успею!» И готовит Юре обед, к двум ноль-ноль, типично чукотский обед: суп с шампиньонами на телячьем отваре и биточки по-министерски. И не дай Бог опоздать — возьмет кусок черного хлеба и стакан молока и уйдет оскорбленный.

Юрий Сергеевич не любит всех, кто ему помогал: Гора, Смоляна, Воскобойникова. Он пренебрежительно относится к другим северным народам, и манси Ювана Шесталова, которого хвалит в печати, презрительно называет «одичавшим мадьяром».

И под конец — еще два эпизода. Наша милая американская гостья Лиза Такер, уезжая, буквально утопила нас в слезах. Чтобы развеселить её немного, мы позвали Рытхеу с магнитофоном. Юра сидел на моей

кровати, и Лиза, пританцовывая перед ним, приглашала:

— Пойдем?

Юра сперва отказывался:

— Да нет, мне неудобно танцевать, я в шортах.

За Лизой не задержалось:

— Хочешь снять?

Юра расхохотался, и они закружились по веранде. Галя за стеной исходила от ревности. Но было уже около двенадцати. Отправлялся последний поезд. Прощаясь, Лиза — умница — внезапно бросила Юре:

— Смотри, заботься о Льве Савельевиче!

Никогда не поверил бы, что его можно так смутить. Он весь вспыхнул. А я подлил масла в огонь:

— Ну что вы, Лизочка, мы за ним, как за каменной стеной.

Второй эпизод от моего бесценного помощника С. Г.: к Рытхеу, в городе, пришли чукчи — студенты отделения народов Севера. Разговор получился крутой. Они упрекали знаменитого сородича, что он стал вельможей в то время, как народ его гибнет, что он пишет на чужом языке, вместо того чтобы развивать и обогащать свой, что он способствует ассимиляции, что дети его не говорят по-чукотски.

Юра надменно возразил, что он прославил чукотский народ повсеместно, рассказав о нем людям разных стран. Но они назвали его отступником и обвинили, что он пишет сладкую ложь, а народ его по-прежнему вымирает от сифилиса и алкоголя. Не знаю, чем закончилась встреча. Вероятно, Юрий Сергеевич их выгнал. Я спрашиваю у Лили:

— Каким словом можно определить Рытхеу?

Она задумывается и отвечает:

— Ненастоящий.

Я, как всегда, поражаюсь точности её определения. Да, ненастоящий. При всем своеобразии — ненастоящий. Ненастоящий чукча и ненастоящий европеец,

ненастоящий интеллигент и ненастоящий обыватель, ненастоящий друг и ненастоящий враг.

Во дворе лает Гек. К нам? Нет, на этот раз к ним. По ступенькам веранды поднимается финский вице-консул.

Георгий Владимов

Три минуты молчания

Эта книга талантливого русского писателя возникла из опыта плавания автора простым матросом на рыболовном траулере 849 «Всадник» по морям Северной Атлантики. Роман был впервые напечатан А. Твардовским в «Новом мире» (№№ 7, 8 и 9, 1969 г.). Только через семь лет — вскоре после выхода на Западе истории караульной собаки «Верного Руслана» — роман «Три Минуты Молчания» вышел книгой в издательстве «Современник». Но изменения, внесенные автором в текст для книжного издания, а также вычеркнутые цензурой в журнальном варианте места не были приняты издательством «Современник» и полный текст по-русски печатается впервые. (В 1978 г. вышел в изд. Галлимар по-французски.)

Большой формат 408 с. 34 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M.-80

Колонка редактора

ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ

Начну с банального анекдота, бытующего в современной России. Спрашивают как-то у одного мудреца:

— Скажи, мудрейший, будет война или нет?

— Войны не будет, — отвечает тот, — но будет такой мир, что на всей земле не останется камня на камне.

При всей своей кажущейся парадоксальности, простенький этот анекдот довольно точно отражает ситуацию, в которой оказалось сегодняшнее человечество.

Судите сами: вот уже более шестидесяти лет тоталитарная система, по мнению весьма компетентных специалистов, совершает сплошные ошибки во всех областях своей деятельности: внутренней и внешней политике, промышленности, сельском хозяйстве, культуре и идеологии. Казалось бы, при наличии таких перманентно катастрофических провалов система эта должна была бы давным-давно просто-напросто развалиться.

Но стоит нам с вами только взглянуть на карту современного мира, чтобы убедиться, что, несмотря на это, она — эта система — не только не сократилась в своих чудовищных размерах, а наоборот — чуть ли не вдвое увеличила собственную территорию, а сфера ее политического влияния уже просто не поддается учету, открыто проникая в самую сердцевину демократического общества.

За тридцать пять лет так называемого послевоенного мира советский тоталитаризм захватил почти в два раза больше, чем в результате своих побед в двух больших войнах, или, точнее, тридцать пять стран, то

есть в год ровно по одной стране. Если события в мире будут и впредь развиваться в том же направлении, то окончательное торжество тоталитаризма можно уже сейчас вычислить с помощью двух первых правил арифметики.

К сожалению, в пылу споров вокруг конфронтации двух сверхдержав, в громких, но бесплодных дискуссиях о ядерном разоружении, в риторической перепалке глав великих государств свободный мир не хочет или не способен заметить, как советский империализм исподволь, шаг за шагом, в обход прямого столкновения, дальновидно используя социальные противоречия и политические комплексы Третьего мира, стягивает вокруг демократии петлю идеологического кордона, в стремлении не только отрезать промышленно развитый мир от сырьевых и энергетических источников, но и в конце концов изолировать его морально, чтобы в результате в критический момент поставить ее — эту демократию — на колени, продиктовав ей безоговорочную капитуляцию.

Давайте спросим себя, почему Советский Союз и его сателлиты, практически не давая слаборазвитым странам ничего, кроме устаревшего вооружения и убогих пропагандистских брошюр, занимает в этих странах такие сильные политические позиции, а свободный Запад, при всей своей, хотя, может быть, и далеко недостаточной материальной и гуманитарной щедрости, вызывает со стороны этих же стран в лучшем случае раздраженные нарекания, а в худшем — откровенную ненависть?

Мне кажется, что это происходит потому, что советская пропаганда предлагает народам Третьего мира пусть и примитивную, но все же альтернативу существующему там социальному порядку, то есть альтернативу прямого перераспределения материальных благ, а свободный мир — ничего не решающие

подачки да прекраснодушные рассуждения о преимуществах свободы и демократии.

Поэтому я убежден, что будущее демократической цивилизации решается сегодня не за столом женевских переговоров и не через коммуникации «красных телефонов», а в поисках альтернативы для слаборазвитых и поработанных народов, альтернативы, предлагающей этим народам справедливую и достойную форму общественного существования.

А для этого свободный мир должен апеллировать не к правительствам этих стран, а непосредственно к их народам. Почему, к примеру, не предложить оппозиции каждой такой страны занять место в Организации Объединенных Наций наряду с официальными представителями, хотя бы в качестве наблюдателей? И отчего на этом почтенном форуме находится место Арафату и не находится места Сахарову или Валэнсе? Видно, теперь, чтобы представлять свой народ, туда нужно являться не с Декларацией прав человека или Библией, а только с пистолетом или автоматом Калашникова наперевес?

Насилие, разрастаясь наподобие раковой опухоли, уже захлестывает и свободный мир — насилие над людьми по социальному, политическому или национальному признаку. Человек поднимается на человека, движимый темными инстинктами, которые искусно используются тоталитаризмом для дестабилизации и окончательного разрушения последних островов христианской цивилизации.

И это действительно один из видов войны и, может быть, самый опасный ее вид, ибо это война без правил. Поэтому она должна быть поставлена вне закона, какой бы благородной демагогией она не прикрывалась. Только в таком случае, на мой взгляд, мы можем оказаться в этой войне победителями.

Каждому, кто действительно озабочен судьбой Свободы в современном мире, следовало бы, на мой

взгляд, усвоить истину, высказанную недавно большим румынским писателем Паулом Гомой:

— Все мы живем в одной Камбодже, и столица этой Камбоджи — Москва!

Поэтому я и позволю себе закончить вещими словами великого Джорджа Вашингтона:

— Вечная бдительность — залог Свободы!

Журнал «БЪДУЩЕ»

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

Наша почта

Уважаемый Владимир Емельянович!

Я ведущий инженер одного из НИИ Ленинграда. Мне не часто попадают номера Вашего журнала, но если попадают — я всегда прочитываю их с громадным интересом, пожалуй, с большим, чем любой другой журнал. Не скрою, что я не всегда могу согласиться с содержанием и тоном публицистики журнала, в том числе и лично Ваших публицистических выступлений. С другой стороны, Ваши художественные произведения (я читал произведения, опубликованные в свое время в СССР, а также «Семь дней творения» и 1-ю книгу «Чаши ярости») я очень высоко ценю (хотя в «Чаше ярости» мне представляются недопустимыми оскорбления, в том числе и в авторском тексте, в адрес реальных лиц, выведенных под настоящими фамилиями).

Цель настоящего письма, однако, иная — я хотел бы исправить некоторые ошибки фактического порядка в некоторых материалах Вашего журнала и дополнить некоторые другие статьи. Я был бы признателен Вам, если б Вы опубликовали это письмо.

1. Дополнение к статьям М. Володарского, посвященным истории отношений Сов. Союза (Сов. России) с Ираном (Персией) и с Афганистаном.

Обе статьи чрезвычайно интересны и не вызывают ни малейших сомнений в точности приводимых в них фактов. Более того, в одном случае документ, цитируемый автором по архивным данным, есть и в советской публикации (Инструкция НКВД полпреду в Афганистане Раскольникову от 3. 06. 21 опубликована в «Документах внешней политики СССР», том 4, док. 112). Однако недостатком обеих статей является то, что в них не упоминаются территориальные спо-

ры с обеими этими странами и нарушение советской стороной территориальных статей как договора с Ираном, так и договора с Афганистаном. Так, договор с Ираном предусматривал, что захваченный царской Россией поселок Фирюза возвращается Ирану. Этот пункт часто цитируется в советской исторической литературе, учебниках и др. А между тем, легко убедиться в том, что на советских картах любого года издания пос. Фирюза близ Ашхабада расположен на советской территории. Конечно, можно было думать, что в договоре шла речь о другой Фирюзе — хотя на картах никакую другую Фирюзу найти нельзя. И лишь в хрущевское время был заключен договор об урегулировании пограничного спора — Фирюза была оставлена за СССР, а СССР передал Ирану узкую полосу земли в другом месте. Сейчас конфликт урегулирован — но в течение нескольких десятков лет СССР грубо нарушал договор, без каких-либо веских оснований (во всяком случае, такие основания нельзя найти в советских публикациях дипломатических документов). Еще интереснее ситуация, относящаяся к границе с Афганистаном. Володарский правильно указывает, что РСФСР обещала по договору гарантировать независимость Бухары и Хорезма (Хивы), а Афганистан обещал не препятствовать установлению там «народной» власти, РСФСР эти обязательства не выполнила. Но Володарский не упоминает другой пункт договора, предусматривавший референдум на отторгнутых царской Россией от Афганистана территориях. Такой референдум, однако, так никогда и не был проведен. В 1946 г. конфликт был урегулирован, Афганистан подписал согласие считать соответствующую статью договора утратившей силу. Но до этого в течение 25 лет договор юридически действовал, но советская сторона его не выполняла и не собиралась выполнять. Добавлю еще для полноты несколько слов о заключенном в прошлом году новом советско-афган-

ском пограничном договоре. Советская печать упоминала о возмущении китайцев этим договором, без объяснения, в чем же дело. Как указано в советской печати, договор устанавливает советско-афганскую границу в ее восточной части по фактически охраняемой линии. Многим эта формулировка показалась загадочной. А дело в том, что восточный участок границы не был определен договором и заключению такого договора препятствовало не только то, что, быть может, между сторонами были разногласия по поводу прохождения тех или иных отрезков границы; главное препятствие состояло в том, что в этом районе (Восточный Памир) не определена советско-китайская граница. Линия границы СССР была когда-то установлена русской стороной односторонне и подтверждена русско-английским договором, который, однако, естественно, не связывает Китай, и Китай этот договор не признает, а по ранее заключенным русско-китайским договорам этот район отходил к Китаю. Я не знаю, определена ли договором китайско-афганская граница, но, в любом случае, новый советско-афганский договор делит без согласия Китая территорию, от которой Китай никогда не отказывался и которая и Россией, и позже СССР признавалась постоянно в качестве по меньшей мере спорной между СССР (Россией) и Китаем.

2. Как менялось название бывшей станицы Баталпашинской?

В 1-й книге романа В. Максимова «Чаша ярости» одна страница посвящена многочисленным переименованиям бывшей станицы Баталпашинской, ныне города Черкесска, центра Карачаево-Черкесской автономной области, а также судьбе карачаевцев, выселенных Сталиным из родных мест. Хотя «Чаша ярости» — не историческое исследование, а роман, такого рода справка выглядит вполне уместной. Однако, коль скоро уж фактическая справка приведена, она должна

быть точной. Не столь уж редко читатели запоминают исторические факты по художественным произведениям, а не по историческим трактатам. Тем более это верно в тех случаях, когда не так уж легко найти точные сведения в справочной или исторической литературе.

К сожалению, в этом абзаце все перепутано. Город, о котором идет речь, никогда не назывался ни Ежовском, ни Карачаевском. Но зато он назывался, о чем автор не упоминает, Ежово-Черкесским и Сулимовым. А карачаевцы не были «самым большим народом», населяющим область с центром в этом городе ни в предвоенное время, ни в годы войны, ни в 1954-56 гг. (когда происходит действие романа). В действительности, станица Баталпашинская в 1931 г. переименована в город Баталпашинск, который в 1936 г. стал называться Сулимов (Д. Е. Сулимов был членом ЦК партии, а в 1927-30 гг. даже членом Оргбюро ЦК, с 1930 до 1937 был председателем Совнаркома, т. е. главой правительства РСФСР, затем объявлен врагом народа и погиб, посмертно реабилитирован), с 1937 г. город назывался Ежово-Черкесск, а с 1939 г. — Черкесск. Не исключено, что в конце 1938 — начале 1939 г., а также в середине 1937 г. город мог еще дважды в течение немногих месяцев или недель называться Баталпашинском. До войны этот город был центром Черкесской автономной области, карачаевцы же населяли другую автономную область, Карачаевскую, центром которой был город Микоян-Шахар (образован в 1929 г.). Когда в 1943 г. карачаевцев выселили, эту территорию заселили грузинами и передали из РСФСР в Грузинскую ССР, а г. Микоян-Шахар переименовали в город Клухори. Когда в 1957 г. Хрущев реабилитировал большую часть репрессированных народов, в том числе и карачаевцев, и переселил их обратно, г. Клухори был переименован в Карачаевск, территория вновь вошла в состав РСФСР, но

Карачаевская автономная область не была восстановлена, а была создана (уже существовавшая в 1922-26 гг.) объединенная Карачаево-Черкесская автономная область, центром которой является город Черкесск, а не Карачаевск, хотя ныне в области карачаевцев больше, чем черкесов.

3. Какие договоры нарушил Советский Союз?

В статье С. Караванского «Сахаров и Си-Би-Эс» («Континент» № 30) критикуются западные журналисты, не сумевшие в совместной телевизионной передаче с советскими представителями убедительно опровергнуть их утверждения. К сожалению, С. Караванский лишь более непримиримо настроен, чем критикуемые им журналисты, но ничуть не более компетентен. А оспаривать лживую информацию можно отнюдь не путем запрета подобных совместных передач, к чему как будто склоняется автор, и не путем голословных оспариваний утверждений оппонентов, а лишь путем противопоставления своей точной и правдивой информации. Один пример: Караванский перечисляет договоры и соглашения, якобы нарушенные СССР, но большинство приведенных им примеров не соответствует действительности, тогда как можно назвать ряд других договоров, действительно нарушенных Советским Союзом. Так, договор СССР о взаимной помощи с Чехословакией 1939 года не был нарушен Советским Союзом — ведь этот договор подлежал применению лишь в том случае, если помощь будет оказана и Францией, а этого не произошло. Договор о взаимной помощи с Францией 1935 года тоже трудно считать нарушенным, т. к., строго говоря, нападения Германии на Францию не было: Франция сама объявила войну Германии после нападения Германии на Польшу.

Резолюции ООН носят не обязательный, а лишь рекомендательный характер, и многие члены ООН игнорируют те или иные резолюции, это никак не

приравняется к нарушению соглашений. Применение Советским Союзом химического оружия в Афганистане, как известно, пока не доказано. Хельсинкские договоренности (а не соглашения) — это документ, обладающий в большей мере моральной, чем юридической силой, к тому же, большинство их формулировок весьма неконкретно («стремиться», «благожелательно рассматривать» и т. п.), поэтому говорить в этом случае о нарушении трудно, хотя я согласен с тем, что многие действия советских властей свидетельствуют об отходе от духа Хельсинки. Таким образом, из перечня Караванского остаются лишь два пункта — Договор о нейтралитете (а не о ненападении) с Японией и Международный Пакт о гражданских и политических правах. Однако бесспорных примеров нарушения Советским Союзом своих обязательств гораздо больше. Выше я уже указывал на несоблюдение договоров о территориальных уступках с Ираном и Афганистаном. Последний такого рода пример — договор с Японией 1956 г. об уступке ей островов Малой Курильской гряды (документ называется «Совместная декларация», но он ратифицирован обеими сторонами, опубликован в «Ведомостях» и «Сборнике действующих договоров»); правда, фактическая передача откладывается до подписания мирного договора, но, во-первых, это все равно не территория СССР, а лишь временно управляемая им территория — а на всех официальных картах эти острова отнесены к территории СССР, а в официальных советских заявлениях утверждается, что «территориального вопроса нет», а во-вторых, СССР отказывается от переговоров о мирном договоре.

РСФСР и СССР нарушили немало мирных договоров и договоров о ненападении, начиная с Брестского мира, который был односторонне аннулирован, а не пересмотрен по договоренности с революционным правительством Германии, более того — этот договор

(что сейчас уже не скрывается) был заключен без намерения его долго соблюдать. Был нарушен договор 1920 г. с Грузией (не говоря уже о договорах с Башкирией, Абхазией). Напав на Финляндию, СССР нарушил сразу договор о ненападении с этой страной, мирный договор с ней, Пакт Лиги Наций и Пакт Келлога, равно как конвенцию об определении агрессии. Нарушены были и договоры о ненападении с Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией и мирные договоры с этими странами. Секретные договоры с Германией о разделе Прибалтики (сами по себе, впрочем, незаконные) тоже были нарушены (СССР захватил Мариамполь — ныне Мицкявичус-Капсукас — не входивший в его долю). Заключенные в 1956 г. экономические соглашения с Югославией были нарушены вскоре же, под аккомпанемент новых идеологических нападок. Постоянно нарушаются Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования (запрет религиозного обучения), Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и занятий (дискриминация по религиозным и политическим мотивам), Конвенция МОТ о правах профсоюзов (недопущение параллельных профсоюзов и предъявление государством профсоюзам требований о руководящей роли партии, а также принуждение к вступлению в официальные профсоюзы путем снижения вдвое суммы пособий из государственных средств нечленам профсоюзов), Конвенции МОТ о принудительном труде и многие другие. Вместо этих фактов Караванский приводит свои домыслы. Весьма странен язык статьи Караванского — он производит впечатление перевода с английского (ведь по-русски, в отличие от английского, не говорят «член» разведывательных или пропагандистских органов, надо сказать «сотрудник»).

Э. Орловский

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ (С. А. Левицкий)

24 сентября 1983 года в Вашингтоне, от сердечного приступа, скоропостижно скончался философ и публицист Сергей Александрович Левицкий.

Родился он 15 марта 1908 года в Либаве, получил среднее образование в Таллине, затем учился и получил ученую степень доктора философии в Карловом университете в Праге, где в годы учебы и позже занимался педагогической деятельностью, переводами. В годы войны, в Берлине, к этому прибавились журналистика и политическая публицистика.

После войны, в беженском лагере Менхегоф, под Касселем, он пишет философские и публицистические статьи для периодических изданий «Посев» и «Грани», выходящих в издательстве «Посев», а также работает над философской книгой об органическом мировоззрении.

С пятидесятих годов — в США, занят философским творчеством, публицистикой, скриптами для радиовещания, педагогической деятельностью в качестве профессора Джорджтаунского университета в Вашингтоне. После выхода на пенсию — творческая работа в области философии, публицистики, чтение лекций, участие в общественно-политической жизни.

С. Левицкий известен как автор многочисленных статей в русской и иностранной печати, но также и солидных трудов по философии. Высокую оценку получила его докторская диссертация на тему «Свобода как условие возможности объективного познания», где он развивает гносеологию интуитивизма русских философов Н. О. Лосского и С. Л. Франка. В 1947 году в издательстве «Посев» вышла его книга «Основы органического мировоззрения», в которой, помимо конструктивной части, дано краткое изложение основных философских школ вообще. Обзорно-аналитический характер носят его популярные «Очерки по истории русской философской и общественной мысли» (Изд-во «Посев», I том 1968 г., II том 1981 г.), получившие известность как учебное пособие.

Наиболее оригинальным его трудом является книга «Трагедия свободы» («Посев», 1958), глубокое философское исследование феномена свободы, высокую оценку которой дал в предисловии к ней Н. О. Лосский, учеником и последователем которого он был и который, в свою очередь, называет автора «достойным преемником» русской линии философии.

Критика и библиография

ЗАМЕТКИ О ШЕСТОЙ КНИГЕ ИОСИФА БРОДСКОГО

В издательстве «Ардис» вышла новая книга стихотворений Иосифа Бродского. Как видно из подзаголовка, стихи обращены к одному адресату, заключенному в инициалы; это своего рода новоявленный стихотворный роман: а последить за сюжетными линиями, так будет позволительно отметить, что это свободный, романтический, «новый» роман, состоящий из вставных стихотворных новелл; а проза опущена.

Вместе с поэтом русский читатель будет праздновать этот странный юбилей: 1962—1982, и будет благодарен поэту за то, что этот юбилей состоялся; внимательный читатель на родине отметит, что многие стихи попадались ему и прежде, а теперь они выстраиваются в некий новый ряд, в непривычную цепочку — по воле автора, захотевшего расположить их так, а не иначе.

В России уже сейчас у произведений Бродского завидная судьба, и почитателям несть числа. Не знать Бродского и признаться в том, что не знаешь, — неприличие, сопоставимое разве с незнанием вех отечественной космонавтики или, на худой конец, философских романов Александра Зиновьева. Достать стихи Бродского по силам всякому, кто того захочет. Причем избалованная публика предпочитает обязательно ксерокопии, не какую-то там реликтовую машинопись — вообще индустрия ксерокопирования стала предметом гордости моего русского современника, почти уже брезгующего долбить на машинке: зачем? лучше уплатить приемлемую сумму (не намного, кстати, превосходящую здешние тарифы на оригиналы), и получишь ксерокс в переплете, просвещайся, пожалуйста. И на Арбате спокойно гуляют торговцы — предлагают ксероксы с Гумилева; ничего, дойдем и до следующего состояния, не миновать...

Иосиф Бродский. Новые стансы к Августе. (Стихи к М. Б., 1962 — 1982). Анн Арбор, «Ардис», 1983.

Поэт Иосиф Бродский учит жить Россией, мыслить по-русски, причем не только тех, кто оказался на Западе, но скорее тех, кто там, и потому между поэтом и его русским читателем на родине отсутствует десятилетняя дистанция, как будто и не было начала его изгнания, несмотря даже на его заокеанские циклы и всяческие напоминания о своей отдаленности. Поэзия Бродского из пределов России никуда не уходила: она только возвращалась; и «Новые стансы к Августе» — новое возвращение Бродского на родину.

Иосиф Бродский равно избегает как апелляции к вечности, так и оперирования мгновениями; темы его стихов — это обозримые куски времени, в которых постепенно, чинно и последовательно разворачивается то или иное действие. Иногда оно состоит из внимательного созерцания, как в стихотворении 1962 года, открывающем книгу:

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидел, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.

Поэзия Бродского имеет ретроспективный характер; «взгляд» поэта обычно различает былое, и верхний предел — настоящее время, а дальше он заглядывает редко, разве что изо дня — в вечер, из мрака ночи — в утро, как, например, в «Загадке ангелу»:

Как долго эту боль топить,
захлестывать моторной речью,
чтоб дать ей оспой проступить
на теплой белизне предплечья?

Как долго? До утра? Едва ль.

Ранний период эволюции Бродского проходит под знаком сумерек, темноты, из которой высвечиваются различные вещи; про темноту Бродского известно, что она нейтральна лишь на отдалении, что вблизи она есть формообразующее средство (недаром Бродский из того города,

где была самая большая в мире коллекция Рембрандта); это видно в «Новых стансах к Августе» 1964 года:

Сентябрь. Ночь. Всё общество — свеча.
Но тень еще глядит из-за плеча
в мои листы и роется в корнях
оборванных. И призрак твой в сенах
шуршит и булькает водою
и улыбается звездой
в распахнутых рывком дверях.

В приведенном отрывке отсутствует какое-либо развитие действия; у Бродского, как в пьесах Чехова, «есть только соседство с вытекающими из него неприятностями» (Мандельштам); но ударение здесь следует все-таки поставить на слове «соседство», а не на вытекающем из него.

Ходасевич писал в «Некрополе», что одни поэты идут от сложности к простоте, другие — от простоты к сложности. Применительно к Иосифу Бродскому, как кажется, больше подойдет другое: от простого принципа соседства к более сложному принципу соседства, от почти декларируемого нанизывания реалий в «Псковском реестре» до того, что происходит в стихотворении, завершающем книгу, где, «в мироздании потерян, кружится шар», то бишь не просто «шарик улетел», но складывающаяся в символ некая субстанция (пусть шар!), одинокая по определению и по положению во времени и пространстве.

Элемент прямой автобиографии довольно часто становится у Бродского сюжетом его стихотворений; не только, как говорится, переживания, вызванные теми или иными обстоятельствами, но **картинки** этих (часто невеселых) обстоятельств, которые автор нередко заключает во «вторую раму», как это видно из написанного в ссылке стихотворения «Развивая Крылова», начинающегося, кстати, с констатации соседства двух ворон, где одна ворона

облюбовала маковку столба,
другая — белоснежный изолятор.

Слово «изолятор» в этом стихотворении имеет двойное значение, помимо фарфоровой чашечки, ввинченной в столб:

они расположились над крыльцом,
возвысясь над околицей белесой,
над сосланным в изгнание певцом,
над спутницей его длинноволосой.

А те, в обнимку, думая свое,
прижавшись, чтобы каждый обогрелся,
стоят внизу. Она — на острие,
а он на изолятор загляделся.

Здесь, разумеется, представлен сам поэт в северной ссылке, причем его лирический герой настолько отвлекается от самого себя, что видит как бы картинку (почти как у Шагала); происходит игровое удаление, самообъективация, так что автору остается только предполагать, о чем думает его объект (т. е. сам автор): «...об изоляции, должно быть».

Заканчивая стихотворение, Бродский удовлетворяет законное ожидание читателя (раз уж стихотворение названо «Развивая Крылова»), ожидающего какой-нибудь парафраз, цитату из дедушки Крылова:

он высвободил локоть, и хлопок
ударил по вороньим перепонкам.
Та, первая, замешкавшись, глаза
зажмурила и крылья распростерла.
Другая же взвилась под небеса
и каркнула во все воронье горло.

В этом поэтическом шедевре особенно нагляден внутренний диалогизм поэтической речи Бродского, который ясно сознавался поэтом и получил такую характеристику в «Зимней почте» 64-го года:

Вот оттого мой голос глуховат,
лишенный драгоценного залога,
что я не ужогу (не виноват)
совсем в специалисты монолога.

В отличие от многих своих современников, Бродский — поэт, не приспособленный для чтения с эстрады, и нелепо было бы переспрашивать у соседа: Катона? Карфа-

гена? Стихи его подобны некоей химической реакции, которая начинается с заданных условий и заканчивается (если заканчивается) непредсказуемым результатом, и процесс этой реакции, и поэтический результат — на г л я д н ы, вроде событий и фактов, описываемых в стихотворении: «Трамвай бежит в свой миллионный рейс. / Трезвонит громко, и в момент обгона / перекрывает звонкий стук подков».

Кредо Бродского сформулировано им таким образом: «Любой предмет — свидетель жизни» («Псковский реестр»). В известном смысле поэтические повествования Бродского — это организация соседства предметов, организация предметов текстом и текста — предметами. Круг замкнулся легко. Поэтому он легко и размыкается.

Так творятся миры.
Так, сотворив их, часто
оставляют возвращаться,
расточая дары.

Основы экзистенциализма Бродского — в непрекращающемся его самосознании, длимости, тягучести его стихов, строф, поэтических штук. Если понимать экзистенциализм просто как способ осознания времени, точнее, его самодвижения в человеке, то тогда экзистенциалистами были и Овидий, и Джон Донн, и Мандельштам, но любопытно, что любая эпоха, в которой худо-бедно поэзия ладит с философией, склоняя к этому, заставляет осознавать себя и свою самость совершенно схожим каким-то образом, только говорить приходится на языке своего времени.

Любопытно, что Бродский тяготеет в выборе вещей к детским и раннеюношеским воспоминаниям: предметы являются именно тогда; и жизнь уподобляется комнате, в которой пребывают эти свидетели, становится комнатой, из которой кто-то выходит и куда кто-то приходит, а сонные свидетели исчезнувшего бытия все тут и тут. В сущности, Бродский специально о своем детстве не пишет. Но свидетели-предметы, встретившиеся в детстве, свидетели-фразы, услышанные в 40-х — начале 50-х гг., нередко всплывают в стихах, и хоть от любого из них по отдельности ничего вразумительного не добьешься, зато, собранные вместе, они куда как красноречивы. «Но выйдет так, как учат пио-

неры» («Пророчество»), «...пыльная капля на злом гвозде — лампочка Ильича» («Раньше здесь щебетал щегол...»), «...повысить в ранге достижения Мичурина» («Элегия»). И так, Пионеры, Лампочка Ильича, Достижения Мичурина, Фокстрот, Крепдешинская юбка (модная в нач. 50-х гг.), Инвалиды, Блатные (чего после войны было в изобилии) и т. д. и т. п. Рассыпанные по стихотворениям, эти понятия несут лишь отсветы давнего смысла, смысла, ставшего теперь патиной, ретрухой.

И, словно заметив такую тенденцию в ряде своих стихотворений, Бродский пишет «Келломяки», где реалии следуют одна за другой, давние реалии, отошедшие:

В маленьких городках узнаешь людей
не в лицо, но по спинам длинных очередей;
и население в субботу выстраивалось гуськом,
как караван в пустыне за сах. песком
или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь.

Тема города у Бродского еще ждет своего исследователя. Будучи уроженцем Ленинграда-Петербурга, города-фантазма, возведенного по заранее известному плану, злоупотреблявшему геометрией, Бродский любит описывать иной тип города, город-скопище, навроде Пскова. Псков оказывается превосходной моделью мира для поэта, любящего выхватывать фрагменты хронотопа, времени-пространства:

...Припомни март,
семейство Найман.
Припомни Псков, гусей
и вполнакала
фонарики, музей,
«Мытье» Шагала.

Псков — это разбредшийся город. Поэту остается, так сказать, составить опись псковским явлениям, и он впрямь составляет реестр, и этот список — почти исчерпывающий портрет когда-то великого города, замечательного ныне лишь прошлым, да мало-мало недавним прошлым: какими путями занесло туда монохромную вещицу Марка Шагала

10-х годов «Купание ребенка», которая висит среди очаровательных картин Бориса Григорьева, Сергея Чехонина, Валентина Серова и которую всем посетителям почему-то хочется взять с собой — так неприятно и сиротливо она болтается на двух веревочках при одной сиделке этого зала-музея.

Энергичная, как всегда, цезурированная манера повествования поэта допускает широкое использование «скрытых» рифм, как в «Загадке ангелу»:

Мир одеял разрушен с н о м.
Но в ч ь е м-то напряженном взоре
маячит в сумраке н о ч н о м
о к н о м разрезанное море.

Два глаза и с т о ч а ю т крик.
Лишь веки, и з д а в а я шорох,
во мраке з а щ и щ а ю т их
собою наподобье створок.

«Скрытые» рифмы придают дополнительный импульс именно повествовательному элементу поэзии Бродского, не плану выражения, но плану изображения, будь то идущая сквозь строфу неназойливая рифма *сном-чьем-ночном-окном*, или совершенно преднамеренное неказистое *источают-издавая-защищают* с его эскапацией шипящих.

В книге почти равномерно представлен творческий путь Бродского, и, переворачивая страницы, мы видим, что поэт не отказывается от основ своей поэтики, сохраняя свои давние находки и придавая им новую крепость. Так, характерен его излюбленный прием — начинать стихотворение местоимением, категоризмом, обращением по имени или императивом: «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...», «Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной...», «Никоткуда с любовью, надцатого мартабря...», «Мари, шотландцы все-таки скоты...», «Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица...»

Образ героини этой книги — это образ всей запечатленной для читателя жизни Бродского. И в том, что он всегда лицом к ней, видимо, и состоит непростой секрет неувыдаемого мастерства поэта и вечно нового его жизненного чувства.

Анатолий Копейкин

«ЕСЛИ ПРАВДУ СКАЗАТЬ — Я ПО КРОВИ ДОМАШНИЙ СВЕРЧОК...»

Строкою, вынесенной в заглавие, открывается одно из программных стихотворений Арсения Тарковского. В ней содержится поразительное признание. Неужели все остальное — неправда? Все оды, вся натурфилософия, весь тяжелый мыслительный пафос Тарковского, вся «Эсхилова трагедия», которая, по выражению поэта, как-то незаметно «свила гнездо» в его стихах? Вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос; однако задаться им, вероятно, стоит — ведь речь об одном из самых крупных из ныне живущих русских поэтов.

Множество легенд ходит об Арсении Тарковском. Мне доводилось слышать даже, что он не кто иной, как законный царь Дагестана. Близкий друг Ахматовой и Заболоцкого, автор стихов, намекающих на тесное знакомство с Мандельштамом:

Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт.
Книга порвана, измята
И в живых поэта нет...

От книги к книге становилось яснее, что не случайны его посвящения Цветаевой, что из них, из стихов, где появляется то Марина, то Мария, то Кама — символ обездоленности и смерти, вырисовывается редкого накала любовная драма, оборвавшаяся со смертью поэтессы. Потом прозвучал — и у всех остался в памяти — хриловатый, усталый закадровый голос, с легкой одышкой читавший стихи в изумительном «Зеркале» Тарковского-сына:

«Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете...»

Словом, человек-легенда, более всех остальных русских поэтов любящий слово «царь» в первом лице, единственный до наших дней осколок серебряного века...

Между тем помянутые мастера были скорее учителями, чем товарищами своему младшему современнику; воспоминания и письма — о его причастности к серебряному веку упорно умалчивают. В самом деле, родившись в 1907 году, он опоздал на пир десятых годов, и юность его пришлась на годы завинчивания гаск, когда становилась все яснее ненужность литературы в новом обществе. А ведь о своем призвании Тарковский знал с самого начала.

У, как я голодал мальчишкой!
Тетрадь стихов носил под мышкой,
Баранку на три дня делил.
.....

И стал жильем певучих сил,
Какой-то невесомой скрипкой...

Невесомые скрипки никогда не были в большом фаворе у марксистов-ленинцев, но Тарковскому посчастливилось отыскать свою, как сейчас говорят, экологическую нишу: он стал переводчиком, первоклассным перелагателем восточных и иных поэтов. Увы, сколько ни расхваливай Тарковского, подарившего русскому читателю кара-калпакский эпос «Сорок девушек» и импровизации несравненного Джамбула, сам он дал своим занятием, а заодно и эпохе, приговор столь же точный, сколь жестокий.

Шах с бараньей мордой — на троне,
Самарканд — на шахской ладони,
У подножья — лиса в чалме,
С тысячью двестишты в уме.
.....

Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова...

Что греха таить — рядом с этой инвективой были у него и кое-какие «паровозные», то бишь идеологически выдержан-

ные стихи — то натужное подражание революционным романтикам, то просьбы к красноармейцам из Первой Конной чему-то «научить» — кажется, добывать за кордоном панну-лебедь, то мелькал вдруг в стихах несусветный «девятнадцатого года очистительный озон»... Справедливости ради — очень сильные стихи он писал о войне.

На черной трубе погорелого дома
Орел отдыхает в безлюдной степи.
Так вот что мне с детства так горько знакомо —
Видение цезарианского Рима,
Горбатый орел, и ни дома, ни дыма...
А ты, мое сердце, и это стерпи.

Так или иначе, даже стихи на разрешенные темы не заслужили, да и не могли заслужить ему доверия власть предержащих, а значит — и доступа к печати. До пятидесяти лет писал поэт без читателя, да еще в такие годы, когда, по Пастернаку, «и воздух пахнет смертью...»

Потом книги мало-помалу стали издаваться, деление на них сохранено и в недавно вышедшем объемистом сборнике. Видно, что начинал Тарковский спокойно и просто, как искушенный и талантливый лирик:

Что ты бредишь, глазной хрусталик,
Хоть бы сам себя поберег.
Не качается лодка-ялик,
Не взлетает птица-нырок...

Астроном-любитель, в 1940 году он подарил нам одно из лучших любовных стихотворений в русской поэзии, «Звездный каталог».

.....

А-13-40-25,
Я не знаю, где тебя искать.
Запоем мембрана телефона,
Отвечает Альфа Ориона —
Я в дороге, я теперь звезда,
Я тебя забыла навсегда.

Я звезда — денницына сестрица,
Я тебе не захочу присниться,
До тебя мне дела больше нет,
Позвони мне через триста лет.

Но чем дальше, тем гуще врывалась в его стихи культура, овладевало им полубезумное желание уйти, укрыться от жизни в истории, в философии, в торжественном «вязании словес». Я не считаю, конечно, что культура сама по себе — слово ругательное. Беда только, если она занимает в стихах место живой жизни. Эта последняя — вещь удивительно сговорчивая, она уходит из творчества легко, уступая едва ли не чему угодно. Где Пушкин однажды с горечью обмолвился — «ты царь — живи один...», там Тарковский создал целую легенду о поэте-царе, философе, небожителе. Иной раз кажется, что это понадобилось ему просто для того, чтобы выжить в том мире, где его права на существование как поэта не признавали, где стихи — с точки зрения окружающих — не давали их автору права на бессмертие. Его нужно было доказать прежде всего — самому себе. И Тарковский писал:

Я призван к жизни кровью всех рождений
И всех смертей, я жил во времена,
Когда народа безымянный гений
Живую плоть предметов и явлений
Одушевлял, даруя имена...

Оптимистически-атеистического философствования у Тарковского так много, что нетрудно вообще ошибиться, определяя основные направления его творчества. То он просит: «О, явь и речь, зрачки расширьте мне, И причастите вашей царской мощи», то вдруг признается: «В слове правда мне виделась правда сама», то вдруг делится с читателем обнадеживающими откровениями:

Предчувствиям не верю, и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет.

Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят...

Когда-то я охотно верил этому Тарковскому. Потом перестал. Потому что странным образом рука об руку с ним шел, в тех же книгах, автор совсем других, куда более человеческих стихов, где и «высокое» было куда как уместно.

И страшно умереть, и жаль оставить
Всю шушеру пленительную эту,
Всю чепуху, столь милую поэту,
Которую не удалось прославить.
Я так любил прийти домой к рассвету,
И в полчаса все вещи переставить...

.....
Расставлено все в доме по-другому,
Июнь пришел, я не томлюсь по дому,
В котором жизнь меня терпенью учит,
И кровь моя мутится в день рожденья,
И тайная меня тревога мучит —
Что сделал я с высокою судьбою,
О Боже мой, что сделал я с собою!

Будущие литературоведы, вероятно, сумеют разобраться в этой раздвоенности Тарковского, определят и взаимное влияние «домашнего сверчка», который над печной золой поет свою заповедную песню, и обладателя «посоха Исайи», по каменной книге изучающего вневременный язык. Моя задача куда скромнее. Отмечу только, что я согласен с Тарковским, когда он пишет:

Слово — только оболочка,
Пленка жребиев людских,
На тебя любая строчка
Точит нож в стихах твоих.

Не затем ли взобрался Тарковский на головокружительную высоту своей поэзии, чтобы отгородиться от своей судьбы, не поэтому ли далеко не всякая строчка в его стихах «точит нож» на своего создателя?

И все же я люблю Тарковского, беглеца от своего времени и от своей судьбы — пускай он нередко и стоит у зеркала, примеряя бутафорскую корону. Я люблю Тарковского, потому что он всегда остается мастером, но это не главное — главное в том, что через весь этот маскарад пробивается другое, в прорези древнегреческой трагедийной маски смотрит живая и страдающая душа пожилого человека с внешностью школьного учителя, хромающего на своем протезе, душа человека, проводившего в последний путь всех своих учителей. Человек, который прожил страшную жизнь — и остался поэтом.

Не для того ли мне поздняя зрелость,
Чтобы, за сердце схватившись, оплакать
Каждого слова сентябрьскую спелость,
Яблока тяжесть, шиповника мягкость,

Над лесосекой тянувшийся порох,
Сухость брусничной поляны — и ради
Правды — вернуться к стихам, от которых
Только помарки остались в тетради.

Все, что собрали, — сложили в корзины,
И на мосту прогремела телега.
Дай мне еще наклониться с вершины,
Дай удержаться до первого снега.

Алексей Татаринов

УМНЫЕ ЗАПИСКИ МУЗЫКАНТА

Литературных свидетельств от крупных представителей советского музыкального мира существует не так уж много. Два главных, о которых следует упомянуть: по-русски — интересная книга Михаила Гольдштейна «Записки музыканта» («Посев», 1970), а на западных языках — нашумевшие

Дмитрий Паперно. Записки московского пианиста. Анн Арбор, «Эрмитаж», 1983.

«Мемуары» Шостаковича, опубликованные Соломоном Волковым. Теперь же заслуживают стать центром внимания воспоминания Дмитрия Паперно «Записки московского пианиста». Предисловие к ним написал давно уже находящийся на Западе прославленный пианист Владимир Ашкенази, отмечая, что хоть ему и помнится многое из того, что описывает автор, но, прочитав книгу, он увидел множество вещей в совершенно новом свете.

Несколько биографических сведений об авторе. Дмитрий Паперно родился в Киеве в 1929 г. Годы его учебы совпали с тяжелейшим периодом в истории СССР: войной и последовавшей вскоре за ней «антиформалистической кампанией». Учился Паперно сначала в Пензе, куда был эвакуирован, а затем в Москве у выдающегося педагога, воспитавшего целую плеяду пианистов, Александра Борисовича Гольденвейзера. В 1955 г. был премирован на Шопеновском конкурсе в Варшаве. С 1967 по 1973 г. преподавал в Гнесинском Институте в Москве. Поступив туда еще при жизни его основательницы Елены Фабиановны Гнесиной, он шесть лет спустя был выжит оттуда новым директором Института, известным хоровым дирижером Владимиром Мининым, что окончательно укрепило в нем намерение эмигрировать. В 1976 г. он покинул СССР и, прожив полгода в Италии, обосновался затем в США, где в настоящее время состоит преподавателем в университете Де Поль в Чикаго. И вот — в 1983 г. — появилась в свет книга его воспоминаний, которую надлежит прочитать всякому, кто интересуется историей музыкально-исполнительного искусства в СССР, судьбами и личностями его представителей.

В «Записках» Паперно излагается в хронологическом порядке вся его жизнь и пережитые им события, как личные, так и исторические. Первое большое достоинство книги — ее объективность и профессионализм. Замечательно — и редко — то, что автор никогда не делает себя центром своих воспоминаний и полностью лишен столь характерной для артистов невыносимой самовлюбленности. Его цель — дать предельно точные и содержательные свидетельства о знакомых ему людях и происшествиях; о себе же он говорит просто и сдержанно, неизменно включая свой собственный опыт в художественный и социальный контекст советского музыкального мира. Ценность его книги в первую очередь

музыковедческая. С поразительной точностью в датах и фактах в ней проходит множество лиц — пианистов, скрипачей, дирижеров, в меньшей степени — композиторов и музыковедов. Крупные, мировые имена: Гилельс, Рихтер, Берман, Софроницкий, Ойстрах, Ростропович, Кондрашин, Рождественский; наряду с ними немало других, менее масштабных, о которых автор все же упоминает хотя бы из чувства профессионального долга и для исторической полноты своего очерка. Не забыты также и великие предшественники, в свое время возглавлявшие Московскую Консерваторию: Танеев, Сафонов.

Но среди всех гениальных, незаурядных, а иногда и «нерукопожатных» лиц, выделяется одно, которое автор справедливо ставит во главу угла своих воспоминаний и о котором говорит с сыновней любовью и благоговением. Как в «Мемуарах» Шостаковича возвышается, освещая окружающий ее мрак человеческой низости, благородная фигура Глазунова, так же в «Записках» Паперно встает достойный, несколько суровый облик его старого учителя Гольденвейзера. Один из последних русских музыкантов-интеллигентов, близкий друг Толстого, человек редкостной силы духа, пользовавшийся огромным моральным авторитетом (Паперно сравнит его с толстовским князем Болконским), он на всю жизнь оставил в своих учениках благотворный отпечаток своей личности, не только музыкальной, но и нравственной. С гордостью рассказывает Паперно, как поступил однажды Гольденвейзер, когда на партсобрании один чиновник пытался «утопить» пожилую преподавательницу фортепиано Неменову-Лунц, упрекая ее в том, что на ее кафедре слышится слишком много иностранной музыки в ущерб русской и советской. Гольденвейзер не побоялся тогда публично срезать его, сказав: «Вместо ожидаемой большевистской критики мы в течение пятнадцати минут слушали низкую сплетню».

Пользуюсь этим, чтоб остановиться на другом важном качестве «Записок» Паперно — качестве уже не музыкального, а просто человеческого порядка: его доброжелательности и незлобivosti. Эта добродетель слишком редко встречается у людей, переживших тяжелые испытания и получивших подлые и болезненные удары со стороны своих коллег по искусству. И все же нигде в книге не чувствуется

того желания язвительной мести, которое неприятно, иногда просто патологически выделялось в волковских «Мемуарах» Шостаковича, несмотря на всю правдивость сказанного в них. Напротив, Паперно стремится большей частью говорить о людях положительных, подробно рассказывая о них и описывая их с дружелюбной теплотой и сочувствием. В отношении же отталкивающих лиц, даже тех, от кого ему приходилось страдать, он обходится без лишних эпитетов и бранных слов, ограничиваясь скупыми фразами, которым это самообладание придает тем большую силу. В отдельных случаях даже его отзывы о некоторых известных музыкантах кажутся мне чрезмерно доброжелательными. Кое о ком из них — не буду называть имен — мне доводилось слышать иное...

Встречаются в книге некоторые спорные мнения (с точки зрения чисто музыкальной), имеются в ней и пробелы. Так, например, можно удивиться, что, говоря об антиформалистической кампании 1948 г., автор ни разу не упомянул о зловещей роли Тихона Хренникова, о котором он, впрочем, вообще не распространяется и лишь мимоходом упоминает его среди других учеников Шебалина. Хотя и впрямь, может быть, так оно и лучше? Сравнительно мало места уделяется Рихтеру, рядом с несколькими другими менее крупными пианистами, причем в соперничестве между двумя гигантами советского фортепианного искусства, Рихтером и Гилельсом, Паперно явно отдает предпочтение второму, с чем можно не соглашаться. Но в то же время он справедливо указывает на художественные заслуги Гилельса, в частности, на его роль в реабилитации творчества Метнера, который долгое время находился в опале. Зато жаль, что Паперно почти ничего не говорит о своем коллеге, одном из талантливейших учеников Гольденвейзера, Дмитрие Башкирове, лауреате парижского конкурса имени Маргариты Лонг и профессоре Московской Консерватории.

Для читателя-профессионала многие страницы «Записок» содержат интереснейшие данные о психологических проблемах, связанных с музыкальным исполнением. С особым интересом читаются рассуждения автора о проблеме волнения, этого неизбежного и каверзного спутника всякого артиста. Паперно развивает на основании множества примеров, взятых как из собственного, так и из постороннего

опыта, определение проф. Г. М. Когана, по которому существует два вида волнения: волнение «в образе», которое вдохновляет артиста, и волнение «вне образа», которое сковывает его возможности и превращается в панику, причем оно может возникнуть и у артистов, обычно ему не подверженных.

Особенно сильно написана глава о шопеновском конкурсе и о передрягах, которые автору пришлось тогда пережить. Сначала исключенный из состава посылаемых в Варшаву кандидатов решением жюри, в котором не участвовал ни один профессиональный музыкант, он, в конце концов, все же был принят, так как решение было признано «ошибочным», — случай, характерный для советского искусства. С волнением читаются страницы, написанные с подлинным литературным талантом, об атмосфере самого конкурса и его участниках, о психологическом состоянии кандидатов в ожидании оглашения результатов каждого тура и, наконец, присуждения премий.

Подлинный музыкант, а тем более педагог, узнается не только по техническому владению своим инструментом, но и по способности толковать музыку, находя точные и вдохновляющие словесные образы. Думаю, что даже читатель, лишь отдаленно причастный к музыкальному искусству, не обойдет вниманием следующие строки, где Паперно, говоря о Софроницком, перечисляет композиторов, входящих в его репертуар, и объясняет, что именно выявлял в них пианист: «Величие и мудрость позднего Бетховена, доброта Шуберта, романтическая порывистость Шумана, благородная театральность Листа, страдания и эпическая мощь Шопена, напористость и лиричность Прокофьева, русская бескрайность Бородина, Чайковского, Рахманинова, Метнера». Искусство простых, но исчерпывающих и глубоко прочувствованных характеристик — пример для многих музыкальных критиков.

Профессионализм, беспристрастность, незлобивость, обилие сведений, ясность изложения... Пожалуй, все это можно было бы соединить в одном слове, которое почему-то не так уж часто приходит в голову, когда пишешь отзыв о книге: «Записки» Паперно написаны — умно. Умно, потому что автор убедительно, здраво, и правдиво говорит о том что он хорошо знает, чему он посвятил всю жизнь. Умно

еще и потому, что он никогда не впадает в легкий соблазн идеологического теоретизирования и сомнительных пророчеств, столь характерных для травмированных людей. Раздался новый, совсем особенный голос в многословном хоре советских беженцев (хотя следует отметить, что к беженской общественности Паперно себя не причисляет). И даже если этот голос не имеет обличительной силы некоторых других, его точность и правильная постановка заслуживают, чтобы к нему прислушались.

Андрей Лишке

«ЗА ЦЕЛЕБНЫМ ЯДОМ СЛОВА»...

...Русская поэзия прошлого столетия небогата женскими голосами. Бунина, Ростопчина, Павлова, Лохвицкая придают, конечно, общей ткани нашей поэзии нежный и приятный оттенок, но все же лирика их носит скорей «альбомный» характер, не поднимаясь к вершинам. «Светская» (т. е. та, которая имела доступ к литературе) женщина была отлично образована и личностно значительна, но, очевидно, не обладала (чисто психологически) тем ощущением общей независимости, которое необходимо полноценному творчеству. Только высокая волна «Серебряного века» породила поэтов недосыгаемо «большого стиля»: Ахматову и Цветаеву. С тех пор «женская» поэзия перестала быть чем-то второстепенным: она полноправна — как в сознании читателя, так и на самом деле.

Инна Лиснянская — поэт, выпустивший в СССР несколько лирических книг. Своеобычность и «нежный голос» остро выделяли ее поэзию на фоне имитационного потока советской «лирики», но 60-е годы жили другим: блефовой остротой, подделочной новизной... И широкой читательской массе лирика Лиснянской была тогда «не по плечу». В конце 70-х (в связи с участием в альманахе «Метрополь») Лиснянская выходит из Союза писателей — жест точный, законо-

Инна Лиснянская. Дожди и зеркала. Париж, ИМКА-Пресс, 1983 г.

мерный: внутренняя созревшая мощь ее «воспитанной в тиши» лирики сама потребовала этого «акта».

И вот перед нами новая книга москвички Инны Лиснянской «Дожди и зеркала», вышедшая уже здесь — без оглядки на цензуру и проходимость. Она охватывает большой временный срок — пятидесятилетие: первые из включенных в книгу стихов написаны еще в шестидесятые годы, завершающая ее поэма «Постскрипtum» датирована 1982 годом. Лирическая книга та к о й временной протяженности всегда «автобиографична», всегда имеет не один, а много «сюжетов» — и чисто «повествовательных», и связанных с развитием поэтического стиля и образа. Лирическая «автобиография» — как правило, своеобразное «вечное возвращение»: к детству (у Лиснянской — это Каспий, Баку), к нескольким поразившим и пронзившим жизнь событиям (любовь, болезнь). Другим же своим вектором лирика обращена в будущее, идет как бы прикидка: что там? — чужбина? лагерь?

Напрасно выбили
Из рук моих вино!
Я сладость гибели
Предчувствую давно.
Но не цыганская
Влечет меня гульба,
А каторжанская
Мерещится тропа.

Лирическое повествование перетекает в видение:

Средь снега вешнего
На третью на зарю
Я обрусевшего
Христа на ней узрю.

(...)

Власы распустятся,
Прильнут к Его ступне, —
Ужель отпустится
Мое бесовство мне,

И с успокоенным
Я упаду лицом,
Когда конвойные
Прошьют меня свинцом?!...

Читаешь эти стихи 1972 года и не веришь себе: да ведь, в сущности, Лиснянская принадлежит к поколению так наз. «оттепели», к поколению поэтов, не получивших ни духовной закваски, ни настоящей поэтической «школы» и в спешке успеха скомкавших свои дарования. Но вот стихотворение, которое войдет в антологии, где мощь и ясность носят абсолютный характер. Одно «бесовство» тут чего стоит — ему бы позавидовала и Марина Цветаева...

Удивительно в лирике Лиснянской это несравненное сочетание хрупкости, даже боязливости «лирической героини», забывающей в такси перчатки, близоруко топчущейся на переделькинской опушке — и вдруг:

Но твари тертые, мы знаем что почем.

Нет другого примера творчества, где бы столь причудливо беззащитность переплеталась с энергией.

Инна Лиснянская — мастер детали и колорита. В сочетании с ними — торжественный ритм и слоговая плавность говорят о несомненной важности для нее традиций акмеизма:

Я проситься буду в пекло адово,
Если даже Бог меня простит.
Белый пепел на малине матовой,
А торфяник розовым покрыт.

Это стихотворение 1981 года «Пожар на болоте» переносит нас в зной лета 1972-го, когда горел торф под Москвой в Шатуре. (Это стихийное бедствие почему-то на протяжении ряда лет являлось мощным творческим стимулом для множества авторов — от самиздатских до... Ю. Трифонова.) Изысканная палитра: белое, матовое, розовое, малиновое — в сочетании с вообще не употреблявшимся в поэзии словом «торфяник» создают странный эффект «красоты-тревоги». Стихотворение движется по «поступательной»:

В душном времени, в болотном пламени
Имя Господа мы долго жгли.

Эта торжественность стиля заставляет вспомнить ахматовскую лирику начала 20-х: так диктует сама тема — о российских бедствиях, выжигающих и жизни и души, говорить можно лишь т а к и м тоном:

И отступница, и погорелица, —
Каюсь на пространстве торфяном,
Низкий голос по России стелется,
Словно дым, который был огнем.

У пишущих лирические шедевры женщин есть немалое преимущество перед их собратьями по перу: им дозволен «плач», причитание. Это теперь как нельзя кстати: что же еще делать русской поэзии — над Россией? Сколько «горьких обновушек» (Ахматова) шито ими в нашем столетии! И гражданская лирика Лиснянской, естественно, продолжает эту традицию.

...Ее стихи обладают тем «коварным» свойством, что, начав их раз читать, цитировать, трудно остановиться. Потому что чем пристальнее в них вглядываешься, тем больше открываешь оттенков и тонкостей, незаметных при поверхностном чтении. Иногда убаюкивает традиционность размера, и необходимо силовое усилие для того, чтобы проникнуть в ядро самой, казалось бы, «обычной» лирической пьесы, строфы, строки, чья «ересь неслыханной простоты» сложнее любого авангардистского трюка.

В овраг мы спустились, как будто в провал,
Снегами почти голубыми,
Ты палкой ореховой крупно писал
Вдоль снежной тропы мое имя.

Вот волшебство применения эпитета, его тайна: казалось бы, просто «констатация факта» — «ореховая», но сколько смысловых нюансов, но как держится вся строфа на этой сверхточности, которая уникально усугубляется дальше:

И был набалдашник — головка змеи
И полураскрытое жало.
Я в замшевых варежках пальцы свои
От смутного страха сжимала.

Это уже целая «психологическая повесть»: о н — весь напор, уверенность, твердость, и о н а — в смутном страхе новой судьбы... А два раза данный в трехстрочном стихотворении «почти голубой» создает ослепительно зимний спектр всей картины.

Эта неподобная передача «земного психологизма», отточенного подчас в предельную «афористичность»:

Кто прощен, тот забыт,
Непрощенный вовек не разлюблен, —
И душой не избыт,
И забвением не приголублен

— оттеняет твердую метафизику таких, скажем, стихотворений, как «Крыло» (триптих 1981 г.), обращенное к Ангелу Хранителю:

Только жаль, что тебе на крыло
Столько красной воды натекло.

И расцветающее розами — в третьем стихотворении — Распятие (чей архетип — процветший библейский посох) свидетельствует о глубоко личном религиозном опыте поэтессы.

Некоторые из вошедших в «Дожди и зеркала» стихотворений Лиснянской уже публиковались в ее подсоветских книгах. Но, очищенные от цензурных урезок и соединенные со стихами новыми и свободными изначально, они составляют в современной русской лирике глубоко цельный и своеобразный поэтический мир.

Ю. Кублановский

СИДЕТЬ, ПОСКРИПЫВАЯ ПЕРЫШКОМ...

Георгий Владимов — не абсурдист и не сюрреалист, его повесть «Не обращайтесь вниманья, маэстро» написана в отчетливо реалистической манере и передает события, которые не только произошли в реальной действительности, но и вообще носят автобиографический характер. Они имели место в Москве, сравнительно недавно, в микрорайоне писательских домов на Аэропортовской, где проживал автор и где за ним в течение определенного времени велась гебистская слежка из окон квартиры соседнего дома.

Но, когда читаешь повесть, надвигается ощущение, что находишься в кафкианском бессмысленном мире, в котором барахтается одинокий и беспомощный человек. Обрисованная здесь в деталях слежка органов за объектом, дело в СССР вполне обычное, дает картину государства тотального Сыска, где таинственный Валера (кличка гебешника-наблюдателя) превращается в преследующий вас всюду призрак. Где он прячется? Откуда следит? Один агент КГБ спрашивает другого: «Кто у нас сегодня Валерой?» И вообще — сколько их, этих Валер, два, три... тысяча?

Образ этого фантома, материализуясь, перевоплощается, как ни странно, в того, кем он, в сущности, является, — в уголовника. Наблюдая за «работой» Валеры и его сообщников, хозяева оккупированной ими квартиры узнают облик, особенности и лексикон («Тебе, падло, по земле не ходить») именно уголовного мира и принимают гебешников за бандитов. Атмосфера сюрреалистическая и одновременно типично советская, что, впрочем, одно и то же, устанавливается в этой квартире при звуках первой же фразы открывающего дверь агента КГБ: «С вашего разрешения мы у вас тут поселимся... В эту комнату не входить». Она, эта фраза, лишена смысла и логики, потому что селиться здесь им никто не разрешал, но разрешение никому и не требуется — ни незванным гостям, ни хозяевам. Так надо.

Знаменитое английское изречение «Мой дом — моя крепость», ставшее символом западного ревностно охраняемого статуса свободы и неприкосновенности личности, в

Георгий Владимов. «Не обращайтесь вниманья, маэстро». Повесть. Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1983.

данном случае звучит как нелепый бред: какая еще крепость? Какая свобода личности? Не только твой дом, но и ты сам, и все тобою творимое принадлежит советскому государству. Повесть «Не обращайтесь вниманья, маэстро» — это сказание о Левиафане-государстве, которое пожрало личность и вообще вычеркнуло это понятие из обихода. Пришельцы взяли квартиру на время, а при желании могли бы и совсем отобрать, они живущих в ней не тронули, а могли швырнуть в лагерь, уничтожить, стереть с лица земли. Был человек — и нет. Какой человек, откуда, как зовут? Никто не знает.

Весь конфликт повести, гебистская слежка за непокорным писателем, завязался, собственно, потому, что один из бессловесных рабов Левиафана взбунтовался и позволил себе стать Личностью. Он захотел иметь собственное мнение, свободно излагать свои мысли и вообще — «просто поскрипывать перышком». А просто поскрипывать перышком ему-то как раз и не разрешили. Как это так? А может, это самое опасное и есть: сидит человек и что-то скребет перышком, а власти не знают — *что*. Немыслимо для тоталитарного идеологического государства.

В делящейся на протяжении всей повести слежке просматривается один любопытный момент: следят не столько за жизнью и действиями поднадзорного, сколько за процессом создания рукописи, которую он пишет. Неготовая, оборванная по какой-либо причине рукопись не нужна, а требуется законченная, готовая, потому что тогда она представляет большую ценность и может быть за большие деньги продана государством за границу, причем за валюту. Пчела кладет мед, корова дает молоко, а писатель, соответственно, производит рукопись. Для государства принципиальной разницы нет никакой, а гебистская слежка — обычная его работа, направленная на то, чтобы довести до кондиции собственный продукт, а потом просто и естественно его отобрать.

Повесть Владимова о государстве-Левиафане — это, закономерно, и повесть о его рабах. Хозяева оккупированной гебистами квартиры — простые советские люди: инженер, учитель, ставший аспирантом, жена инженера. Они ни плохие, ни хорошие, они, скорее всего, увечные, потому что постоянный страх смял и обезобразил их душу. «Ты

мой сын, — говорит инженер аспиранту, — поэтому ты боишься... — И с покорной, беспомощной горечью добавляет: — Я поздравляю тебя, Александр, ты вырос настоящим советским человеком». И сын знает, почему. Не случайно у него, который никогда не прошел через пытки, в подсознании живет ощущение того, «как бьют ребром ниже уха». Это вошло в кровь. Этим отравлены целые поколения.

Автор не осуждает этих людей, он не требует от них невозможного, он только пытается найти истоки раздвоенности, живущие в их сознании. Почему советский человек, который вечерами, припадая к транзистору, ловит сквозь ревы глушилок голоса западных радиостанций, днем вытаскивает из ящика и рвет письма неугодного властям человека? Он хочет выслужиться? Он мстит? Его одолевает комплекс неполноценности? Почему, встретив преследуемого писателя на улице, этот человек злорадно улыбнется, но, узнав, что писатель этот не выдержал и эмигрировал, прокликает за проявленную слабость? Владимов не отвечает на эти вопросы, он только констатирует факт: «Мы — больная страна, больная неизлечимо». Помещая под одну кровлю «захваченных» и «захватчиков», писатель с удивлением обнаруживает, что принципиальной разницы между ними нет. Они довольно мирно ужились друг с другом и обнаружили в уплотнении даже некоторое удобство — «можно, не отрываясь от стола, заварить себе кофе». Мало того. Требуя от жильцов «не рассказывать», «воздержаться от общения» и «понять то, что вам доверено», гебешники делают их своими сообщниками, соучастниками преступления, теми, кто оцеплен единой круговой порукой. Пакостят все — и спрашивать не с кого. По этому поводу очень верно сказала Надежда Мандельштам: «Каково общество, таково и начальство». Это две стороны одной и той же медали. Создается некое единение во зле. В полном соответствии с высказыванием современного немецкого философа Макса Шеллера: «...Малые дети и рабские натуры оправдывают себя обычно словами «Все так делают» и присваивают себе таким образом право превращать зло в добро». Глубокая формулировка, в которой сжато отразился целый комплекс проблем. Тема круговой поруки, единения во зле переходит в эту повесть из «Верного Руслана», где развращенные близостью лагеря и сломленные страхом поселенцы выда-

ют властям любого бежавшего из лагеря зэка. Жалость и сострадание — высокие христианские чувства, которые формировали Личность и народ, смяты пропагандой и угрозами, и тогда совесть отступает перед утешающим: «Все так делают».

«Не обращайтесь вниманья, маэстро» — слова из популярной песенки Булата Окуджавы. Песни любимого барда поют и простые граждане, и диссиденты, и гебисты. В повести этот рефрен смакует гебист Коля в перерывах между подслеживаньями за писателем. «Моцарт, который отечество не выбирает», этот играющий всю ночь напролет маэстро, притягивает романтической изысканностью, высотами души, до которых не добраться простому смертному, а обращение к нему поэта многозначно, и каждый волен вносить в него нужный смысл.

Смысл авторский заключается, видимо, в том, что Маэстро для него — это Мастер, тот самый, из «Мастера и Маргариты» Булгакова, которого, как автора этой повести, всего полвека назад преследовали и мучили в той же самой стране, где была та же самая власть и та же самая Идеология. Этот Молох пожирает и творцов, и их творения, однако он бессилен перед неизбежным: рукописи не горят. Вот почему Мастер, Маэстро не должен обращать внимания на пляску ведьм, беснующихся вокруг него. Он неуклонно и настойчиво должен делать на земле свое дело — «поскрипывать перышком».

Майя Муравник

ПРАВДА О БЕДЕ

«Такая беда. Беда беспросветная, беда окончательно прилипшая, беда, из которой выхода нет совсем» — таков вывод в одной из «Кратких повестей» Льва Консона. Писатель назвал свою книгу — «Краткие повести». Заметьте, «краткие» — не короткие. Ведь краткость — это нечто, на мой взгляд, скрученное пружиной, упругое. Пружину можно

Лев Консон. Краткие повести. Париж, «Пресс Либр», 1983.

упрятать в горсти, но попробуй растяни — раскинутых рук не хватит, чтобы длину уместить. В среднем, объем повестей Льва Консона — от трех строк до трех страниц.

Благополучная развязка в сказке обычно приводит к фразе: «Они жили долго и умерли в один день». Пожалуй, лучше и не скажешь. О счастье вообще не стоит говорить многословно. О Большой беде лучше кричать паузами. И в повестях-крохотках Льва Консона возникает молчание там, где от лишнего слова может надорваться сердце.

Ширину в этих повестях заменила глубина. Они похожи на стремительно уходящий в глубь темной шахты подъемник, на темный колодец, налитый тяжелой солонью слез.

...Бушуют океанские валы «Архипелага». Бьет кровавый прибой. Вздывает усеянную шипами рогатую морду ядовитое чудище — великая и всеядная Пятьдесят восьмая, бьет змеиным хвостом, и с шипеньем — «ПШ», «ППШ» — набивает ненасытный зоб академиками и солдатами, колхозниками и лингвистами, работягами, дипломатами, злодеями, праведниками...

Не брезгует и своими. «Только в кино да в литературе можно встретить такого красавца...» — начинается первая из «Кратких повестей». «Блатные уважали, да и начальство считалось с ним». Следовательно, ставший зеком, любит поговорить о Москве, о театре, о литературе. Его узнает «подопечный» из встречного этапа, он понимает, что — обречен. «Я никогда не видел лица белее этого, я никогда не знал, что лицо может быть белым таким».

Форма у Льва Консона пригнана к содержанию плотно; они соединены, как соединены венцы бревенчатого сруба. Здесь уж ни прибавишь, ни убавишь ни одной детали. Но в этой как бы протокольной сдержанности нет и намек на сухость документа. Просто это — беда. Просто это горе и тоска, скрученные пружиной воли:

«Когда нас гоняли копать картошку, то мы скребли ее стеклом и ели сырую. Очистки в землю зарывали, а то били очень».

Автор — старый лагерник. Главные свои годы провел в Зоне. Зона гноит. Зона доводит до состояния скота. «Умри ты сегодня, а я завтра».

Но подчас Зона воспитывает в человеке человека. Льва Консона Зона сделала писателем, да не просто, а со своим

особым творческим методом. Это только кажется, что его повести написаны одним росчерком пера; впрочем, так и положено: усилия мастера не должен видеть читатель. Каждый эпизод — плод ювелирной кропотливой отделки, незаметной, как воздух. К каждому из невыдуманных сюжетов автор сперва долго примеривается, как бы долго ходит вокруг да около, то приступит, то отступит — чтобы был безошибочным первый удар. «Мне давно хотелось рассказать этот эпизод, да трудно он у меня получается», — говорит он в начале «повести» о Виталии Веслополове, правдоискателе, задумавшем побег, чтобы, добравшись до города, в праздник, на главной площади, рассказать людям правду... Все тут есть: и завязка, и кульминация, и развязка — «Весной его тело долго лежало у вахты». И эпилог: «В городе было спокойно». Тут же уместилось и описание строительства железной дороги, с устрашающей деталью — вырытым за зоной большим котлованом; и характер героя: «...молчать он умел как-то особо выразительно. Все нам казалось, что за этим молчанием скрывается то заветное, до чего сами мы додуматься не могли». И все это — на полутора страницах. Да ведь из этого материала вышел бы, возможно, полнометражный киносценарий!

Страшные это, шемящие душу вещи. Адские факты. Факты? Описывать факты — удел летописца. Однако, невзирая на взрывную правду, «Архипелаг ГУЛag» и «Колымские рассказы» стали нерукотворным памятником Зоне оттого, что писали их не летописцы, а страстотерпцы, одаренные свыше. «Архипелаг ГУЛag» — не прозаическое произведение, но — поэма; поэма и каждый из рассказов Шаламова.

Спасенными в ГУЛаге оказывались те, у кого страх был изгнан из сознания духовностью. Негодование распрямляло душу, расплюснутую молотом.

В душе автора «Кратких повестей» страдания разожгли огонь милосердия, а милосердие — огонь творчества.

Галансков в свое время писал, что зло, злодейство даже — на самом деле, одно из нижних делений на шкале добра... Лев Консон страдает даже самым озверевшим, ибо и в их душах теплится, порой еле слышно, Божья лампада... Но порою он и беспощаден.

«Страдали все», — говорит Лев Консон. Но страдание, если оно не добровольное, калечит, уродует. Профессор Вагнер поставлен на нетрудную работу — при выгребной яме. Он согласен юродствовать перед начальством, корчить из себя шута — только бы не оторвали от спасительного нужника!

Рыбонька-блатнячка убивает хахалю. «Рыбонька топором отрубила ему голову. Взяла ее за ухо (волос-то не было!) и принесла конвоирам...» Деталь-то какая! «Взяла за ухо (волос-то не было!)»...

И какое воистину античное благородство тут же! Заключенный получил десять лет и просит в письме жену не ждать, забыть. А она отвечает, что любит, что будет ждать. «Я должен был вот так написать, а она должна была вот так ответить», — вот так он сказал!

Из лагеря, как и с войны, не возвращаются. Лев Консон изредка, в сомнениях по поводу своего умения писателя, возвращается к этому. А вдруг только лагерь подвластен его перу?! Но «Краткие повести» — не оглядка назад. Лев Консон эмигрировал, но и сейчас, в Израиле, он все так же пристально вглядывается, сострадая, рассказывает о малых и тяжких судьбах: «Какая беда. Как судьба нас корежит. Покая нет опять...» На воле талант писателя не изменил ему. Но его отношение к жизни, к людям — все то же. Он был и остается зеком — человеком особой породы, больным чужой болью. Однако и радость, пусть мгновенная, для него не чужая. Каждый ее всплеск — всеобщий пир!

«Краткие повести» Льва Консона написаны по золотому правилу: чтоб словам было тесно, а мыслям просторно. Их сила — в психологической нюансировке, экспрессии, которая возникает из спрессованности рассказа; каждый из них — словно крошечная планетка, сжатая из сверхтяжелых атомов.

И это высшее напряжение достигается точностью образа, краткостью детали, динамичной, необходимой концовкой-выводом:

«Девчонка светилась радостью. Она о чем-то взволнованно говорила подружке. (...) Я услышал, как она сказала: — Нет, ты представляешь? Он посмотрел на меня и сказал «здравствуйте», а я в ответ ему: «драсьте», — и она счастливо засмеялась.

Завидуйте, вожди, завидуйте, философы, завидуйте, пророки и боги! Вам не удалось бы сделать смех девчонки более счастливым, чем это сделал тот, кто сказал ей 'здравствуйте'».

Книга Льва Консона — небольшая. Но если бы когда-нибудь в списке учебников первейшей важности для человека оказались учебники мужества, я бы не удивился, прочтя на одном из них имя: Лев Консон.

Кира Сапгир

ТЕРАПИЯ НИГИЛИСТИЧЕСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ (Мысли при чтении книги Вольфганга Крауса «Нигилизм сегодня, или терпение мировой истории».)

Павел Кирсанов, оппонент нигилиста Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети», возмущаясь тем, что Базаров хвастает своей и своих сторонников силой, достаточной-де для уничтожения всех существующих ценностей, раздраженно напоминает: «...вас всего четыре человека с половиною, а тех миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священные верования, которые раздавят вас!»

История XX века показала, что это заявление Павла Кирсанова было достаточно легкомысленным. Ответ Базарова: «Нас не так мало, как вы полагаете!» — оказался более близким к реальностям европейской жизни. На скептический вопрос Павла Кирсанова: «Как? Вы не шутя думаете сладить с целым народом?» — события XX века дали устрашающе положительный ответ: вроде бы незначительные группки отрицателей, разрушителей огненным смерчем пронесли по Европе, сжигая людей в газовых камерах, истребляя миллионы им сопротивляющихся, их не приемлющих людей как в центре Европы, так и на ее востоке, где роль газовых камер сыграл необъятный архипелаг ГУЛлаг. Уничтожались целые народы, целые сословия, а попутно — все верования, которые, казалось бы, к началу сверхцивилизованного XX века прошли надежную апробацию на вершинах человеческого разума. И не приближается ли сегодня человек к последнему акту, который давно репетирует Ве-

Wolfgang Kraus. Nihilismus heute oder Die Geduld der Weltgeschichte. Paul Zsolnay Verlag, Wien-Hamburg, 1983.

ликий Нигилист, — к акту полного и окончательного самоуничтожения?

Зная обо всем этом, нельзя не разделять тревогу немецкого ученого Вольфганга Крауса, тревогу, которой пронизана вся его книга «Нигилизм сегодня, или терпение мировой истории».

У многих как в России, так и на Западе слово «нигилизм» вызывает ассоциацию лишь с уважаемым, но давным-давно написанным романом Тургенева. В действительности же, нигилизм — это давнишнее явление новой истории, ставшее гораздо опаснее в XX веке, чем в веке предшествующем, — связан не только с русской, но и общеевропейской ментальностью. То, что раньше казалось исторически и локально ограниченным, раскрывается теперь как патология человеческой природы, которую В. Краус, как и Артур Кестлер, считает «ошибкой эволюции». Нигилизм — эпидемия невротического происхождения, которой заражены массы людей, даже не сознающих всей тяжести своего заболевания. Эпидемии, имеющей тенденцию превратиться в пандемию, содействуют люди здоровые, которые слишком снисходительно относятся к симптомам нигилизма. В России они лишь пожимали плечами, слыша угрозы большевиков сокрушить русскую государственность, национальные верования, признанные моральные категории; в Германии мало кто придал значение книжечке «Моя борьба», появившейся в 1925 году на прилавках книжных магазинов Мюнхена. И уж почти никто не видел связи между разрушительными теориями в политике и авангардистскими наскоками на классическую культуру.

Ни слово «нигилизм», ни толкование его не возникли в России 60-х годов. Первое упоминание его мы находим не в «Отцах и детях», а задолго до написания этого романа в письме Фридриха Якоби к Фихте в 1799 году. Якоби уже тогда обратил внимание на тот философский источник, который обнаружился лишь после первого торжества нигилизма — яacobинской революции: «Нигилизм — это следствие безбожия, когда на место Бога ставится человек». За 8 лет до тургеневского романа немецкий писатель Карл Гуцков написал рассказ «Нигилисты», понятно, не на материале русской жизни. Без всякого влияния русского нигилиста Нечаева американский террорист Иоганн Мост в книге

«Наука ведения революционной войны» писал: «Фунт динамита ценнее, чем куча избирательных бюллетеней».

По выражению В. Крауса, русский нигилизм стал лишь увертюрой русской большевистской революции, но у него было достаточно предшественников за пределами Российской империи.

В XX веке нигилизм совершил два своих главных прорыва: в России 17-го года и в Германии 30-х годов, но его зловещие пятна видны были на теле европейской культуры достаточно отчетливо на протяжении всей первой четверти века. Европейская публика с самого начала века восторгалась эпатажами авангарда, находя в них новое слово в искусстве и ни в коей мере не предполагая, что все это всерьез. (А ведь еще раньше русский писатель Степняк-Кравчинский, автор романа «Андрей Кожухов, или путь к нигилизму», был знаменит и как убийца шефа полиции Мезенцева.) Французские поэты-экспрессионисты не только писали невнятные стихи — они поддерживали анархистские журналы, подписывали воззвания анархистов-террористов, участвовали в их собраниях. Двенадцатый манифест сюрреализма, написанный Андре Бретоном, совсем уж не скрывает связи этого авангардного течения с разрушительным нигилизмом: «Простейшее действие сюрреализма в том, чтобы с револьверами в обеих руках выйти на улицу и палить как бешеный по прохожим». Нигилистическими лозунгами был напичкан и манифест дадаиста Р. Гаусмана: «Мы не хотим демократии, либерализма... Дадаисты против гуманизма!» Ему вторил дадаист Рибмон: «Больше никаких художников! Никаких литераторов! Никаких композиторов! Никаких скульпторов! Никаких республиканцев! Никаких роялистов! Никаких империалистов! Покончим со всей этой мурой! Вообще — со всем! Ничего! Ничего! Ничего!»

Вольфганг Краус говорит о трех видах нигилизма, проявлявшихся в разных странах: Россия дала образцы социально-политического нигилизма, Германия — философского, Франция — эстетического. Однако, когда русские футуристы призывали сбросить с парохода современности Пушкина, Толстого и Достоевского, они выступали как представители всех трех видов нигилизма, ибо ясно же, что столь ненавистные им писатели были символами не только лишь определенных эстетических ценностей.

Заслуга В. Крауса состоит в том, что он не только описал проявление нигилизма, но и определил суть его и его истоки.

Нигилизм — это не просто отрицание, это отрицание апробированных ценностей без способности и даже без желания предложить иные — позитивные — ценности. В нигилизме нет того творческого начала, которое имплицитно содержится в конструктивной критике. Эмоциональное выражение нигилизма — гнев, ненависть, иногда равнодушие. Нигилизм может быть экстравертным, более опасным для окружающих, и интравертным — более опасным для самого нигилиста.

В. Краус находит, что губернатор фон Лембке в «Бесах» Достоевского достаточно лаконично определил, что такое нигилизм: «Всё поджог! Это нигилизм! Если что пылает, то это нигилизм!»

Может быть, в нигилизме находит свое единственно точное подтверждение столь широко трактуемый Фрейдом «эдипов комплекс». Во всяком случае, герой Франца Верфеля («Винченцо не убийца, а убитый») так формулирует кодекс нигилизма: «Мы боремся против мирового порядка, созданного отцами: против религии, утверждающей власть Бога-отца, против государства с его отцом-королем или президентом, против суда, где роль отца играет судья, против армии, ибо офицер там командует как отец. Мы должны бороться с авторитетом оружием крови и ужаса!»

Дикая вражда ко всему, стремление к уничтожению без всякой способности к позитивному строительству коренится в психике больного человека, истерически реагирующего на разочаровывающие явления социальной жизни. Нигилизм нашего времени — это следствие универсального разочарования. Слишком много наобещали социальные реформаторы типа Кондорсе, Сен-Симона, Прудона, Маркса, слишком убедительными были провалы всех их пророчеств: достижения технического прогресса привели к созданию самого разрушительного оружия, идея вечного мира никак не подтвердилась двумя мировыми войнами, «рай для трудящихся» оказался просто удобным местом жительства для номенклатуры, в освободившихся от ига белых колониях жизнь стала еще кошмарнее, чем в колониальные времена. Полностью иллюзорной оказалась вера во всеисилие человечес-

кого разума. Нигилизм стал своего рода расплатой за ликующий энтузиазм и политический мессианизм прошлых поколений. Эскалация его сегодня доказывает, что прощание с мечтой о рае на земле проходит не очень гладко, что мечта эта действует все еще. парализующе на психически слабых людей; видя несовершенство мира, они, зараженные утопическими мечтаниями, начинают этот мир ненавидеть.

Масло в огонь подливает истаблишмент, чей образ жизни, по наблюдению В. Крауса, является нигилизмом наоборот, нигилизмом скрытым. Этаблированные общественные слои, не веря ни в какие сверхличностные ценности, отстаивают их в ритуалах и на словах. В. Краус обнаруживает своего рода пары: лицемерной проповеди высоких идеалов соответствует откровенное отрицание этих идеалов. Так, нигилизм чиновников, с их стремлением к карьере и личному обогащению, прикрытым красивыми словами об общем благе, вызывает как ответную реакцию индивидуалистический нигилизм: он отрицает общественную деятельность, зовет к разрушению государственного механизма, полагая, что можно обойтись без аппарата, а коммуникации и организация общества возникнут как-то сами по себе. Материалистический нигилизм богачей, весь смысл жизни которых — жизненные блага и власть, но которые клянутся идеалами равенства и братства, провоцирует гедонистическую разновидность нигилизма, выступающего против денег, экономического успеха и проповедующего примитивное потребление — еда, секс. Академический нигилизм ученых и этаблированных художников превращает науку и искусство в привилегию посвященных. Ответом является, в частности, эстетический нигилизм авангарда, разрушающий нормальный художественный вкус и ставящий под сомнение вечные ценности в искусстве. Догматический нигилизм, характерный для прежде живых, а ныне застывших в своей мертвенности идеологий, вызывает нигилизм дионисийский, выражающийся, в лучшем случае, в потребительстве, в худшем — в разгуле аморализма: пьянстве, хулиганстве, наркомании.

Клерикальный нигилизм, подменивший религиозное содержание ритуалом и отвлеченной проповедью, вызывает атеистический нигилизм, выходящий за рамки антиклерикализма и становящийся полным отрицанием Бога. Богоборческий нигилизм выражался еще у Байрона и Шелли, у моло-

дого Лермонтова, но достиг своего апогея в возгласе Ф. Ницше «Бог умер» и в вагнеровском «Закате богов». Наиболее уродливое выражение богоборческого нигилизма — в сатанизме, в «чёрных мессах». Маркиз де Сад вытаснен из забвения. Его ненависть к добродетелям и поэтизация порока становятся проявлением хорошего тона в нигилистической культуре.

Нигилистические пары ведут друг с другом жестокую борьбу, но, подчеркивает В. Краус, «как бы они ни отрицали друг друга и с какой бы ненавистью они друг о друге ни говорили, они прочно связаны друг с другом, являются взаимно дополняющими, вместе двигающимися к тому критическому пункту, когда произойдет катастрофа или же все преобразится».

Симптомы нигилизма не так уж трудно разглядеть. Краус перечисляет наиболее явные: скука, бегство в алкоголь или наркотики, циничное отношение к слову («важно лишь выкрутиться из ситуации»), релятивизация понятий («все имеет право на существование»), фальсификация реальности в политической и частной жизни, манипуляции с историей в странах «реального социализма», пессимизм, неверие в возможность движения к лучшему. В особенности пессимизм — следствие человекобожия как философского источника нигилизма: человек, возомнивший себя Богом, вдруг понимает, что не способен созидать, как Бог, и тогда он бросается в дестабилизирующую деятельность, полагая, что здесь может проявить свое могущество (комплекс Кириллова в «Бесах»).

Большое внимание уделяет В. Краус неврозам как психологической основе нигилизма. Он при этом ссылается на исследования Альфреда Адлера, установившего связь между отрицанием жизни у взрослых людей с их избалованностью в детстве. Получая в детстве все, что желает, благодаря усилиям отца и матери и столкнувшись во взрослом состоянии с тем, что мир не так уж благожелателен по отношению к нему, избалованный в детстве человек начинает ненавидеть действительность, воспринимает ее как враждебную ему. Возникает тип, соединяющий в себе крайнюю беспомощность с циничной властностью, тип, совершенно не способный к творчеству, но натренированный на демагогическом оправдании паразитизма. Избалованный человек не зна-

ет чувства личной вины, что приводит почти наверняка к нигилизму. Наиболее популярные нигилистические движения основаны выходцами из эстаблированных слоев. Бакунин был сыном богатых помещиков, из аристократии вышел князь П. Кропоткин. Немецкий писатель Б. Веснер, идеолог сегодняшнего террористического нигилизма, друг красной террористки Гудрун Эслин, был сыном придворного нацистского романиста. В его романе «Путешествие» выражены все симптомы сегодняшнего нигилизма, с его расслабленностью, с одной стороны, и озлоблением — с другой: «Каждый человек должен получать пенсию уже при рождении, — пишет Б. Веснер, — ибо он жертва». А выход для жертвы, пенсию в грудном возрасте не получившей, один: убивать, разрушать, протестовать. (Наркоман Б. Веснер умер в психиатрической больнице.)

В XX веке нигилисты получили шанс доказать свое право на универсальное отрицание. Коричневые нигилисты в Германии и красные в России пришли к власти. И тут-то проявился поразительный парадокс нигилизма: самые экстремные нигилисты создали наиболее жестокую систему позитивных лжеценностей, по-своему подтвердив шигалевскую диалектику. Как Шигалев, «выходя из безграничной свободы, заключал безграничным деспотизмом», так нигилисты XX века «от безграничного отрицания пришли к безграничному утверждению». Нацисты, разрушив ценности немецкого гуманистического сознания, создали культ родины, крови, расы, женщины-роженицы и мужчины-производителя. Коммунисты в России, отвергнув в 1917 году все историческое и духовное прошлое России, создали застывшую систему своих неприкасаемых ценностей.

Искусству тоталитаризма удалась подмена: бездуховный натурализм, имитация духовности воспринимаются некоторыми как реализм. В результате, многие художники и теоретики искусства отшатываются от реализма как от направления в искусстве, будто бы соответствующего лишь тоталитарному мышлению. Правдивость, ясность формы в искусстве, патриотическое отношение художника к своему долгу перед родиной, народность, проповедуемые в тоталитарных теориях искусства, отвергаются с порога, и как нигилистическая антитеза возникают литература и кино, не отличимые от порнографии, эстетизирующие все виды на-

сия, музыка и живопись, изощряющиеся в формалистических выкрутасах. Так что в этом случае возникает сиамский близнец — нераздельное единство лжепозитивности с открытым нигилизмом. Эстетствующие критики, обругивая художников, противостоящих нигилизму, презрительно именуют их традиционалистами, забывая, что переход от разрушения в искусстве к утверждению лжеидеалов не так-то уж труден. Примеры экспрессионистов Ганса Йоста, ставшего официальным драматургом в гитлеровской Германии, и Иоганесса Бехера, превратившегося в министра культуры ГДР, футуриста Маяковского, в молодости заявившего: «Над всем, что сделано, ставлю 'нигиль'», а потом воспевшего паспорт — гарант государственной косности и рабства, — достаточно красноречивы.

Весьма обнадеживающим считает В. Краус феномен неофициальной литературы восточноевропейских стран. Здесь разорвана связь между нигилизмом власти и неизбежной, казалось бы, нигилистической реакцией ее оппонентов. Восточноевропейские оппозиционные писатели создают произведения, не просто отрицающие имитированные ценности официальной культуры, но отстаивающие истинные, позитивные ценности. Это, в большей мере, следствие экономической отсталости стран реального социализма: в них не достигнуто благосостояние Запада, а потому меньше избалованных, душевно усталых людей.

Вольфганг Краус вовсе не считает себя первооткрывателем опасности, исходящей от нигилизма. Его как раз удивляет, что предостережения в прошлом Достоевского («Бесы»), а в наше время Кафки («Процесс») и особенно Ионеско («Носороги») остались без серьезного отклика.

Это не делает книгу В. Крауса безнадежно пессимистической. Он верит, что с пандемией нигилизма можно бороться. Он предлагает некоторые мероприятия, причем осторожно оговаривается, что не знает верного средства лечения. Лучшей прививкой от нигилизма Краус считает укрепление вневременных, абсолютных ценностей, как традиции и этос. Пока человек остается неоднозначным, пока в нем сохраняется противостояние релятивистского и прочно консервативного начал, игра не проиграна. Спектр рекомендаций, предложенных ученым, достаточно широк: от хирургической операции (мероприятия государства против вспы-

шек разрушительного нигилизма) до философского и религиозного воспитания: целительным считает В. Краус чтение Канта, Аристотеля, Гартмана, Макса Шеллера, но, главное, Библии, в особенности Книги Иова и Евангелий. Ведь еще Кьеркегор обращал внимание на большую способность верующего, чем атеиста, противостоять капитуляции перед ужасами действительности: «Верующий владеет вечно надежным противоядием от отчаяния: возможностью, ибо с Богом все возможно во всякий момент».

Отрицание нигилизма не стало у В. Крауса нигилистическим. Он настаивает на том, что пора актуализировать поставленные под сомнение ценности, и, не опасаясь обвинений в схематизме, помещает в своей книге список этих ценностей, распределяя их по трем группам: ценности основные, ценности производные и ценности высшего порядка. Основными Краус считает здоровье, нормальное питание, безопасность, любовь. Краус верит, что читатель сам сделает вывод, какие общественные и государственные системы, лишая людей вот этих, основных ценностей, являются нигилистическими в своей основе. Без уважения к ценностям основным невозможно осуществить ценности производные: образование, наука, искусство, красота, комфорт, многообразие жизни. Ценности же производные могут остаться нереализованными, если человек будет пренебрегать ценностями высшего порядка: помощь ближнему и дальнему сообществу, эстетизация жизни собственной и окружающей среды и — ценность вершинная — религиозное переживание — Бог.

Для В. Крауса не человек — результат истории, а история развивается в соответствии с поведением людей: «Мы это время: каковы мы, таково и время». Человек не должен уподобляться герою «Процесса» Франца Кафки, который сам проявляет готовность подчиниться якобы мистическому ходу событий, в конце которого стоит его собственное полное отрицание — смерть.

Герман Андреев

Под таким названием появилась в конце 1982 года в американском издательстве «Кубик» в Сан-Франциско книга русского автора Виктора Зубова. Книга полемическая, спорная, вызывающая серьезные размышления. Написана она в жанре научного трактата с беллетристическими приложениями к каждой главе. Круг идей автора и их трактовка во многом сближают его с последним романом Александра Зиновьева «Гомо советикус». Как и Зиновьев, Виктор Зубов выбрал для тщательного анализа психо-социальный феномен тоталитарности, устойчивые качества которого проявляются не только в СССР, но и в эмиграции. В отличие от романиста Зиновьева, Зубов значительное место отводит глубинной психологии личности.

Внимание автора в основном сосредоточено на болезненных проявлениях тоталитарной психологии, которая по-разному отражается в различных кружках эмиграции. Основная черта тоталитарного человека — это нетерпимость к другим взглядам, к другому образу жизни, патологическая зафиксированность на своем прежнем, советском образе жизни. В предисловии Виктор Зубов предупреждает, что, конечно, не все эмигранты заражены тоталитаризмом, им в первую очередь и творческим элементам в них адресована книга.

В общем, что говорить, тема острая, может быть, специально заостренная. На мой взгляд, и специально зауженная. Третья эмиграция, хотя она значительно малочисленнее, чем первая и вторая, гораздо шире и разнообразнее, чем пресловутые девять кланов, на которые произвольно ее разбил Виктор Зубов. И даже психологически она различается в зависимости от страны проживания. И, тем не менее, для размышлений Виктора Зубова достаточно жизненных впечатлений, а его основная тема — тоталитарная психология — предмет животрепещущий.

Зубов справедливо подчеркивает, что тоталитарная психология не может мирно сосуществовать с инакомыслием, с инаковерой, с иным образом жизни. Но каковы ее составляющие? Что такое тоталитарность как психологический

эквивалент тоталитаризма? В чем истоки этой нетерпимости? В основе ее, считает Зубов, лежат четыре элемента.

Прежде всего, «рефлекс» унифицированной социальной жизни, стремление подстригать ее формы в соответствии с основным стандартом, а также склонность «нормально» себя чувствовать лишь в однородной человеческой среде (где люди похожи по взглядам, по привычкам...). Одним из проявлений такого пристрастия к унифицированной человеческой среде является боязнь аномалии, любой неожиданности и непредсказуемости в образе жизни и представлениях о мире. Вера в то, что должен существовать один трафарет мироощущения и поведения для всех, что разнообразие стилей жизни пагубно и является декадентским симптомом.

Затем — абсолютизация и превознесение собственного мировоззрения и образа жизни и столь же беззащитное ниспровержение всех остальных.

Третий элемент — фанатично-религиозный. Это стремление «воздуть» культы. Отчуждение от человеческого измерения жизни, от растекающейся по желобам мира экзистенции. Перенос внимания на фетишизируемые абстракции: идеологию, науку, бытовой уклад, бюрократические процедуры и так далее.

И четвертый элемент — это «политиканский синдром», по определению автора. Что это такое? Это потребность в постоянной психологической войне с чуждым образом мыслей, борьба за онтологическое превосходство. Сущность политиканского синдрома — в одержимости борьбой с кем-либо или чем-либо.

Насаждение унификации спасает тоталитарных подданных от другого, непохожего, непривычного. Однообразие форм жизни — это неспособность на формообразование.

Зубов верно подмечает. При нецивилизованной политической жизни к политическому противнику (который является олицетворением чуждости) считается естественным применять крайние меры — от изоляции до физического истребления. Ненависть к инакомыслящему ощущается как благая, праведная, благородная, в конечном ощущении — святая. Переживание ненависти, вовлеченность в эмоцию отрицания того, что тебе чуждо, — вполне может быть названо субъективно-психологическим убийством. Тот, на кого

направлен смертоносный импульс, может даже отсутствовать, это не изменяет психологический сути происходящего. Для выражения этой ненависти в советском обществе разработан специальный словарь, который широко применялся во времена Сталина, но и сегодня не утратил актуальности для властей. Ярлык — это форма субъективно-психологического убийства, которая всегда предшествует определенным санкциям. Каких только ярлыков наша эпоха не узнала: враг народа, агент империализма, буржуазный националист, выродок и космополит, двурушник и разложенец, антисоветчик и ярый антисоветчик, отщепенец, подонок, клеветник. Отсюда прямой путь к физическому террору. Но существует еще один выход, выход в перевоспитании, не теряющий впрочем своей убийственной сущности. Ибо это отношение к другому человеку как объекту просвещения и назидания. Оригинальная индивидуальность другого человека должна быть подавлена и сломлена, его психика должна быть приведена к общему знаменателю.

Вот такой тоталитарный человек — всегда экстремист по делам и убеждениям, как бы он ни назывался, правым или левым, большевиком или монархистом.

Построение «нового мира» в послереволюционной России, не имевшей «материальной и технической базы», не могло идти конструктивным путем. Невозможность строить, опираясь на прочную научно-техническую базу, а также общая возбужденность эмоционального поля делали неизбежным строительство религиозно-мистическим путем, подчеркивает Зубов. «Вместо науки — идеология, вместо специалистов — вожди, вместо техники — кличи и призывы, лозунги и ярость, вместо технологии — человеческие жертвоприношения». Идеология и кровь — новейший коммунистический завет... Безжалостность, фанатическая жестокость гражданской войны, сталинских чисток и ГУЛага — были не более чем строительством нового мира магическим путем. Зубов убежден, что это воплощение в действии словесной нетерпимости непосредственных «богов» Маркса, Энгельса и Ленина. Поэтому логично вытекает, что, по мнению автора, коммунизм — это не атеизм, но религия атеистических псалмов. «Атеизм был лишь элементом цельной религиозной веры в коммунистический рай и в Троицу трех бород».

Согласно Зубову, советский тоталитаризм принимает различные формы. Автор различает тоталитаризм идеологический, мировоззренческий, церковный, эстетический, духовный, научный, диссидентский, люмпенский, авторитарно-бытовой, просветительский, и все эти формы в более или менее чистом виде процветают в СССР, и продолжают тлеть в эмиграции.

То есть Зубов в одном прав: тоталитарный человек, став эмигрантом и попав в демократический мир, отнюдь не становится автоматически терпимым демократом. Ему предстоит долгий путь изживания в себе тоталитаризма, нетерпимости иного, ненависти к непохожести. Но именно на этом пути и могут появиться достойные плоды современной русской культуры.

Особое место в книге занимают психологические этюды, которые служат иллюстрациям к теоретическим выводам автора. У каждого этюда есть реальный прототип в жизни, имя, разумеется, снято и заменено созвучным. Эти персонажи, небезызвестные в эмигрантской среде, обрисованы Зубовым в сатирической тональности, острыми, презрительными линиями.

Я долго размышлял над тем, откуда у Зубова, самого эмигранта, такая безжалостность не к идейным противникам, а к обычным эмигрантам, слабым и грешным людям, для которых Америка оказалась нелегким испытанием. Пересекая границу, человек оставляет не только близких и друзей, не только привычный мир, но и смысл прежней жизни. Найти заново этот смысл гораздо труднее, чем выучить американский язык, сдать экзамен в подтверждение своего диплома врача или инженера или найти жену-аборигенку. Прежде было незримое братство в сопротивлении государству-Молоху, здесь мы разъединены. Прежде была более или менее общая судьба (бедность, безработица, психушка, лагерь — не у всех, страх перед арестом и безумный предотъездный период), здесь все по-разному. Иерархия прежде всего выражается не в духе, а экономически. Отсюда — и разрывы друзей детства, и психические срывы, и взаимная ненависть.

Платформа, с которой прежде всего судит своих современников (зачастую справедливо) Виктор Зубов, — это не русская философия XX века, а философия Фридриха Ницше

с его культом героев и абсолютной красоты. Именно поэтому Зубов не прощает соотечественникам-эмигрантам тех душевных слабостей, которые легко простил бы любой моралист-христианин.

Книге своей автор дал заголовок «16 республика СССР». Имеются в виду эмигранты, которые, по мнению автора, не смогли перегрызть пуповину, связывающую их с тоталитарной родиной, и являются невольными проводниками тоталитаризма в свободном мире (за некоторым исключением). Так или не так — будущее покажет. По моему скромному мнению, которое абсолютно не совпадает в выводах Зиновьева, Хенкина и Зубова, третья эмиграция имеет свой провиденциальный смысл. Об этом в свое время говорил еще великий провидец Владимир Соловьев: начнется исход интеллигенции из России. Исторически, мне думается, это было не только закономерно, но и необходимо. Прежде всего для будущей России, которая когда-нибудь наконец-то станет свободной. Недаром слова «мы — не в изгнании, мы — в послании» легли на сердце лучших наших писателей в зарубежье.

И еще одно замечание — по поводу стиля книги Виктора Зубова. Он упрекает художников-нонконформистов в модернизме, не замечая, что сам страдает этим грехом. Отчасти и здесь чувствуется влияние Ницше, который в эпоху «По ту сторону добра и зла» полюбил ритмическую прозу, эмоциональную приподнятость, пышность определений. К ним Зубов добавляет свою страсть к неологизмам, рифмам внутри строго прозаического периода, нагромождению определений. Частично это объясняется жгучей темой и теми эмоциями, которых автор не в силах сдержать, частично — его философскими и литературными пристрастиями.

И достоинства книги и ее недостатки — свойства незаурядного автора, к мыслям которого следует и впредь относиться весьма серьезно.

Вадим Нечаев

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

Коротко о книгах

К. КРИПТОН

ОСАДА ЛЕНИНГРАДА

Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1952

Книга давняя, ее найдешь разве что на библиотечной полке, но, быть может, стоит ее там разыскать и прочитать — тем, кто с ней не встретился, — или перечитать.

Оборона Ленинграда — один из самых трагических и героических эпизодов II мировой войны. О ней написано много, но советские авторы пишут в основном о героизме и патриотизме, а о масштабах и действительных причинах бедствий писать избегают. Советские публикации всегда сильно обесценены умолчаниями и искажениями из-за идеологической цензуры. Известно, например, что воспоминания маршала Жукова четыре раза заставляли переделывать прежде, чем допустили к печати. Довольно взглянуть на предисловие автора, чтобы убедиться, что, важный участник больших событий, Жуков играл совсем маловажную роль в писании своих собственных воспоминаний об этих событиях. Кроме того, цензуре Главлита неизбежно предшествует самоцензура автора. А здесь перед нами свидетельство очевидца, который умеет видеть и думать и свободен говорить все, что думает. Ракурс определяется тем, что автор вышел из поколения русской интеллигенции, застигнутого октябрьским переворотом в школьном возрасте.

В первой главе рассказ о разделе Польши и о войне с Финляндией, как они виделись в Ленинграде. Ее название — «Генеральная репетиция борьбы двух систем» — тем более удачная находка, что автор не знал о рукопожатии, которым обменялись заклятые друзья, встретясь в Польше. Бывший важный (хоть и не из видных) номенклатурный работник, мой товарищ по Архипелагу, рассказал, что немцы «по ошибке» разгромили крупное соединение советских войск, а те в ответ разгромили немецкую танковую дивизию. Возможно, на этот факт и намекал Сталин, когда писал Гитлеру, что «дружба наших народов, скрепленная кровью, имеет все основания быть прочной» (было в советских газетах; цитирую по памяти).

Рассказ об изоляции раненых участников финской войны от населения отлично согласуется со сведениями об изоляции советских граждан от «освобожденных братьев» на Западной Украине и в Западной Белоруссии. Пересечь «границу советских и герман-

ских интересов» было много проще, чем бывшую границу СССР с Польшей.

Ценное свидетельство о «сдержанном» отношении к миру с Финляндией части партийных работников и о возмущении этим миром раненых в госпиталях. Оно помогает понять штурм Выборга, стоивший больших жертв и предпринятый за несколько часов до прекращения огня, уже после того, как был подписан мир, по которому город и так отходил к СССР. Хотели нанести финнам урон в живой силе и одержать хоть одну заметную победу, а со своими потерями не считались.

Главы 2-11 рассказывают о Ленинграде и ленинградцах в 1941-42 гг. О трудовой повинности, народном ополчении, оборонных работах на подступах к городу. О политических настроениях. О патриотизме и о карьеризме. О человеческой солидарности и мародерстве. И о гибели примерно двух третей населения. Особо отметим рассказ о разгроме нескольких хлебных магазинов и о петиции двух организаций жен инженерно-технических работников (ИТР) на имя правительства с просьбой сдать город ради спасения детей. Неголодавшая райкомщица рассказала автору, что имела много неприятностей из-за этих женщин. «Говорить о неприятностях, какие были доставлены самим женам ИТР после подачи петиции, она не стала». Разгром магазинов имел последствием «изумительный порядок продажи хлеба. Всякие очереди кончились. Все магазины были полны хлеба». «Во что это обошлось самим погромщикам и были ли репрессии в отношении застрельщиков, мне осталось неизвестным». Не знал автор и о «деле ленинградских ученых». Солженицын писал о К. И. Страховиче. Я встретил «в кругу первом» Н. С. Кошлякова, А. М. Журавского, Н. И. Постоеву, слышал о Н. И. Идельсоне, Н. В. Розе. Всех было, кажется, свыше двадцати. Приговоры, о каких мне известно, — расстрел, который потом заменили десятью годами. Около половины умерли в лагерях. А при Хрущеве всех оправдали и даже судили кое-кого из следователей.

Заключительная 12-я глава — «Историческая неизбежность гибели ленинградского населения» — носит более аналитический, нежели мемуарный характер. Отметим свидетельство, что в осажденный Ленинград возили на самолетах мешки с рожью вместо высококалорийных продуктов, а большая часть автомобилей, на которых эвакуировали людей по Дороге жизни, возвращалась порожняком: железная дорога не успевала доставлять продовольствие. Сыграло роль и то, что вместо погибавших от голода людей вы-

возилось большое количество заводского оборудования — об этом автор сообщает, ссылаясь на официальные советские источники.

...Когда советское радио и пресса трубили об очередном удешевлении «товаров народного потребления», эски острили, что «политика снижения цен распространяется в первую очередь на людей, ибо, как нас учит товарищ Сталин, самое ценное — это люди, кадры». Ленинградская катастрофа — один из примеров, какая большая доля правды была в этой горькой шутке.

В. Каган

НАДЕЖДА

Христианское чтение

Составитель — Зоя Крахмальникова

ПРЕДАНИЕ · ОТЦЫ ЦЕРКВИ · ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ · ПРАВОСЛАВНОЕ ПАСТЫРСТВО · МУЧЕНИКИ XX ВЕКА · РУССКИЕ СУДЬБЫ · ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ · ПРОБЛЕМЫ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

392 с. Цена — 24 н.м. (Магазинам, церковным приходам и другим распространителям — скидка).

Сборники «Надежда. Христианское чтение» нужны в России. Приобретайте их для переправки в Россию. Шлите нам пожертвования для той же цели.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. - 80

Русское Видео предлагает большой выбор культурно-образовательных фильмов на русском языке, без субтитров: произведения русских классиков, оперы, фильмы для детей и юношества.

Наш адрес: 60, rue Fondary — 75015 Paris
Телефон: 579.48.13.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ ФИЛЬМЫ:

Оперы	№ кассеты
Хованщина (<i>Мусоргский</i>)	1.0/1
Евгений Онегин (<i>Пушкин - Чайковский</i>) ..	1.0/2
Князь Игорь (<i>Бородин</i>)	1.0/3
Борис Годунов (<i>Пушкин - Мусоргский</i>) ..	1.0/4
Иоланта (<i>Чайковский</i>)	1.0/5
Каменный гость (<i>Пушкин - Даргомыжский</i>)	1.0/6
Пиковая дама (<i>Пушкин - Чайковский</i>)	1.0/7

ДЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ

Русалочка/ Снегурочка	1.Д/1
Всадник без головы/ Осенние колокола	1.Д/2
Ярославна, королева Франции/ Как Иванушка-дурачок за чудом ходил ...	1.Д/3
Суворов/ Стрелы Робин Гуда	1.Д/4
Садко/ Золушка	1.Д/5

Захар Беркут/ Меняю собаку на паровоз	1.Д/6
Конек-Горбунок/ Мультипликационные фильмы	1.Д/7
Каменный цветок/ Принцесса на горошине	1.Д/8
Степан Разин	1.Д/9

РУССКАЯ КЛАССИКА

Пошехонская старина (<i>Салтыков-Щедрин</i>)	1.РК/1
Емельян Пугачев	1.РК/2
Степь (<i>Чехов</i>)	1.РК/3
Ярослав Мудрый	1.РК/4
Юность Петра (<i>А. Толстой</i>)	1.РК/5
Преступление и наказание, 1-я серия	1.РК/6
Преступление и наказание, 2-я серия (<i>Достоевский</i>)	1.РК/7
Мусоргский	1.РК/8
Бег (<i>Булгаков</i>)	1.РК/9
Легенда о Тиле (<i>Шарль де Костер</i>)	1.РК/10
Ася (<i>Тургенев</i>)/	
Дядюшкин сон (<i>Достоевский</i>)	1.РК/11
Семейное счастье (<i>Чехов</i>)/	
Цветы запоздалые (<i>Чехов</i>)	1.РК/12
Дело Артамоновых (<i>Горький</i>)/	
Враги (<i>Горький</i>)	1.РК/13
Неоконченная пьеса для механического пианино/Шинель (<i>Гоголь</i>)	1.РК/14
Дерсу Узала (<i>Арсеньев</i>)/	
Табор уходит в небо (<i>Горький</i>)	1.РК/15

РУССКОЕ ВИДЕО

60, rue Fondary
75015 Paris
Tél.: 579.48.13

СТОИМОСТЬ КАССЕТ
(на 25.10.1983)

ПРОДАЖА:

- | | |
|--|--------------|
| — Серия «Оперы» (7 кассет, 7 опер) | 3.000,00 фр. |
| — Серия «Детские фильмы» (9 кассет,
17 фильмов) | 3.500,00 фр. |
| Цена отдельной кассеты | 500,00 фр. |

-
- | | |
|---|--------------|
| — Серия «Русская классика» (15 кассет,
20 фильмов) | 6.900,00 фр. |
|---|--------------|

Цена отдельной кассеты:

- | | |
|-------------------------|------------|
| — с 1-м фильмом | 400,00 фр. |
| — с 2-мя фильмами | 700,00 фр. |

+ стоимость пересылки: 25,00 фр. за 1 кассету

ПРОКАТ:

В настоящий момент рассматривается только для Парижа
и парижской области

КАССЕТА С:

одним фильмом		двумя фильмами	
за 24 часа	за каждый дополнитель- ный день	за 24 часа	за каждый дополнитель- ный день
25,00	20,00	50,00	40,00

Залог при взятии кассет на прокат: 1.000,00 фр.

Просьба представлять удостоверение личности

По страницам журналов

ОКНО С ЗАПАДА

Abstracts of Soviet and East European Emigrè Periodical Literature (ASEEPL).

По вполне понятным причинам, в СССР всем нам прожужжали уши душещипательными рассказами об эмигрантах, изнывающих на чужбине от ностальгии, всякий раз выводя мораль, будто, в частности, писатель не может работать, оторвавшись от родной почвы. На самом же деле, если в ком есть искра Божия, она будет гореть в любом месте (лишь бы не затоптали сапогом), а в ком ее нет или погасла — тому не поможет ни почва, ни удобрения. Лучше всего это демонстрирует факт возникновения и развития эмигрантской литературы, которая сегодня охватывает все главные области культуры и представлена широким спектром идеологических, политических и художественных направлений. В этом отношении она значительно богаче унифицированной (несамиздатской) литературы тоталитарных стран. Можно смело утверждать: чтобы получить правильное представление о культуре народов этих стран, необходимо изучать не только Гос-, но и Тамиздат. Однако, если к услугам исследователя госиздатской литературы налицо обширный ассортимент библиографических изданий, то с тамиздатской эмигрантской литературой дело обстоит несравненно хуже. Поэтому заслуживает всяческой поддержки предпринятое Л. Хотинным издание реферативного журнала советской и восточноевропейской эмигрантской литературы. Журнал издается на английском языке и потому непосредственно доступен западным исследователям, в том числе и слабо знающим русский. Журнал не рецензирует, но именно реферирует публикации любых направлений и потому строго аполитичен, что особенно ценят западные советологи. Два эти качества должны сделать журнал своего рода «окном из Европы». Заглядывая в него, западные исследователи смогут постепенно преодолеть расхожие однобокие представления о культурах народов, живущих под властью тоталитарных режимов. Думается, каждый эмигрант должен поставить себе правилом посылать в этот журнал авторефераты своих публикаций (адрес: G. Gezen ASEEPL, 235 Seventeen Mile Drive, Pacific Grove, CA 93950, USA). Это требует ми-

нимальной затраты труда, а в то же время даст заметную пользу и общему делу, и самому автору.

В. К.

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**Ф. Горенштейн, Л. Консон,
С. Довлатов, Ю. Милославский,
Л. Наврозов**

Стихи:

**Ю. Кублановский, С. Гандлевский,
В. Бетаки**

Публицистика:

**Н. Коржавин, М. Кулмагамбетов,
Ю. Мамлеев**

Наша анкета

«ПРОСТИТЕ ИМ, ИБО НЕ ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ...»

Беседа с Армандо Вальядаресом

К.: Прежде всего, мы благодарим вас за любезное согласие ответить нашему журналу на предлагаемые нами вопросы. Читатели «Континента» уже знают вас как поэта и человека по опубликованным нами в № 20 стихам и заключающей эту публикацию короткой биографии. Поэтому сейчас мы хотели бы поговорить о вашем мировоззрении, внутренней философии и взглядах на окружающий вас мир.

А. В.: По причине, к которой я вернусь позже, ваше решение мне предоставить ваши страницы имеет особое значение для моих братьев, сидящих в кастровских тюрьмах. Прежде чем начать разговор об этом, я хочу поделиться с вами некоторыми соображениями о своем собственном религиозном опыте. Меня посадили, когда мне было 23 года, обвинив в преступлениях, которые я никогда не совершал. В этот момент мои религиозные убеждения были искренними, но, вероятно, поверхностными. Религиозные верования сводились для меня к тому, чему меня учили дома и в школе, как учат детей правилам поведения или азбуке.



Тем не менее, эти минимальные религиозные убеждения делали из меня врага коммунистической революции на Кубе и в какой-то мере помогли убедить моих судей и обвинителей, что я — потенциально опасный противник. Как бы то ни было, как только я попал в тюрьму, я стал ощущать глубокие изменения в своих религиозных чувствах. Я полностью отдался Богу, может быть от страха, что потеряю жизнь, ибо меня могли просто убить.

К.: В чем выразились для вас эти изменения?

А. В.: Сегодня, 22 года спустя, после этих ночей, наполненных ужасом и страхом, такой путь, ведущий к Христу, мне кажется человеческим, но неполным. Позже я пережил второй христианский опыт: мне пришлось видеть, как молодые ребята, в большинстве своем крестьяне и студенты, умирали на изнурительных работах с последним криком: «Долгая жизнь Христу-Господу!» Я понял тогда, что помощь в Нем. И не только потому, что Он спасает жизнь, а потому тоже, что Он придает жизни и смерти, когда она случается, этический смысл, облагораживающий их. Я думаю, что именно в этот самый момент — а не раньше, — когда христианство, помимо религиозной веры, стало для меня и образом жизни, оно и вылилось в сопротивление. Сопротивление пыткам, сопротивление изоляции, сопротивление голоду, сопротивление постоянному соблазну капитулировать перед соблазном политической реабилитации и догматической пропаганды. Но мое сопротивление как христианина не должно было превращаться в слепую форму личной отваги, а стать спокойной и всепронизывающей борьбой за свои демократические убеждения, непоколебимой волей сохранить свое достоинство и уважение к самому себе даже брошенному голым на дно камеры, и превратиться в человеческий Отказ.

К.: Была ли ваша религиозная эволюция в тюрем-

ные годы уникальной или она проявлялась и в других окружавших вас людях?

А. В.: Я видел десятки страдавших и умиравших христиан, полных решимости сохранить свое достоинство и духовные богатства, несмотря на страдания и нищету. Быть христианином в такой обстановке означает отказаться от ненависти к своим мучителям; это означало сохранить веру в то, что страдания полны высшего смысла, ибо, если человек отступает от моральных и религиозных ценностей, если он позволяет себе держаться только чувством ненависти или жажды мести, его существование теряет всякий смысл.

К.: Могли ли бы вы привести наиболее яркий пример из этого опыта?

А. В.: Сердце сжимается, когда я вспоминаю сегодня Герардо Гонзалеса, протестанского священника, знавшего на память целые куски из Библии, которые он переписывал от руки, чтобы делиться ими со своими братьями по вере. Я не могу забыть этого человека, которого все звали «Братом по Вере». Во время широко известного теперь эпизода истребления заключенных в тюрьме Бонатио, он пожертвовал собой, чтобы защитить их и спасти. Умирая, Герардо повторил слова, сказанные Христом на кресте: «Простите им, ибо не ведают, что творят...» Но всем нам после этого долго еще пришлось бороться со своей совестью, чтобы достигнуть такого труднодоступного и прекрасного чувства: прощать врагам.

К.: Возможно ли в таких нечеловеческих условиях сохранить в себе это чувство? По силам ли это человеку?

А. В.: Для Бога нет ничего невозможного. Как нет ничего невозможного для тех, кто любит и ищет Его. Чем меньше я ненавидел своих тюремщиков, тем больше мое сердце заполнялось любовью и верой и это давало мне силы перетерпеть все. Нет, я не становился конформистом или мазохистом; просто из-

за полноты радости, внутреннего покоя и свободы, которые я ощущал, — Христос ходил со мной по камере.

К.: Но согласитесь, что в таком случае человеку трудно избавиться от чувства одиночества? Не правда ли?

А. В.: Вначале я уже сказал, что честь, оказанная мне «Континентом», имеет особое значение для кубинских политзаключенных. Я сейчас объясню. В течение всех этих лет, пока нас стремились заставить отказаться от нашей веры и деморализовать, кубинские коммунистические пропагандисты не раз использовали для поддержки кастровской революции материалы, написанные некоторыми представителями американских Церквей. Каждый раз, когда правда о Кубе публиковалась в США, находился церковник, который писал статью в защиту диктатуры Фиделя Кастро; до нас доходили переводы, и это было для христианских политзаключенных хуже, чем избиения или голод. В то время, когда мы ждали солидарности от своих братьев во Христе, — непонятно почему, солидарность проявлялась ими по отношению к нашим мучителям. Политическая полиция Кубы пользовалась этими документами в поддержку Кастро так искусно и так долго, что сегодня христиане в кубинских тюрьмах страдают не только от пыток и изоляции, но также от мысли, что они брошены своими братьями по вере. Вот почему, дорогие друзья, я сказал, что честь, оказанная мне вами, очень важна для всех кубинских политзаключенных. Когда об этом станет известно в кастровских политических тюрьмах — *а об этом станет известно*, — для них это будет огромной радостью. Они перестанут ощущать себя одинокими, поймут, что они не забыты, что их братья во Христе поддерживают их издалека. И, кроме того, они поймут, что ядовитые памфлеты, которые им читаются политическими комиссарами, содержащие статьи, под-

писанные американскими религиозными лидерами, представляют не мнения американских верующих, а лишь точку зрения немногочисленной, хотя и весьма шумной, группы. Мы должны простить этим людям, потому что и они, вероятно «...не ведают, что творят...»

К.: К сожалению, не только шумной, но и влиятельной группы. К примеру, один из самых высоких прелатов Ватикана, монсиньор Касаролли, вернувшись из поездки на Кубу, не моргнув, как говорится, глазом, заявил, что кубинские католики счастливы жить при таком режиме. Интересно, с какими-такими «католиками» позволили говорить этому прелату на Кубе?

А. В.: Еще плохо известно, насколько свобода религии отсутствует на Кубе. Свобода — абсолютное понятие: или она есть, или ее нет вообще. Я утверждаю, что сегодня религиозной свободы на Кубе нет. Некоторые протестантские церкви закрыли. Собственными глазами я видел церковь на острове Пинос, превращенную в хранилище под удобрения. Та же судьба постигла католические церкви в Вилланиева и Сан-Франциско. Адвентисты 7-го дня, Конгрегация Гидеона, Свидетели Иеговы считаются контрреволюционными «сектами». Если кого-либо из них ловят во время религиозного деяния, то человека бросают в тюрьму. В тюрьме я видел многих из них. Один сидел за то, что переписывал библейские тексты; его обвинили в «изготовлении и распространении религиозной пропаганды». Кастро запретил праздновать Рождество; он даже запретил рождественские елки. Елка, как он считает, — религиозный и контрреволюционный символ. Если о студенте узнают, что он ходит в церковь, его исключают из университета. Если ребенок говорит о Боге или о Христе в школьной среде, его родителей вызывают в школу, где им втолковывается, что идеи такого рода ненаучны и являются пережитками темного прошлого. Если родители упираются, им грозит обвинение в идеологическом от-

клонении, согласно революционному кодексу. Редким детям, ходящим на уроки Закона Божьего, сами священники объясняют, что то, что им рассказывается, не должно выходить из их узкого круга, что они ничего об этом не должны говорить своим товарищам, ни при каких обстоятельствах. Это делается, чтобы защитить детей.

К.: Что, по-вашему, мы — политические эмигранты — могли бы сделать здесь, на Западе, чтобы если не спасти, то хотя бы облегчить участь ваших друзей на Кубе?

А. В.: Я вас прошу не забывать в своих молитвах моих братьев, товарищей, сидящих в тюрьмах, особенно пастора Умберто Нобле Александра. Они страдают за свои убеждения и веру, и единственный способ помочь им. — это говорить миру о том, что они есть, о том, что их унижают, наказывают, мучают. Молчание никогда никого не освободит из тюрьмы. Только кампания среди мировой общественности, гласные усилия, чтобы обратить внимание на их судьбу, общественное давление могут вернуть им свободу. Мой собственный случай это доказывает. В заключение я хочу процитировать несколько строк из более высокого писателя, чем я, который тоже знает, что такое преследование, — Св. Матфея: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас».

К.: И в заключение традиционный вопрос «Нашей анкеты»: каково ваше отношение к явлению советского диссидентства вообще и к нашему журналу в частности?

А. В.: К сожалению, я читаю только по-испански, и до испанского издания «Континента» я еще не добрался, но идея вашего журнала связана в моем сознании прежде всего с именем моего друга Владимира

Буковского, а это для меня знак высокого политического уровня, профессиональной надежности и верности принципам Свободы.

Беседу вела Ольга Свинцова

Вниманию читателей и распространителей «Континента»!

В номере «Нового Русского Слова» от 25 октября 1983 года, в информации, посвященной выходу в свет № 37 нашего журнала, обозначена цена отдельного номера — 11 долларов, что равно почти 30 западногерманским маркам.

В связи с этим, редакция считает необходимым напомнить своим читателям, что действительная цена номера «Континента» остается до сих пор неизменной: 12 западногерманских марок в розничной продаже и 10 западногерманских марок по подписке.

То есть — при всех колебаниях западногерманской и американской валют, цена каждого номера не может превышать в США 5-ти долларов, а во Франции — 35-40 фр.

Требуйте от Генерального распространителя «Континента» — книжной фирмы А. Нейманиса в Мюнхене — наш журнал только по вышеуказанным ценам!

Просим связанные с этим жалобы и претензии направлять непосредственно по адресу редакции:

11 bis rue Lauriston, 75116 Paris, France
Tel. 501-71-42

Редакция «Континента»

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40,— ДМ, или 20,— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,— ДМ, или 4,— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





*С тревогой и прискорбием
поздравляем наших читателей
с новым **1984** годом*

* * *

Муха бедная в янтарь
ненароком залетела.
Орвелловский календарь
оборвался до предела.

Бедной мухе в янтаре
не вздохнуть, не трепыхнуться.
А на нарах в январе
в тесноте не повернуться.

Орвелловский переплет
в тихой печке пламя лижет.
Муха бедная поет,
но никто ее не слышит.

Н. Горбаневская



Гавриил Гликман. «Дмитрий Шостакович».
Репродукция к статье Г. Гликмана «Шостакович, каким я его знал».